

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](http://Royallib.ru)
[Все книги автора](#)
[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Владимир Гомбожапович Митыпов

Инспектор Золотой тайги

Моим друзьям— геологам Бурятии посвящаю

ПРОЛОГ

Золото на речке Чирокан, а точнее — по его притоку, ключу Гулакочи, было открыто в начале тысяча восемьсот сороковых годов беглыми каторжниками, а первым официальным его владельцем оказался покойник. Случилось это так. Выбираясь из тайги, каторжники угодили в руки расторопных нерчинских жандармов. Нещадно и долго пытаемые, они под конец признались, откуда сбежали и где взяли обнаруженное при них самородное золото.

Каким-то образом дело дошло до Петербурга, до самого шефа жандармов — графа Бенкендорфа, и всеильный начальник III отделения взялся хлопотать о сокровищах, лежащих втуне в неведомой забайкальской тайге. Доверенный графа — тоже, кстати, из жандармов — прибыл на Чирокан и здесь, по ключу Гулакочи, поставив в сорока двух саженьях от его устья починный явочный столб, девятью шурфами вскрыл россыпь на три версты. Содержание золота для начала вышло неплохое — сто пудов промытого песка показали один золотник. Представили заявку. И пока тугое делопроизводство Российской империи ворочало медлительными шестернями, в далеком своем Петербурге граф приказал долго жить. А спустя примерно полгода покойника по всей форме ввели во владение прииском.

Наследники графа не проявили желания ни заниматься разработкой прииска, ни хлопотать о передаче в аренду или продаже его — должно быть, в пылу столичной жизни попросту забыли о нем. А может, даже и не знали. По истечении положенных двух лет по предписанию исправляющего должность генерал-губернатора Восточной Сибири забытый прииск был зачислен в казну и циркуляром горного отделения объявлен свободным для новых заявок...

Прошло несколько лет, в течение которых высоченным пожаром занялась слава баргузинской золотой тайги. Золото, вывозимое отсюда, считали уже десятками пудов. Сверкающий золотой соблазн, слепя и сладко кружа головы, пронесся по городам и весям России. Мастеровые с черными от железной пыли ладонями, бородатые крестьяне с краюхой хлеба в тощей котомке, лихие варнаки с ножами за голенищем поодиночке и артелями потянулись в тайгу. Золотая легенда проникала в гостиные богатых домов, зажигая беспокойный блеск в глазах почтенных вдов и добропорядочных отцов семейств.

Не миновало всеобщее поветрие и иркутского коммерции советника Григория Ильича Лапина, человека осторожного, привыкшего жить по пословице: тише едешь — дальше будешь. Прикинув так и эдак, он подал заявку, благо подесятинная подать в то время была до смешного невелика — пятнадцать копеечек за сажень. Так золото по ключу Гулакочи обрело еще одного хозяина — на этот раз живого.

С названием для прииска набожный Григорий Ильич второпях немного напутал и впоследствии сильно об этом пожалел. Получив в лето 1868 года июля двадцать второго дня разрешение на отвод, он заглянул в месяцеслов — следовало достойно окрестить новоприобретенный прииск, ибо языческое слово «Гулакочи» претило слуху крещеного человека. Двадцать второе июля оказалось днем святой Марии Магдалины и священномученика Фоки. Прииск нарекли Мария–Магдалининским. Лишь много позже Григорий Ильич, разобравшись как следует в бумагах, выяснил для себя, что циркуляр горного отделения был заверен и вступил в силу июля девятнадцатого дня, то есть, как указано в месяцеслове, в день «преподобного Паисия Печерского, в дальних пещерах почивающего». Коммерции советник схватился за голову: ох, накажет всевышний, ибо прииск–то следовало наречь Паисьевским!..

В лето 1869 года прииск дал около двадцати фунтов золота, хотя мог бы и больше, однако Григорий Ильич Лапин был не в тех летах да и не того здоровья, чтобы верхом, а где и пешком забираться в чертову глушь, в дремучую темь тайги. Волей–неволей пришлось ему доверить надзор за прииском разбитному приказчику из иркутских же мещан. Конечно, крал приказчик. Урывали свою долю и спиртоносы, которые уже в те поры стали похаживать по приискам. Старатели тоже нет–нет да и припрятывали толику золотого песку или самородочек. Но и двадцатью фунтами остался доволен Григорий Ильич, понимал: это только начало. После уплаты налога Кабинету Его Императорского Величества (прииск был на землях Кабинета) он не только покрыл расходы, но и оказался при кое–каком барыше.

Но следующее лето принесло беду — Мария–Магдалининский прииск едва–едва дал двенадцать фунтов золота, но и из того почти половину отбили налетевшие варнаки, когда приказчик с тремя охранными казаками в конце лета выбирался в Баргузин. Вот тут–то и вспомнил суеверный коммерции советник «преподобного Паисия Печерского, в дальних пещерах почивающего», усмотрел в происшедшем гнев божий, слег от страха и огорчения, а перед самым рождеством тихо скончался. Ах, в недобрый, недобрый час связался Григорий Ильич с этим прииском! Видно, страшным проклятием прокляли его те беглые каторжники, что в жандармском застенке вместе с кровью выхаркивали признание о золоте далекого таежного ключа Гулакочи...

Лапин был вдов, детей не имел, а из богобоязненных родственников его, живших где–то в Самаре, никто не изъявил охоты связываться со столь темным делом, как золотые промыслы страшной каторжной Сибири.

И вновь несчастливый этот прииск, носящий имя святой блудницы Марии Магдалины, вернулся в казну в ожидании нового хозяина.

В лето 1874 года отвод по ключу Гулакочи получил отставной зауряд–хорунжий Нарцисс Иринархович Мясной. Этот сорокапятилетний здоровяк и выпивоха когда–то бывал по делам службы на Чикойских приисках и, в отличие от немощного коммерции советника, кое–что понимал в золотодобыче. Он самолично посетил Мария–Магдалининский прииск, осмотрелся на месте и остался доволен. Стояла пора межени¹, ключ мирно журчал среди валунов, шевелил корни, свисающие с подмытых берегов, играл серебряной рябью. Но чувствовалось — обманчив покой Гулакочи: клочки сухой травы, следы половодья виднелись в ветках прибрежных зарослей на высоте аж полутора аршин. Еще сохранились черные покосившиеся явочные столбы, поставленные четверть века назад при Бенкендорфе, были целы и бутары², оставшиеся от лапинских работников, наскоро срубленные избы. Но самое главное — чего в глубине души боялся Мясной,— отсутствовали следы хищнической добычи, хотя прошло уже около пяти лет, как площадь была заброшена.

Зауряд–хорунжий, человек дошлый, тотчас смекнул: уж коли Гулакочи суть приток Чирокана, то и золотая струя должна вместе с водами ключа уходить в основную реку. Он

1 Межень — середина лета.

2 Бутара — прибор для промывки золотоносных песков.

выбрал подходящее место пониже устья Гулакочи, пробрили шурф. Первые же промытые лотки дали крупинки золота.

— Мало-мало есть золотишко, ваше благородие,— широко ухмыльнулся старатель подошедшему хозяину.— Чарочку бы с вас за добрый-то почин.

— Мало-мало, говоришь? Ну, с богом! А новый прииск пусть так и зовется — Маломальским,— не мудрствуя лукаво, решил Нарцисс Иринархович.

Перед отъездом он дал приказчику строгое указание располагать отвалы промытых песков равными и правильными кучами. Взяв лист бумаги, начертил форму такого отвала. Что и говорить, мера разумная. Сам черт не разобрался бы в тех причудливых нагромождениях отвалов, больших и малых, что сопутствуют обыкновенно добыче россыпного золота. Приказчики и доверенные в отсутствие хозяев укрывали сотни пудов промытого песка, здраво рассудив, что надо быть последним дураком, чтобы крутиться у огня, да не погреть руки. Хитроумный зауряд-хорунжий решил положить конец этому, ибо отвалы, уложенные строго по форме, легко поддавались учету. Понял это и приказчик.

— Господи, да к чему это, Нарцисс Иринархович? — заволновался он.— Где ж такое видано!

— Поговори еще у меня! — отвечал на это зауряд-хорунжий, показав кулак, и с тем отбыл с великой поспешностью — оформлять заявку на новый прииск.

Ближе к осени он снова наведился в тайгу. Измерил шагами отвалы и с карандашиком в руках засел вычислять, сколько промыто песков за лето — зауряд-хорунжий был не чужд кое-каких наук. Случившиеся поблизости старатели слышали, как из палатки хозяина раздавался вдруг страшный рев. Миг спустя оттуда кубарем выкатился приказчик. Следом выскочил хозяин, красный от гнева, усы торчком.

— Мер-рзавец, хам! — рычал он, пиная ползающего у ног приказчика.— Куда дел пять фунтов золота?

Украл, собака, украл? Говори! З-запорю! Повешу! Живьем в шурф закопаю!

Приказчик размазывал по лицу слезы, хватался за хозяйские сапоги.

— Отец! Благодетель! — тонко выкрикивал он.— Вот те крест...

Охранные казаки скалили зубы.

Нарцисс Иринархович был горяч, но отходчив. Вечером того же дня порядком струхнувший приказчик каялся в преступном недосмотре, вымолил прощение и даже удостоился чарочки водки.

Лихие меры отставного зауряд-хорунжего принесли плоды: без малого по пуду золота дал в первые два лета Мария-Магдалининский прииск.

Все складывалось как нельзя лучше для Мясного, но подвела старая страсть — карты. В зиму 1877 года играл Мясной с особенно лютым азартом, широко, рискованно: как-никак, хозяин золотых промыслов! Большие денежки плакали в эту зиму у Нарцисса Иринарховича. Похмелье наступило уже под троицу. Сереньким слякотным утром ему доложили о приходе бакалейного торговца, ростовщика Борис Борисыча Жухлицкого. Нарцисс Иринархович вышел в халате, хмурый, неспроставшийся. Накануне он засиделся в дворянском собрании. Много пили, играли. Мясной по обыкновению вошел в раж, бесперечь повышал ставки и проигрался под конец в пух и прах. Вернулся он далеко за полночь в крупном проигрыше.

— Ну, что тебе, братец? — зевая спросил он, едва кивнув в ответ на подобострастный поклон Жухлицкого.

— Вот-с, векселек имеем представить вашему благородию,— еще раз кланяясь, отвечал посетитель, человек тихий, с кислым выражением лица.

Мясной досадливо поморщился от нудных и гнусавых звуков его голоса.

— Что, разве уже пора?

— Да-с,— Жухлицкий протянул нотариально заверенную копию документа.— Вот-с, извольте удостовериться.

Нарцисс Иринархович нехотя взял бумагу, пробежал глазами. М-да, все верно, самый наизаконнейший и бесспорный соло-вексель: «...по сему векселю повинен я уплатить...

купцу Борису Борисовичу Жухлицкому двадцать пять тысяч рублей...», дата, его, Мясного, с лихим росчерком подпись — все на месте... Двадцать пять тысяч рублей — пять тысяч золотых полуимпериалов... деньги немалые.

— В самом деле... странно... Что-то запомнил я, братец... Митька! — рывкнул он. — Водки, живо!

Где-то в недрах старинного деревянного особняка возникла суета, затопали, забегали.

— Да ты садись, братец, — сказал Мясной. — Садись, присаживайся...

— Ничего-с, мы постоим, люди маленькие, — тихим голосом отказался ростовщик.

— Что ж ты, братец? В ногах, сам знаешь, правды нет, — рассеянно обронил хозяин.

Он маялся, сильно тер руками помятое лицо, вздыхал. Жухлицкий терпеливо стоял у двери, ждал.

— Митька!! — трубно взревел хозяин, теряя терпение, и вслед за этим нехорошо помянул его мать.

Тут дверь распахнулась и рысцой вбежал Митька — пожилой отставной казак с длинными сивыми усами. В руках — поднос с графином, лафитничком, солеными огурцами, красной рыбой и краюхой ржаного хлеба. Нарцисс Иринархович раз за разом принял два лафитничка, крикнул, понюхал краюху. Увлажнившимися глазами поглядел на ростовщика.

— Может, братец, выпьешь?

— Премного благодарны-с, не употребляем-с...

— Ну, гляди... Э-э... о чем мы то бишь говорили-то?

А! — Нарцисс Иринархович хохотнул. — Понимаешь, какая закавыка получается — нету у меня сейчас денег. Нету!

Нарцисс Иринархович не врал, денег у него и вправду не было. Он основательно проигрался за минувшую зиму. К тому же он, страстный лошадиный заводчик, решил завести свой конный завод, благо дело не только тешило душу, но и обещало солидный барыш. Пришлось, конечно, потратиться. В довершение всего, он третьего дня вернул карточный долг кяхтинскому купчику Титову, которого многие сильно подозревали в нечистой игре, но уличить так и не могли.

Мясной выпил еще, раздумывая, как бы выставить вон этого столь не ко времени подгадавшего посетителя.

— Да, братец, — весело сказал он. — Придется нам с тобой немного подождать. А может-таки, выпьешь, а?

Жухлицкий качнулся вперед, будто надломился на миг, и отвечал тихо, но со скрытой твердостью:

— Не могу-с, себе дороже.

— Н-да... что же с тобой делать? — задумался Мясной. — А я, понимаешь, как нарочно прикупил недавно лошадушек... — Сказал и прикусил язык: затею с конзаводом он держал в тайне — при немалых своих долгах опасался, как бы рысаки не пошли с молотка.

Однако серый ростовщик не обратил на это внимания. Он молча ждал — смиренный и непреклонный истукан.

— Да пойми ты, любезный, — снова начал Нарцисс Иринархович, вставая и в сильнейшем волнении расхаживая по кабинету. — Я ведь тебе не шематон, не голь какая-нибудь, у меня прииски свои. Золото, понимаешь?

Осенью я тебе верну с процентами. По рукам?

Жухлицкий вздохнул, переступил с ноги на ногу и отрицательно качнул головой.

— Никак невозможно-с, ваше благородие... Себе дороже.

— Эк, затвердила сорока про Якова! — досадливо буркнул Мясной.

Он вернулся за стол, выпил, захрустел огурцом. «Экий же ты, братец, собака, — думал отставной зауряд-хорунжий, из-под неприязненно заломленной брови косясь на унылую фигуру ростовщика. — Послать разве к черту? Так ведь по судам, подлец, затаскает, до долговой ямы доведет». Дело и впрямь выходило щекотливое. Именно сейчас Нарциссу Иринарховичу никак не улыбалось прослыть несостоятельным должником: подвертывалась

выгодная партия — перезрелая девица, дочь богатых родителей. Надо было любой ценой отделаться от настырного бакалейщика.

Разговор получился долгий, тягостный. Правда, говорил почти один Нарцисс Иринархович, горячился, напирал. Жухлицкий же только мотал головой и бубнил свое: «Не могу—с... себе дороже... не могу—с...» Мясной в сердцах dokonчил графин и предложил набавить проценты. Однако и это не прельстило упрямого ростовщика. Окончательно выведенный из себя зауряд—хорунжий вдруг рявкнул:

— Хочешь прииск в аренду? Как вернешь свои деньги, так назад заберу, а?

— Боже сохрани, ваше благородие!— испугался Жухлицкий.— Непривычны—с мы к такому делу.

— Брось ты — непривычны! — отмахнулся Мясной.— У меня там толковый приказчик. Деньги небось считать умеешь? Вот и вся привычка. Верное, говорю, дело!

— Так ведь расходы—с какие...

— Вернешь, с лихвой вернешь! — вскричал зауряд-хорунжий, почувствовав, что ростовщик заколебался.— Я тебе, дурак, прямо в руки фарт сую, какого в жизни не дождешься. Глядишь, еще в большие промышленники выйдешь! Кто знает, может, Жухлицкий и имел в виду такой оборот, но согласие он дал не сразу, а дня через два. Смотрел бумаги Мясного, золотозаписную книгу, мялся, вздыхал. Был Борис Борисыч Жухлицкий из тех, про которых говорят, что этот—де из камня воду выжмет. Понимал: связываться с таким делом, как золотой промысел, только того ради, чтобы вернуть пять тысяч своих полуимперIALов, и накладно, и многохлопотно. Себе дороже. Потому и торговался. Под конец сошлись на том, что Мария—Магдалининский прииск Мясной передает в аренду за попудную плату в три тысячи пятьсот рублей с каждого пуда добытого золота. Маломальский же прииск мерою в восемьсот сорок шесть погонных сажень был Жухлицким приобретен покупкою за те самые двадцать пять тысяч по акту, явленному в Иркутске у маклерских дел. О продаже, надо сказать, зауряд—хорунжий не жалел: результаты разведок представлялись пока весьма гадательными.

* * *

У Бориса Борисыча Жухлицкого нюх на деньги был остер, как у призового охотничьего пса. Шестнадцати лет от роду он унаследовал от отца, полунищего портного, умершего от чахотки, сумрачную подвальную каморку и около двадцати пяти рублей ассигнациями. Но у этого юнца, худого, нескладного, уже тогда была ума палата.

Еще совсем сопливым мальчонкой он твердо решил для себя, что не иголкой и ножницами кроят богатство, а безменом и аршином. Лавки, амбары и лабазы стали его детскими игрушками. Там бурлила и шумела красочная, немыслимо соблазнительная и богатая жизнь. Там мясники в окровавленных передниках с веселым хеканьем рубили говяжьи и свиные туши. Перемазанные белой пылью мужики бегом таскали тугие мешки с крупчаткой тончайшего помола. Тысячами блестящих зрачков подмигивала и переливалась икра. В ловких руках чародеев приказчиков радужно вспыхивал ситец, струился нежный шелк, колыхалась тяжелая чесуча. Сумасшедшим ароматом тянуло от накрытых лотков торговцев вразнос. И, наконец, вот они — купцы, хозяева волшебного мира, в сюртуках, с золотыми цепочками, надменно вззирающие поверх шумящего моря голов. Они улыбались, вполголоса заводили с кем—то разговоры, таинственные, значительные и манящие до головокружения. Глядя на все это великолепие, мальчонка дрожал всем своим костлявым телом, дышал тяжело, через рот, и облизывал пересохшие губы. Опомившись, понуро плелся в убогую отцовскую каморку, пропахшую кислым запахом давней нищеты.

После смерти отца он устроился приказчиком в лавку скобяных и шорных изделий и проработал там несколько лет — изучал дело. Годы эти не пропали даром. Молодой Жухлицкий свел знакомство с полезными людьми: хозяевами шорных и скобяных

мастерских, держателями постоянных дворов и извозных промыслов. Не раз с немалой для себя пользой посредничал при заключении оптовых сделок. Но главное — перед ним открылось, что, кроме той торговли, где товар кажут лицом, есть другая, где товар предпочтительнее не казать. Поняв это, он оставил шорную лавку и открыл небольшое, но собственное бакалейное дело. Торговля дешевой колбасой, чаем и монпансье больших барышей не сулила — в этом Жухлицкий с самого начала не обманывался. На уме у него было другое. Далека дорога в Россию. Неблизки и торговые пути в Китай. Месяцами идут колесные и санные обозы, вьючные караваны. Немало добра портится за это время, оседает в казенных и купеческих складах, гниет, ржавеет, погрызается мышами, покрывается плесенью. А ведь его, если с умом, можно и сбить.

Прошло немного времени, и неприметный, услужливый Жухлицкий для многих оказался вдруг незаменимым. Не человек, а как бы серая, словно даже без лица тень появлялась то в присутственных местах, то в торговых конторах, то в частных домах. После такого визита облегченно вздыхали купцы, государственные чиновники ласково поглаживали чуть оттопыривающиеся карманы. Довольны были все. А на каторжные рудники поступали партии арестантских шинелей из прогнившего сукна; в фабричные лавки завозили позеленевшую колбасу, сласти пополам с мухами; в бурятских улусах, в русских деревнях, в ссыльных поселениях разъездные торговцы бойко сбывали прелый ситец, бракованную далембу, лежалую муку и чай, хранившийся несколько лет в дырявых амбарах.

Борис Борисыч, понятно, внакладе не оставался, но даже жена (а он к тому времени уже был женат) не знала, сколько у него денег. Жухлицкий накрепко запомнил слова отца, сказанные им на смертном одре. Старик подолгу заходил в кашле, мучительно выгибаясь всем телом, отхаркивал кровь. «Запомни, сын, что я скажу,— в перерывах хрипел он.— Потерял — молчи, нашел — молчи... Не верь никому... Если ты нищ — друзья тебя бросят, а если богат — в зависти своей врагами станут... Одному себе верь...» Другую мудрость Борис Борисыч открыл сам: капитал не должен бездельничать, он должен работать, недаром говорят, что деньга к деньге идет. И Жухлицкий стал отдавать деньги в рост.

Окрепнуть, стать прочно на ноги ему немало помогло то, что в 1879 году в России отменили шестипроцентный максимум годовых, и наказуемость ростовщичества отпала сама собой. Правда, в 1893 году все же ввели наказуемость за дачу денег в рост из более чем двадцати процентов годовых, но Борис Борисыч к тому времени пудами выколачивал золото из своих собственных площадей...

Приобретая прииск, Жухлицкий знал, что это верный барыш. Однако он не знал другого — что в Золотой тайге наступает время таких, как он. Вместе с сотнями беглых каторжников, чьи кости остались дотлевать по берегам золотоносных ключей и на таежных тропах; с Бенкендорфом, из столичного далека смотревшим с барственной небрежностью на прииски за тридевять земель; с коммерции советником Лапиным, который сам побаивался затеянного дела и смиренно уповал на бога; с зауряд-хорунжим Мясным, широкой душой, хватом и гулякой, который, ничтоже сумняшеся, мог проиграть свои прииски в карты, — вместе со всеми ими уходила в прошлое безалаберная, щедрая на фарт и погибель юность Золотой тайги.

Неизбежная, как вдох для всего живого, наступала новая пора...

ГЛАВА 1

Около десяти часов утра четвертого апреля 1918 года к японской коммерческой конторе «Исидо» во Владивостоке с противоположных сторон, но почти одновременно подошли четверо мужчин. Солидный китаец в очках, по виду — деловой человек, и его слуга, несший портфель, вошли первыми. Двое других, русские, в военных френчах со споротыми знаками различия, некоторое время оставались на улице, покуривая и безразлично разглядывая пустынный в этот час переулочек. Потом они враз отбросили папиросы и быстро скрылись в здании конторы «Исидо».

В небольшой коридорчик с мутным окном в конце выходили две двери. Одна стояла настежь, и за ней в комнате, тесно заставленной обычной канцелярской мебелью, никого не было. Зато из-за плотно прикрытой двери напротив доносился неразборчивый визгливый голос, выдававший большое раздражение. Посетители в военных френчах направились туда. Это был кабинет хозяина конторы. В данный момент в кабинете кроме возмущенного китайца и его слуги находились трое японцев — сам хозяин и двое его служащих.

— Господа офицеры,— почтительно обратился китаец к вошедшим военным,— вот они здесь, покорнейше прошу быть свидетелями...

На эту недосказанную просьбу господа офицеры откликнулись мгновенно — они выхватили пистолеты и открыли огонь.

Первый выстрел наповал уложил хозяина «Исидо», вторая и третья пули попали в служащего, стоявшего возле открытой дверцы сейфа, другой служащий, легко раненный в предплечье, свалился за массивным креслом в углу и притворился мертвым.

— Так будет со всеми, кто попытается препятствовать священному русско-германскому союзу! — громко заявил офицер, убирая пистолет. Как на грех, японец, оставшийся в живых, русского языка не знал и эту странную фразу передать потом следствию не смог.

Слуга китайца между тем извлек из портфеля пистолетную обойму, завернутую в издаваемую Владивостокским Советом газету «Известия», небрежно бросил ее на пол, после чего все четверо покинули кабинет.

Выстрелы в конторе «Исидо» услышаны тотчас не были — с одной стороны она отделялась от соседнего здания кирпичным брандмауэром, а с другой — находилось одно из тех непонятных заведений,, что оживают лишь с наступлением сумерек. Но во второй половине дня «вышедший уже из терпения» японский генеральный консул Кикучи поставил в известность Приморскую областную земскую управу, что он обратился «к командующему японской эскадрой с просьбой, чтобы он принял экстренные меры, которые он сочтет необходимыми, для ограждения жизни и имущества японских подданных».

Английская «Таймс», всего за четыре дня до этого писавшая, что сибирская интервенция держав Согласия (Антанты) будет вызвана большевистскими эксцессами во Владивостоке, проявила поразительную осведомленность. Однако контр-адмирал Хирохару Като, командующий японской эскадрой во Владивостоке, придерживался несколько иного мнения. Когда, докладывая ему об инциденте в конторе «Исидо», упомянули про обойму, завернутую в «Известия», он недовольно пробурчал: «Наша разведка, кажется, глупеет на глазах». Сие, впрочем, не помешало ему распорядиться о вооруженном десанте и подписать успокоительное воззвание к местному населению.

На другой день, пятого апреля, в шесть часов утра во Владивостокском порту высадились первые две роты японских морских пехотинцев. С рейда за данной операцией сумрачно следили, наведя на город орудия, тяжелый, как чугунный утюг, броненосец «Ивами» и крейсер «Асахи». Чуть дальше, в полном с ними согласии, маячил силуэт английского крейсера «Суффолк», также готового высадить десант.

Выслав вперед пикеты и караулы, десантные роты демонстративно прошли по улицам. В ранний этот час в районе порта народу было немного, но уже на Светланской, по обеим ее сторонам, копились толпы и в молчании глядели, как из глубины уличной перспективы, мерно отбивая подошвами, надвигались десантники — хорошо вымуштрованные, в светлой форме, с оружием на изготовку; сбоку вышагивали белоснежные офицеры при палашах.

Колелемый свежим бризом с Амурского залива полосатый военно-морской флаг императорской Японии важно плыл мимо многоэтажных зданий с башнями и шпилями, ремонтных мастерских, крендельных лавок, богатых магазинов с цветными маркизами над окнами, рекламных тумб, зазывающих на оперетту «Жрица огня», ветхих лачуг и солидных иностранных представительств...

ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО СООБЩЕНИЯ РСФСР
ОТ 5 АПРЕЛЯ 1918 г.
В СВЯЗИ С ЯПОНСКИМ ДЕСАНТОМ

«...Об этом убийстве, его причинах, обстановке и виновниках Советскому Правительству в данный момент еще неизвестно ничего. Но ему известно, как известно всему миру, что японские империалисты уже в течение нескольких месяцев подготавливали высадку во Владивостоке. Правительственная японская печать писала, что Япония призвана восстановить порядок в Сибири до Иркутска и даже до Урала. Японские власти искали подходящих предлогов для своего грабительского вторжения на территорию России. В генеральном штабе в Токио изобретались чудовищные сообщения о состоянии Сибири, о роли германских военнопленных и пр. и пр. Японский посол в Риме заявил несколько недель тому назад, будто пленные немцы вооружены и готовятся захватить Сибирскую железную дорогу. Это сообщение обошло печать всего мира. Военные власти Советской республики отправили английского и американского офицеров по Сибирской линии и дали им полную возможность убедиться в лживости официального японского сообщения. Когда этот довод оказался выбитым из рук японских империалистов, им пришлось искать других поводов. Убийство двух японцев явилось с этой точки зрения как нельзя более кстати. 4 апреля произошло убийство, а 5 апреля японский адмирал, не дожидаясь никакого расследования, уже произвел высадку.

Ход событий не оставляет никакого места сомнению в том, что все было заранее подготовлено и что провокационное убийство двух японцев составляло необходимую часть в этой подготовке.

Таким образом, давно подготавливавшийся империалистический удар с Востока разразился. Империалисты Японии хотят задушить советскую революцию, отрезать Россию от Тихого океана, захватить богатые пространства Сибири, закабалить сибирских рабочих и крестьян».

* * *

Колеса успокоительно и монотонно отсчитывали рельсовые стыки. В сырых апрельских сумерках поезд спешил к Харбину, разноязыкому городу–притону, расположенному в полосе отчуждения КВЖД.

Будь возможность, один из пассажиров этого поезда охотно сменил бы тепло и комфорт первого класса купе на промозглый неуют за стеной вагона — там он чувствовал бы себя в большей безопасности. По документам он значился Виктором Михайловичем Орловым, инженером управления КВЖД, командированным по служебным делам во Владивосток. В документах одно лишь было правдой — он действительно возвращался из Владивостока, куда ездил вовсе не из праздного любопытства. Николай Николаевич Ганскау, потомок обрусевших остзейских баронов, бывший капитан 15–го Сибирского стрелкового запасного полка, являлся одним из наиболее энергичных функционеров эсеровского «Временного правительства автономной Сибири» и правой рукой его «военного министра» подполковника Краковецкого.

После операции в конторе «Исидо», проведенной совместно с резидентурой японской диверсионно–разведывательной организации «Кокурюкай» («Черный дракон»), Ганскау и его напарник укрылись на конспиративной квартире в районе железнодорожного вокзала. Хозяин квартиры, жандарм, заочно приговоренный к расстрелу Иркутским ревтрибуналом, сходил на встречу с представителем «Черного дракона» и вернулся с неутешительными вестями. Японцы, обещавшие помочь уехать в Харбин тотчас после операции, просили подождать несколько дней. «Я и сам видел,— объяснил хозяин,— на вокзале полно красных, идет

поголовная проверка документов. Подозрительных тут же арестовывают. Япошки обещают переправить вас через Гродеково».

Едва стемнело, Ганскау, осатанев от безделья и ожидания, плюнул на все и предложил пойти развеяться. Впавший в хандру напарник отказался. Тогда в поход по значным местам барон отправился один. Он изрядно выпил, на Алеутской улице подцепил проститутку и из ее номера в гостинице «Централь» смог выбраться только утром.

Он еще издали почувствовал неладное — перед домом, где находилась конспиративная квартира, толпился народ, стояли две–три брички, а у ворот тускло поблескивали над головами жала штыков. Ганскау, не замедляя и не ускоряя шага, свернул в боковую улочку, прошел по ней до конца и, возвращаясь обратно, остановил вывернувшуюся из–за угла бабенку.

– Что это там люди собрались?

– А бандиты двоих зарезали, хозяина и квартиранта его,— охотно объяснила она.— Ночью, говорят, залезли в окно и... того. Знать, было что пограбить. Вот времечко–то настало — никакого порядка!

– Не говори, тетка,— машинально поддакнул он.

Уходя прочь, Ганскау ощущал в себе противное чувство запоздалого страха и еще — холодное бешенство. Сомневаться не приходилось: «Кокурюкай» избавлялся от лишних участников совместно совершенного преступления. Хороши союзнички, нечего сказать! Он остался в живых по чистой случайности, но «Черный дракон», конечно, постарается исправить осечку, и ожидать этого следовало в любой момент.

Ганскау знал толк в конспирации, да и связи во Владивостоке у него, слава богу, имелись.

Капитан на несколько дней бесследно исчез из поля зрения японской резидентуры, отсиделся в надежном месте и, вторично избегнув опасности при аресте красными небезызвестного Колобова, тоже функционера «Временного правительства», ускользнул в Гродеково. Только здесь его, кажется, снова засекли агенты «Черного дракона»,— несмотря на предпосадочную сумятицу, Ганскау, чьи чувства за последнее время чрезвычайно обострились, постоянно ощущал на себе чей–то внимательный взгляд, хотя полной уверенности в этом у него не было. Минули сутки с небольшим пути. Ничего подозрительного капитан пока не заметил. Настораживало лишь одно: в его двухместном купе второй пассажир так и не появился. На вопрос, заданный как бы между прочим, проводник — патриархальной бородой напоминающий генерала Хорвата, управляющего КВЖД,— с готовностью отвечал:

– Господа путейские инженеры пользуются на линии особыми привилегиями.

– Помилуй, да откуда ж известно, что я инженер КВЖД,— ведь я тебе бумаг своих не показывал?

– Об этом, ваше благородие, имею специальное предупреждение–с.

Расспрашивать далее Ганскау благоразумно воздержался. Однако чем больше вдумывался он в свое положение, тем становилось яснее, что дело, к которому он оказался причастным, слишком щекотливое и деликатное, чтобы японская разведка оставила его в живых: мертвые не болтают! — эту истину Ганскау исповедовал и сам. А то, что за прошедшие сутки не сделано никаких попыток убрать его, еще ни о чем не говорило. Могут постучать при подъезде к Харбину: «Проверка документов!» Что такое, скажем, выстрел из дамского браунинга? — так себе, хлопок, даже в соседнем купе он не будет услышан. Еще лучше ликвидировать его в самом Харбине: выстрелить в упор, в вокзальной толчее или немного спустя — в одной из темных привокзальных улочек... Тут его мысли были прерваны: показалось, что кто–то осторожно пробует с той стороны дверную ручку. Ганскау, не вынимая пистолет из кармана, отвел предохранитель и бесшумным кошачьим движением снялся с дивана. Постоял, прислушиваясь, потом крутнул запор и рывком отбросил дверь. За ней никого не оказалось, но в конце коридора какая–то неясная фигура быстро выскочила на тормозную площадку.

Наконец—то! Ганскау отступил в купе, тщательно запер дверь, после чего минут пять сидел, закрыв глаза и стараясь ни о чем не думать. Эта ничтожная передышка перед дальнейшими действиями, о которых он пока не имел ни малейшего представления, несколько освежила его. Из потертого кожаного сака капитан достал гранату—лимонку, взвесил ее на ладони, криво усмехнулся и опустил в карман висевшего в изножье дивана пальто. Затем извлек фляжку со скверной рисовой водкой, морщась, сделал два больших глотка. Закусывая соленой горбушей, он стал перебирать различные способы избавиться от преследования. Уйти через окно при подходе поезда к станции? Но это был чересчур простой выход, и многоопытные агенты «Черного дракона» его, разумеется, учли. Что же еще можно придумать? Перестрелку и прочее Ганскау оставлял на крайний случай. Прибегнуть разве к помощи проводника? Конечно, он мог быть связанным с японской разведкой, и в этом случае Ганскау почти ничего не терял. С другой же стороны, весь истово монархический облик бородача наводил на некоторые мысли.

Ганскау посмотрел на часы — до прибытия в Харбин оставалось меньше часа. Он щелкнул пальцами и решительно встал. С прежними предосторожностями открыв дверь, внимательно посмотрел в оба конца пустого коридора (из какого—то купе под бренчанье гитары доносилось: «Ах, друзья, на этом свете мы живем короткий срок, и поэтому спешите набивать свой кошелек!..») и рявкнул:

— Проводник! Чаю!

Пока бородач шуршал крахмальными салфетками и тщательно расставлял на столике фарфоровый чайный прибор, Ганскау как бы невзначай закрыл дверь, посвистел только что услышанный легкомысленный мотивчик и вдруг спросил:

— Э—э, скажи—ка, кто же тебя специально предупредил, что я путейский инженер?

— Предупредили—с,— помедлив, сказал проводник.

— Да кто же?

— Об этом вам лучше бы знать,— бородач на миг оставил свое занятие и незаметно покосился.

— Разве? М—мм... а как сейчас в Харбине — большие строгости? Впрочем, я, кажется, немного пьян, кхе—кхе!— и Ганскау, якобы спохватившись, ненатурально засмеялся.

— Обыкновенные строгости,— сдержанно отозвался проводник.— Готово, извольте кушать.

Ганскау закрыл за ним дверь и нарочито громко клацнул запором. Немного постоял, прислушиваясь, потом выплеснул чай за окно и, улегшись на диван, стал ждать. Если он не ошибся, проводник — соглядатай, обязанный докладывать кому следует о подозрительных пассажирах.

Через четверть часа по коридору, приближаясь, забухали шаги, остановились перед дверью. Раздался властный стук.

— Что нужно? — громко спросил капитан.

— Проверка документов!

Бородатый монархист не обманул надежд. Ганскау открыл, готовый в случае чего стрелять сквозь карман. Перед ним стояли подхорунжий и четыре казака с короткими японскими карабинами. Явно вояки атамана Семенова.

— Прошу! — Ганскау посторонился, и в тот же миг в живот ему уперся ствол револьвера.

— Руки вверх!

Капитан повиновался. Подхорунжий, обдавая застарелым перегаром, проворно обхлопал его по бокам и вытащил пистолет. Ухмыльнулся, встопорщив щетинистые усы.

— А теперь документы.

— Извольте!

Семеновед изучал бумаги долго. Он то подносил их к глазам, то отодвигал подальше, щурился и шевелил губами.

— Ор-лов,— прочитал он наконец по слогам.— Ан-жи-нер.— Совершенно верно,— подтвердил капитан с едва заметной иронией.

— Эвон что у него тут еще имеется! — воскликнул один из казаков, извлекая из пальто лимонку.

— Тэк-тэк,— подхорунжий сел на диван и уперся кулаками в расставленные колени.— Анжинер, говоришь?

— Вижу, надо сознаваться,— засмеялся Ганскау и полез в потайной карман.— Вот мои настоящие документы.

— Ловкач! — удивился подхорунжий.— Ну-ка, читай сам, что у тебя там понаписано.

Выслушав, он с удовлетворением заметил:

— Значит, Хамскау? Еврей, что ли? Эт-то хорошо-о...

— Я — барон Ганскау! Русский!

— Да что ты говоришь! — издевательски отвечал семеновец.— Сознавайся — красный?

— Я социалист-революционер.

— Ага! Выходит, большевик,— уверенно заключил подхорунжий.

— Не порите чушь! — рассердился Ганскау.— Я — уполномоченный Временного правительства автономной Сибири, возглавляемого господином Дербером!

— Какой еще Ербер? Тоже, жид? Скажи на милость, кругом ваша масть!.. Однако, переокрасить его придется, а? — скаля зубы, обратился он к казакам.

Те угрюмо хохотнули.

— Так, начнем, пожалуй, помолясь,— подхорунжий с нескрываемым удовольствием пригладил усы.

— Я еду по важному делу,— заявил Ганскау.— Попрошу организовать мою охрану, а по прибытии в Харбин — проводить в комендатуру вокзала.

— Ишь прыткий какой! — осклабился подхорунжий.— Только в комендатуре тебя и не видели. Не бойся, я сам с тобой разберусь. Своей властью.

Он поднялся, прихватив сак, еще раз оглядел купе, пощупал пальто, проверяя добротность материала, и кивнул одному из казаков: «Захвати!» После чего повернулся к капитану и весело кивнул на выход:

— Ну, пошли, красный, сейчас ты у нас побелеешь.

Казаки заржали.

Когда они с топотом и шумом проходили по коридору, из крайнего купе быстро выглянул, как показалось Ганскау, тот самый деловой китаец, который участвовал в операции в конторе «Исидо». Увидев капитана, вышагивающего в сопровождении вооруженных казаков, он мгновенно захлопнул дверь.

— Стой! — скомандовал подхорунжий, едва Ганскау ступил на тормозную площадку, освещенную скудным светом грязного фонаря, вздрагивающую и гудящую от лязга буферов и грохота колес. В открытую тамбурную дверь рвался ледяной ветер.

И вдруг Ганскау понял: эти семеновские мясники, не различающие в первобытном своем невежестве иных оттенков антибольшевизма, кроме «престол-отечества», сейчас с превеликим удовольствием расстреляют его, барона Ганскау, как какого-нибудь мешочника. Это было до того чудовищно и нелепо, что железный функционер «Временного правительства автономной Сибири» попросту растерялся. Так хорошо задуманная комбинация, которая должна была избавить его от лап «Черного дракона», оборачивалась пошлейшим расстрелом в заплеванном тамбуре. Для изыскания спасительного выхода в распоряжении барона Ганскау оставались считанные секунды. На помощь со стороны рассчитывать не приходилось — во всем поезде о его существовании знали лишь доносчик-проводник да люди «Кокурюкая», которые, запершись в купе, наверняка ломали головы над только что увиденным. В памяти на миг всплыло недоумевающе встревоженное лицо китаецца... Кажется, некий выход все же есть.

— Эх, места тут маловато, а то шашкой-то как браво бы,— вздохнул подхорунжий, передавая сак казаку, и начал расстегивать кобуру.

— Я протестую! Я вовсе не большевистский агент, как вы полагаете! — заговорил Ганскау, стараясь придать голосу всю возможную твердость.— Вы в этом убедитесь, если постучите вон в то крайнее купе. Там едет мой товарищ. По поручению представителя Японии, капитана Куроки, мы возем для передачи генералу Хорвату секретный пакет и золотую валюту.

— Золото? — подхорунжий дернул щекой и опустил уже извлеченный револьвер.— Для Хорвата, говоришь? Ни хрена, генерал не пропадет и без него, а вот нам оно будет в самый девке раз. Верно я говорю, орелики? — повернулся он к казакам.

Те в отборных выражениях высказали свое полное согласие.

— Ну, гляди у меня, если ты соврал! — предупредил подхорунжий, грозя пальцем.— Казачки, держи его покамест на мушке.

Он прошел в коридор и уверенной рукой постучался в указанное купе.

— Ну-ка, открой-ка!

Никто не отзывался. Подхорунжий выругался и забарабанил кулаком.

— Живо, кому говорят!

И тут в ответ изнутри загремели выстрелы. От лакированных дверей красного дерева брызнули осколки. Подхорунжий отшатнулся и, выгибаясь всем телом, упал в проходе. Казаки остолбенели с разинутыми ртами. Все это уместилось в ничтожно короткий миг, которого для Ганскау было достаточно. Он рванул входную дверь вагона и одним махом выбросился наугад в гремящую ветреную темноту, машинально успев отметить набегающие огни окраины Харбина.

* * *

Несмотря на позднее время, в небольшом двухэтажном особняке, расположенном в лучшей части европейского квартала Харбина, еще продолжалось чрезвычайное и экстренное заседание «Временного правительства автономной Сибири». Особняк этот принадлежал негласному финансово-экономическому советнику «правительства», миллионеру Никите Тимофеевичу Ожогину, влиятельнейшему члену правлений Русско-Азиатского банка, Общества взаимного кредита, Сибирского банка.

Никита Тимофеевич был крепенький мужичок лет пятидесяти, и простецкой одеждой, и всем обликом напоминающий зажиточного старообрядца. В обращении с людьми Никита Тимофеевич неизменно выказывал грубоватое прямодушие, за которым, однако, крылся ум изощренный и расчетливый. После октябрьского переворота он перенес свою резиденцию в Харбин и занял в этом непонятно под чьей властью пребывающем городе подобающее ему место. Миллионы, заключающиеся в твердой валюте и ценных бумагах, позволяли ему придерживаться независимого тона в разговорах с иностранными консулами и с легкой усмешкой взирать на ниву соотечественного антибольшевизма. В веселые минуты Никита Тимофеевич не стеснялся величать адмирала Колчака «морской свиной», генерала Хорвата — «бородатым шкелетом», а атаманов он называл совсем уж неприлично. Однако это не мешало ему поддерживать их всех, надеясь, что кто-нибудь из них авось да окажется удачливее других.

Был двенадцатый час ночи. Само заседание, собственно, уже окончилось, и большинство участников его уже разошлись. Оставалась лишь головка «правительства» — лица, непосредственно осуществляющие его политику и практическую деятельность. Последняя необычайно оживилась после всем известных владивостокских событий четвертого и пятого апреля. Узнав о них, «правительство» развило бешеную деятельность: сносилось с представителями иностранных держав и деловых кругов, вело переговоры с другими антибольшевистскими организациями, проводило тщательный анализ выступлений мировой прессы, составляло прогнозы и планы на ближайшее время, которые порой приходилось пересматривать по два раза на дню.

Присутствующие — их было всего три человека — располагались в покойных креслах в разных концах обставленного европейской мебелью кабинета. На окнах — глухие шторы, за толстым стеклом книжных шкафов — тусклое золото тисненых кожаных корешков, ковер на полу, электрический свет приглушен зеленым колпаком абажура. Словом, уют, спокойная солидность, культура, и если бы не старообрядческое обличье Никиты Тимофеевича да порой доносящиеся из ночи глухие выстрелы, то нипочем бы не подумать, что за окнами азиатский городишко Харбин, а не Москва, Берлин или, скажем, даже сам Париж.

Господину Дерберу, главе «Временного правительства автономной Сибири», не сиделось. Он то и дело вскакивал, нервно расхаживал по кабинету, опустив голову, чтобы скрыть честолюбивый блеск глаз, и крепко сцепив за спиной руки. Сегодняшнее заседание как никогда всколыхнуло в нем черт те какие мысли, окрылило и возбудило, и хотя оно уже с полчаса как окончилось, господин Дербер все никак не мог успокоиться. Еще бы: с того самого времени, с 28 января нынешнего года, когда сорок депутатов упраздненной большевиками Сибирской областной думы создали «Временное правительство автономной Сибири», не было вести более обнадеживающей, чем сообщение о высадке во Владивостоке десантов японской и английской морской пехоты. О, это означало многое! Дербер уже мысленно видел себя пожимающим руки президентов и премьер-министров.

— Да, господа,— вдруг звучно заговорил он.— Если большим общественным идеям ореол праведности и святости придают перенесенные ради них страдания, то наша идея, идея либерального и самостоятельного развития Сибири, воистину предстает в ореоле и праведности, и святости. Вспомните, господа, те испытания, что выпали на долю отцов сибирской автономии Ядринцева, Шашкова и нашего дорогого, всеми нами уважаемого, почитаемого Григория Николаевича Потанина!..

Тут глава «правительства» резко остановился, точно налетев на невидимую стену, героическим движением головы отмахнул со лба упавшую прядь волос и погрозил пальцем куда-то на запад.

— Нет-с, господа большевички, нет и нет! Не только у вас есть мученики и страдальцы! Есть они и у нас! Мы тоже знавали и ссылки, и каторги, и казематы!..

«Ай-ай, страсти-то какие! — насмешливо прищурился Ожогин.— Прямо как на театре. А хотя... гм-гм... ему ведь и положено быть краснобаем — не мне же честной народ потешать».

Подполковник Краковецкий, представительный мужчина, как говорится, «с Марсом в глазах», оторвался от толстой книги, которую он листал, держа на коленях.

— Виноват, прослушал,— в голосе его промелькнуло то неистребимое превосходство, которое испытывают к штафиркам истинные военные.— Кажется, вы претендуете на то, чтобы показаться более красным, чем сами большевики? Так ли вас прикажете понимать?

Дербер ответил не сразу.

— Видите ли,— осторожно начал он,— если мы с вами, сидя здесь, можем столь уверенно рассуждать про обновление страны, о грядущей судьбе Сибири, то сие только потому, что у нас были достойные предшественники. Основатели нашего великого дела... Понимаете, народ не склонен доверять идеям, рожденным сегодня, сию минуту. И правильно. Идеи должны пройти через испытание временем, а люди же, проповедующие их, должны пройти через испытание муками. И только тогда...

— Черт побери, да где же вы были раньше! — бесцеремонно перебил его «военный министр». — Выходит, если б правительство не ссылало политических в Соловки и Нерчинск, не сажало в Петропавловскую крепость, а, наоборот, гладило по головке, то идеи их и до сего дня пребывали бы втуне? А Россия и посейчас оставалась бы монархией? Ой ли? — смею спросить. А может, напротив, именно мягкотелость наших государственных учреждений стала сему причиной? Вот смотрите — как нарочно! — листаю сейчас книгу, называется «Николаевские жандармы и литература 1826—1855 годов». Девять лет назад издана в благословенном Петербурге, в период эпидемии свободомыслия-с... Слушайте, что некогда писал шеф жандармов граф Бенкендорф графу Орлову: «Прошедшее России было

удивительно, ее настоящее более чем великолепно, что же касается ее будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение; вот... точка зрения, с которой русская история должна быть рассматриваема и писана». Это написано в 1836 году. Забавно, господа, не так ли? Особенно если учесть, что почти с того как раз времени наши литераторы, так сказать, властители дум, пустились во все тяжкие. Белинские, Добролюбовы, Некрасовы, Салтыковы–Щедрины... Хаяли, обличали, лили слезы над «бедным угнетенным народом»... Кто им хоть раз сказал: не смей, ибо настоящее России более чем великолепно?.. Дошло, наконец, до того, что Лев Толстой, граф, черт его побери, на весь мир, во всеуслышанье заявляет: «Не могу молчать!» Что его за это — в Нерчинск сослали, в равелин заточили? Напротив, господа, напротив — героем сделали. Великие князья с визитом к нему приезжали!.. Так что если к «основателям нашего великого дела» припишем всех царей после Николая Первого, большой ошибки не будет — все они понемножку подпиливали сук, на котором сидели. Вот так–то–с!..

— Однако вы парадоксалист! Не знал, не знал,— принужденно засмеялся Дербер, и голос его стал вкрадчив.— Но, надеюсь, вы таки шутите? Не всерьез же вы полагаете, что либерализм был присущ... э–э... монархам...

— Я — человек военный,— сухо ответил Краковецкий.— Извините, но мне представляется, что все эти либерализмы, демократизмы и прочие «измы» — они от лукавого. Я знаю одно: в государстве должны быть единомыслие и порядок, только тогда оно способно побеждать.

— Ну, знаете ли...— развел руками Дербер.— У вас, знаете ли, прямо какие–то диктаторские замашки...

— А что? Очень даже неглупо,— подал вдруг голос Ожогин.— Признаться, господа, стачки, забастовки, митинги и всякие там революции мне уже порядочно надоели. Легко ли в мои–то годы по заграницам шастать? Что я в этом Харбине забыл?.. А от чего оно все пошло? От безалаберности нашей, слюнтяйства. Распустили народишко, прямо скажу. Всех распустили — и высших, и низших. Был я в Питере–то, аккурат перед войной был. Видел, знаю... Даже Гришку Распутина сподобился лицезреть, хе–хе–хе...

Миллионер умолк, раздраженно сопя, забарабанил короткими пальцами по подлокотнику кресла.

— Господа!— голос подполковника стал суров и отрывист, словно на плацу.— Мы здесь люди свои. Таиться нам друг от друга нет смысла. Пора наконец объясниться. Настало время больших решений.

Он внушительно помолчал и продолжил с тем же твердым мужеством:

— До сих пор мы могли позволить себе выжидать, присматриваться, помалкивать. Теперь же — карты на стол, господа! Я не возражаю против ваших «измов».

Я понимаю: тактический прием, уловки, рассчитанные на за границу и кое–кого из отечественной интеллигенции.

Однако ж, господа, что такое Сибирь? Это две фигуры: крестьянин верхом на лошади и с винтовкой в руке и бродяга в опорках, шаткий в понятиях о нравственности.

А так называемый сибирский пролетарий — нечто среднее между ними. Иностранцев я вообще в расчет не принимаю, ибо они вымирающие существа, не имеющие будущего.

Вот что есть Сибирь. И вы, господа, хотите, напялив хламиды, двинуться в гущу этой сволочи проповедовать ваши «измы»? Мне вас искренне жаль, ибо на первой же версте будете зарезаны и раздеты донага...

— Верна–а...— как бы про себя протянул Ожогин.

— Единственный язык, который понимает это хамло,— язык нагаек и казачьих шашек! — воодушеваясь, гремел подполковник.— С народом надо говорить на его языке: на дикость отвечать удвоенной дикостью, на разбой отвечать двойным разбоем. Что–с, не прав я, господа?

Дербер молчал, покоробленный столь откровенной зубатовщиной «военного министра социалистического правительства». Он понимал, что сейчас, когда мировые державы

вооруженным путем изъявили заинтересованность в дальневосточных и сибирских делах и перспектива реальных действий наконец-то проступила перед возглавляемым им «правительством», невозможно далее отъезжать на словах. В душе он был полностью согласен со своим «военным министром», но то, что мог позволить себе солдафон Краковецкий, никак не приличествовало ему, Дерберу, социалисту-революционеру. В нем нарастало сильнейшее раздражение: черт бы побрал этого вояку с его казарменной прямоотой! Ведь не обо всем же можно говорить напрямую, когда то же самое можно изложить окольными словами, обиняком...

К счастью, неприятный момент был прерван появлением личного секретаря Дербера. Василий Спиридонович Непомнящих, человек средних лет с костлявым, усыпанным оспенными пятнами лицом, владел несколькими иностранными языками, был дьявольски умен, знал и примечал многое и умел молчать. Втайне он мечтал о портфеле министра иностранных дел в правительстве Дербера, и оттого, должно быть, в глазах его временами мерцал огонек неуголенного честолюбия.

С достоинством прижимая к левому бедру лакированную кожаную папку, Непомнящих слегка поклонился, приблизился к Дерберу и сказал вполголоса:

– Подборка материалов из прессы за последние два-три месяца. Как вы давеча велели.

– Вот и славно! — обрадовался Дербер возможности отложить неприятный разговор.— Послушайте, господа, это всем нам полезно.

Непомнящих развернул внушительного вида папку, кашлянул, кончиками пальцев тронул верхний листок.

– Я просмотрел «Сибирскую речь», «Вестник Маньчжурии», французские «Ом либр», «Тан», английскую «Таймс», японские «Джапан Майнити» и «Хоти»... Четырнадцатого марта сего года, то есть спустя пять дней после высадки английского десанта в Мурманске, министр иностранных дел Великобритании Бальфур заявил, что для коренной помощи России в настоящий момент необходимо объединить действия Антанты. Он подчеркнул, что японцы придут в качестве друзей, а не врагов России... Немного раньше японский премьер-министр генерал Тераути и министр иностранных дел Мотоно заявили американскому журналисту Колеману: «Занятие Владивостока и Сибирской железной дороги до Иркутска охранит Сибирь от германской угрозы... Но даже если мы будем вынуждены силой обстоятельств отправить войска в Сибирь, никогда императорское правительство не будет рассматривать Россию как врага...»

– Как видите, господа, налицо полнейшая согласованность действий,— с удовлетворением сказал Дербер.

– В своих парламентских речах двадцать шестого марта сего года Тераути и Мотоно отметили серьезность положения в Сибири в связи с усилением германского влияния... Последний факт в просмотренных мною газетах усиленно связывается с заключением Брестского мира...

– Ну и ловкачи! — благодушно хохотнул Ожогин.— Как говорят, вали кулем — потом разберем.

– В японских газетах настойчиво проводится мысль, что единство действий Америки и Японии на Дальнем Востоке необходимо для противодействия Германии. Но, судя по всему, президент Вильсон до последнего времени не желал японского вооруженного вмешательства в русские события... Однако французские газеты дают понять, что полковник Хаус, личный представитель президента Вильсона, допускает возможность помощи чехословацким военнопленным в Сибири с тем, чтобы они консолидировали свои силы и вступили в успешное сотрудничество с родственными им славянами...

– Так-так,— заинтересованно встрепенулся Краковецкий.— Любопытно!

– Япония предложила сотрудничество Китаю в деле восстановления порядка в Сибири. Правительство Аньфу дало положительный ответ. Со слов американского посла в Китае Рейнша.

— Ну, это-то мы и без посла знали,— пробурчал Никита Тимофеевич.— Еще с тех самых пор, как в январе китайцы закрыли маньчжурскую границу, любой приказчик из бакалейной лавки знает, почему теперь фунт байхового чая.

— Эмбарго на экспорт в Россию наложено по просьбе союзников,— солидно заметил Дербер.

Ожогин лишь раздраженно дернул ноздрями жилковатого мясистого носа.

— Япония в своих действиях в Сибири будет базироваться в трех восточных провинциях Китая, которые управляются генерал-губернатором Чжан Цзолином... По сведениям, исходящим из хорошо информированных кругов, начальник японской военной миссии генерал Накасима намерен требовать от адмирала Колчака и генерала Хорвата исключительных горных прав в Восточной Сибири, лесных концессий, свободной навигации по Амуру, рыболовных прав и разрушения Владивостокских укреплений...

Непомнящих сделал паузу, ожидая, что сейчас последуют вполне естественные негодующие восклицания, но ответом было лишь подавленное молчание — слишком хорошо все присутствующие знали цену союзнической «помощи» и в глубине души давно успели примириться с необходимостью уплатить эту грабительскую цену.

«Патриоты!» — со злорадной горечью подумал Непомнящих. Примерно та же мысль и с той же эмоциональной окраской промелькнула в голове каждого.

— И последнее, господа,— по-прежнему бесстрастно продолжил Непомнящих.— В ответ на известный вам запрос, адресованный нами «Дальневосточному комитету защиты Родины и Учредительного собрания», его председатель генерал Хорват сообщает: «Слух о том, что атаман Гамов, который в прошлом месяце, спасаясь от банд красных головорезов, был вынужден отступить в Сахалин на китайском берегу Амура, якобы вывез с собой все ценности Благовещенского банка на общую сумму в сорок миллионов рублей золотом, не представляется мне вполне достоверным. Сам атаман Гамов утверждает, что это большевистская клевета, призванная посеять рознь в рядах освободительного движения»...

— При чем тут большевики! — взвизгнул Краковецкий и вскочил, уронив кресло.— С-сукины дети! Они хотят попросту присвоить всю сумму! Гамов — скотина общеизвестная, но Хорват?! За такое надо без всякого суда прямо к стенке!..

— Господа, господа... позвольте... — растерянно лепетал Дербер с совершенно белыми от ужаса глазами.— Ведь это же и наши деньги, так сказать, достояние отечества!.. И Гамов, и мы — все мы спасители родины... А теперь... кто нам теперь станет верить?..

— Сорок миллионов! Ай-люли! — неестественно весело хмыкнул вдруг Ожогин.— А знаете, украсть сорок миллионов — это, господа, не воровство, это зовется иначе... Только мне думается вот что... — Он умолк, пожевал губами, усмехнулся.— Мальчишкой служил я на побегушках в лавке. И был у нас приказчик, ворюга — клейма негде ставить. Так он, помню, частенько одну пословицу говорил, внушал, значит, мне: тихо надо — деньги будут, деньги любят тишину... Смекаю я, что Хорват, Гамов и кто там еще с ними не зря скрытничают. Делиться с другими им не с руки — при деньгах они, когда придет времечко, в Россию на коне въедут, а иные прочие, безденежные, пешочком приплетутся, разумеете? И другой резон: коль раззвонят они, вот-де вывезли мы из России сорок миллионов золотом, то союзнички наши, японцы да англичане, очень просто могут им сказать: повоюйте-ка, мол, теперь на свои любезные, а наши капиталы мы при себе пока придержим. Так оно у умных людей водится.

Старая истина: шутки денежного человека всегда остроумны, а советы его — мудры. Должно быть памятуя это, Дербер вытер платком взмокший лоб и с несколько заискивающей улыбкой уставился на Ожогина.

— Возможно, так оно и есть... Но как нам-то теперь быть? Ведь получается, мы и есть те самые, кто вернется в Россию пешочком... Тогда как Хорват, Колчак, Гамов и иже с ними...

Краковецкий поморщился и придушенным от злости голосом процедил:

— Эх, будь у меня сейчас сотни три казачков, взял бы я в конном строю тот паршивый Сахалин и — пытать всех от самого Гамова до последнего коновода! Через три дня привез бы в тороках эти сорок миллионов!..

Ожогин, усмехаясь, покачал головой.

— Не дело говоришь. Шашками махать — штука нехитрая, только много ли проку? А я скудным своим умишком так кумекаю. Те нынче при деньгах. Значит, и нам не след отставать, иначе, возвратясь в Россию, будем при наших адмиралах да генералах всю жизнь в бедных родственниках мыкаться. Так ли говорю?

Дербер судорожно плотнул, закивал головой.

— Тэк-с, тэк-с... — Миллионер Ожогин, говоря «мы» и «нам», этим как бы причислял себя к своим собеседникам, однако же, само собой, ни при какой погоде, ни у кого в «бедных родственниках» ходить не собирался, а потому мог позволить себе и эту спокойную рассудительность, и этот снисходительно-добродушный тон. — Тэк-с...

Деньги мы изыщем. Слава богу, не перевелись еще в Сибири состоятельные люди. На святое дело да при моем поручительстве не должны бы они поскудиться, не должны...

В этот момент без стука распахнулась дверь и в кабинет, пошатываясь, вступил окровавленный грязный человек, в котором не сразу узнали лихого капитана Ганскау.

— Господин капитан, да вы ли это? — охнул Дербер. — В таком виде... Что с вами?..

— Извините, господа, но я прибыл не с бала, — зло прохрипел капитан и как-то по-волчьи, исподлобья, окинул взглядом комнату. — С вашего позволения, прежде я промочу горло.

Ганскау, прихрамывая, подошел к столу и раз за разом жадно вытянул три фужера шампанского. После этого он рухнул в стоявшее рядом кресло и разразился столь страшным, длинным и замысловатым ругательством, что у подполковника, тоже первостатейного матерщинника, от удовольствия зашевелились уши.

— С нами крестная сила! — вздрогнул Ожогин. — На кого это ты так осерчал, батюшка Николай Николаевич?

— Союзнички наши, кол им в глотку! — свирепо рявкнул Ганскау. — «Кокорюкай!» Черные дракошки! И семеновские быдла тоже хороши, дурбалаи свиномордые!

И он, густо сдабривая речь самыми черными ругательствами, рассказал, что произошло во Владивостоке и в поезде по пути в Харбин.

Выслушав капитана, Дербер презрительно пожал плечами.

— Что ж, когда имеешь дело с азиатами, неизбежно приходится ждать чего-то подобного. Вот, скажем, англичане никогда бы такого не позволили.

— Все хороши! Любая разведка держится на сволочизме и подлости, — угрюмо буркнул Краковецкий.

— Нет, но все-таки европейские секретные службы — это нечто более благородное, — упорствовал Дербер.

Краковецкий нехорошо усмехнулся.

— Вы полагаете? Тогда дай вам бог познакомиться когда-нибудь с английской разведкой... Однако ж дело дрянь. Посотрудничали, нечего сказать! Эти черные дракошки, уж если что возьмут в башку, то от своего не отступятся. А руки у них длинные... Придется тебе, Николай Николаевич, на какое-то время исчезнуть отсюда. Хорошо бы куда-нибудь за кордон, в Сибирь...

— К большевикам, в Чека ихнее, — ядовито вставил Дербер.

— Эва, а ведь куда как славно получилось бы! — встрепенулся Ожогин. — Давеча мы говорили о состоятельных людях — надо-де просить у них денег на святое дело. Вот и пусть Николай Николаевич съездит к ним.

Человек он бесстрашный, кремень человек, к такому доверие чувствуешь. Дам ему с собой писульки кое к кому, Енисейские золотопромышленнички, да ленские, да витимские... Э, что там говорить, немало по Сибири их, людей с капиталом, и должны они помнить

Никиту Тимофеича Ожогина... Ну как, с богом, что ли, Николай Николаич, а? Тебе ли, орлу, большевиков—то бояться!..

В ответ железный функционер «Временного правительства автономной Сибири» длинно и сумрачно усмехнулся, передернул плечами.

— Спирту бы выпить. Надеюсь, у вас найдется... а то морозит меня что—то...

ГЛАВА 2

Из окна кабинета председателя Верхнеудинского Совета Василия Матвеевича Серова виднелись пустынное левобережье Селенги с кучкой домов Посельского предместья и сама река, светившаяся в этот вечерний час багровым расплавом. Лето нынешнего, восемнадцатого года выдалось сухое, пыльное, во многих местах горели леса и лесные склады компании «Крейман и Родовский», подожженные то ли бродячими ватагами разного темного люда, то ли еще кем. Над городом висела пелена дыма, и оттого, должно быть, зловещее пламя заката охватывало каждый раз чуть ли не полнеба. Яростный накал остывал долго — зарево нехотя уползало за горизонт, и почти до полуночи все тлел и тлел западный край неба. Нехорошие это были закаты, недобрые, но и дни не лучше — томительные, мутные от пыльного марева, дыма. Не золотым светилом вставало над землей солнце, а воспаленным оком разгневанных небес, не грело, а мстительно разглядывало людские метания, кровавую земную суету...

В городе поговаривали о близком конце мира, ссудном дне. Рассказывали, что в людный день на базаре, среди толпы народа, возник вдруг какой—то человек диковинного вида. Он протягивал людям зажатую в кулак руку, приказывал смотреть и разжимал пальцы, и все видели у него на ладони пшеничные зерна. «Так у вас было раньше,— говорил диковинный человек.— А вот так будет теперь»,— и снова показывал ладонь, а она уже не зерном полна, а кровью человеческой. Кто он, сей диковинный человек, и откуда взялся — никто не знает... Возле гостиных рядов частенько замечали какого—то оборванца, не то сумасшедшего, не то всегда пьяного. Он приставал к прохожим, подмигивал, глумливо оскаливался, пальцами изображал крюк и им как бы поддевал себя то за ребро, то за подбородок, при этом хрипел и выкатывал глаза. Многим делалось не по себе... Ночами кто—то видел, как по небу ходят огненные столбы и появляется иногда в вышине над городом светящийся крест... А с утра к Одигитриевскому собору, взметнувшему купола в конце Большой улицы, и к многочисленным церквям, разбросанным по Верхнеудинску,— Спасской, Троицкой, Вознесения и прочим,— тянулись старушки из Заудинского казачьего предместья, Мокрой слободы, с Мордовской и Береговой улиц, со Вшивой горки. Туда же сползались христарадники, убогие, бродяги и разные непонятные люди, о которых, убей, не скажешь, кто они и откуда: одного такого опознали на днях — оказался бывшим жандармским чином... Смутное, тяжелое время...

— Смутное, смутное время,— отвечая на свои мысли, вслух проговорил Серов.

Молодой человек, сидевший через стол от него, удивленно поднял голову. Это был окружной инженер Западно—Забайкальской горной области Алексей Платонович Зверев. Он пришел к Серову сообщить о своей предстоящей поездке с инспекцией частных золотых приисков в северной тайге.

— Виноват, задумался я что—то,— смущенно усмехнулся Серов, отходя от окна.— Да, тяжелое время. Стихийные беспорядки, сознательный саботаж... Мужик в деревне, обыватель в городе, да и кое—кто из рабочих, наконец, пребывают в смятении, в растерянности: что происходит? чего ждать завтра? И знаете, их нельзя не понять: столько событий обрушилось на голову рядового российского жителя...

— Да. За один неполный год два государственных переворота,— заметил молодой человек.

— И это не считая германской войны! — Серов коротко взмахнул перед собой кулаком, словно вколачивая слова в воздух.— Люди, привыкшие к тому, что их от века обманывали,

сейчас стали подозрительны вдвойне. Власть Советов не везде еще утвердилась должным образом. Особенно в деревнях, на окраинах. Это вы особенно имейте в виду во время поездки... Однако мы, Алексей Платонович, отвлеклись. Рассказывайте дальше.

Зверев с минуту смотрел на Серова. Председатель производил впечатление смертельно уставшего человека. Усталость сказывалась во всем: и в голосе, хриплом, сорванном на бесконечных митингах, и в глазах, обведенных густой синевой, и в лице, бледном от недоедания и недосыпания.

— Знаете, Василий Матвеевич,— решительно сказал Зверев.— Вы все равно меня не слушаете...

Серов шутливо вскинул руки, рассмеялся.

— Каюсь, каюсь, Алексей Платонович. Поверите ли; в ушах все время какой-то шум, как в кузнечном цехе, голоса какие-то мерещатся... Может, так и приходит к человеку старость, а? — доверительно спросил он.

— Ну что вы... Это просто переутомление...

— Чушь! — сердито сказал Серов.— То ли бывало в тюрьме, уж там-то спуску не давали. Ну, рассказывайте!

— Лучше я вам дам бумаги, там все сказано.

— Вот это дело! Давайте, давайте их сюда.

Серов снял пенсне, тщательно протер клетчатым платком и выжидательно посмотрел на окружного инженера.

— Для начала ознакомьтесь с этим документом,— Зверев положил перед Серовым лист бумаги и пояснил: — Это копия, я получил ее через Горный Совет в Чите. Оригинал, как вы понимаете, находится в Иркутске.

*Совет рабочих депутатов Центральному Сибирскому
Золотой тайги. исполнительному комитету
21 апреля 1918 г. (Центросибири)*

ДОКЛАД

В настоящее время многие золотопромышленники, напуганные рабочим движением, стараются при помощи искусственно создаваемых голода и безработицы выселить из тайги русских рабочих. В то же время промышленники оставили в тайге незаконно пробравшихся из-за границы китайцев, дав им секретное обещание через месяц-два быть принятыми вновь. При помощи этих мер хозяева приисков надеются, во-первых, разрушить недавно созданную в тайге Советскую организацию и, во-вторых, развернуть в самых широких размерах бесконтрольную, хищническую добычу золота и спекуляцию им, а также хлебом и пушниной.

С обнародованием декрета о сдаче золота в казну, всеми владельцами приисков в золотозаписные книги записывается самое ничтожное количество золота, а остальное безвозвратно уходит из республики и гибнет в отношении взимания промыслового подоходного налога.

Какая вакханалия наживы ведется в тайге, можно видеть из того, что по самому минимальному подсчету в 1917 году золотопромышленниками получено до четырех миллионов пользы.

Таким образом, Золотая тайга, могущая прокормить много тысяч рабочих и давать республике не менее ста пудов золота в год, привлечь к себе безработных из центральных областей и дать им заработок, в действительности выбрасывает в центр своих искусственно безработных и способствует расхищению национального богатства. Положение складывается такое, что контрреволюционеры и спекулянты имеют все возможности скупать в громадном количестве золото, укрываемое от власти.

Все вышеизложенное заставляет нас просить Центросибирь выслать уполномоченное лицо для ознакомления с положением дел на месте, так как нет возможности письменно сообщить о всех беззакониях и беспорядках, творящихся в тайге.

Для поддержания на месте престижа Советов рабочих депутатов и для подавления могущих быть контрреволюционных движений требуется создание Красной гвардии. Поэтому Совет рабочих депутатов Золотой тайги просит Центросибирь о высылке на первое время двадцати винтовок с достаточным количеством патронов.

Председатель Совета — *Турлай*.

Члены Совета — *Алтухов, Кожов*.

По мере чтения лицо Серова мрачнело все больше и больше.

— Л-лавочки! — он нервным движением сорвал пенсне. — Дай им хорошую цену — они могилами собственных предков станут торговать! Россия бьется, можно сказать, в родовых муках, лучшие люди гибнут за новую жизнь, а в это время...

— Ничего удивительного, — хмуро усмехнулся Зверев. — Подобные личности всегда были и будут. Говорят, в свое время некий ловкач нажился, распродавая камни разрушенной народом Бастилии.

— В самом деле? — Серов удивленно поднял брови, хмыкнул и проговорил: — Хорошо, очень хорошо, что вы мне показали эти бумаги. У вас все?

Зверев молча подал еще несколько документов — письма Забайкальского областного Горного Совета и отчетные сведения по приискам в Золотой тайге.

— Да, — вздохнул Серов, проглядев бумаги. — Да, невеселая история...

Он помолчал, устало опустив веки, откашлялся.

— Ну-с, подведем итоги. Из документов мы видим, что немногочисленная горная милиция, созданная еще до Октября семнадцатого года, служит интересам золотопромышленников. Во-вторых, почти всех русских рабочих хозяева выдворили из тайги, ссылаясь на продовольственные трудности. Этим они нанесли существенный удар Таежному Совету. В настоящее время ведется незаконная, хищническая добыча золота руками китайцев, которые в массе стоят в стороне от происходящих событий. Кстати, Алексей Платонович, сколько там сейчас народу может быть?

Зверев беспомощно развел руками.

— Не знаю, Василий Матвеевич. Господа золотопромышленники упорно отмалчиваются в ответ на мои запросы. Вот, к примеру, один из крупнейших среди них — Аркадий Борисович Жухлицкий. — Зверев вынул записную книжку и, сверяясь с ней, продолжил: — Пятнадцатого декабря прошлого года ему было предложено представить к первому февраля нынешнего года отчетные сведения по приискам, которые разрабатывались им в семнадцатом году. Требование послано через Баргузинское почтово-телеграфное отделение. Ответа к сроку я не получил и двадцатого мая повторил запрос. Одновременно предложил старшему милиционеру горной милиции проследить за выполнением моего требования.

Серов крикнул и порывистым движением взъерошил волосы.

— Так, так...

— Дня три назад я получаю от Жухлицкого заявление, что с октября семнадцатого года он в Баргузине не бывает и никакой корреспонденции от окружного инженера ни лично, ни через милицию не получал, за исключением-де последнего вашего требования. А я точно знаю, — взмахнув книжкой, сказал с сердцем Зверев, — с Баргузином он связь не может не поддерживать.

Серов невесело усмехнулся.

— И ведь срок какой выбрал, а, Алексей Платонович? — Серов поднял палец. — С октября семнадцатого года! Нашел веху, жулик!

— Одновременно он прислал отчетные сведения по приискам Екатерининскому и Хмурому. По прииску же Полуночно-Спорному и вовсе не представил ничего, ссылаясь на то, что разрабатывал его совсем недолго. Да и сведения — филькина грамота! Не указаны

размеры выработанных площадей, толщина золотосодержащих пластов, способы разработки, продолжительность рабочего сезона. А число задолженных поденщин за год он умудрился указать в круглой цифре — три тысячи. Соотношение же между добытым золотом и промытыми песками у него получилось ровнехонько один золотник на сто пудов, без всяких долей, понимаете? Такого в натуре не было и быть не может! — Зверев зло фыркнул: — Типчик!

Серов, пока Зверев рассказывал, быстро делал для себя какие-то пометки. Потом он поднял голову, пенсне его багрово сверкнуло в закатном свете.

— Что ж, нужное дело вы задумали, Алексей Платонович. Власть в России принадлежит Советам, и напрасно господа золотопромышленники думают, что это исторический курьез и явление сугубо временное. Нет, Советы в России — навсегда! Пусть господа толстосумы уяснят себе: либо они подчиняются решениям и декретам Советских организаций, либо мы будем рассматривать их как саботажников и контрреволюционеров со всеми вытекающими отсюда последствиями... Вам, Алексей Платонович, как окружному инженеру даны большие полномочия, так?

— Да. Комитет Советских организаций Забайкальской области и Горный Совет сполна наделили меня и обязанностями, и полномочиями. Вы, наверно, знаете, Василий Матвеевич, что окружной инженер до революции обладал весьма обширными правами. Сейчас, конечно, кое-что изменилось. Приходится пока руководствоваться вредными правилами и временными положениями. Горный Совет вчера прислал мне указания, я их сейчас вам прочитаю, — Зверев быстро перелистал бумаги, отыскивая нужную. — Ага, вот оно «Вам надлежит, главным образом, проинспектировать и обследовать промыслы Жухлицкого, так как на них добывалась половина всей добычи золота в Западном Забайкалье. Совершенно необходимо посетить Чироканские прииски и детально выяснить положение с драгой и затем дать заключение, не целесообразнее ли национализировать эти прииски и находящееся там имущество и тем предотвратить расхищение и порчу ценного оборудования приисков».

— Вижу, рад вам Жухлицкий не будет,— заметил Серов.

— М-да, видимо...

— Милиция ненадежна,— размышлял Серов.— Совет, надо думать, сильно ослаблен... Нелегко вам придется. Чем, скажем, вы намерены воздействовать на этого вашего Жухлицкого, если он заартачится?

— Вот за этим я и пришел к вам,— сказал Зверев.— Таежный Совет просит у Центросибири оружие...

Серов кивнул, с интересом посмотрел на молодого инженера.

— И что вы хотите?

— Мне кажется... — нерешительно продолжал Зверев.— Центросибирь в Иркутске... до бога, как говорят, далеко, а мы все же ближе. Я мог бы увезти с собой эти винтовки.

И тут Серов вдруг захохотал. Он смеялся долго, с видимым удовольствием и столь заразительно, что Зверев, растерянно вставший было сначала, тоже вдруг невольно повеселел.

— Ох... вы уж на меня не сердитесь, дорогой Алексей Платонович,— сказал наконец Серов, вытирая платком выступившие слезы.— Давно я так не смеялся. Да вы садитесь, садитесь... Как вы мне давеча говорили?.. «Я не большевик, но готов и дальше сотрудничать с вами, поскольку вижу, что ваши цели не противоречат интересам России»? Голубчик, да какой же вы не большевик, коль готовы оружием подавлять контрреволюцию. — Серов снова засмеялся.

Зверев смущенно покашлял.

— Видите ли, я вырос в семье петербургского профессора. Меня с детства готовили к ученой карьере. Политика не поощрялась моим отцом.

— А как же вы, профессорский сын, попали в Сибирь?— удивился Серов.

— Окончание мной Петербургского Горного института совпало с началом германской войны,— объяснил Зверев.— Я решил, что должен как-то практически быть полезным родине, и уехал на рудники Урала. А оттуда попал в Забайкалье.

— Лет этак двадцать назад из вас вышел бы лихой террорист. Да-да, уверяю вас! — воскликнул председатель Совета.— Вы думаете, бомбы в царей бросали закоренелые злодеи? Ничуть! Самые что ни на есть интеллигентные, благородные сердцем юноши... Да, ведь мы говорили об оружии? Хорошо, постараюсь помочь. Кстати, с кем едете?

— Один, если не найду попутчика.

— Как — один? — поразился Серов.— Голубчик, вы что-то совсем нескладное надумали. Так нельзя! — Серов на минуту задумался.— Знаете, я вам дам одного человека. Бурят, из кударинских казаков. Убил в свое время вахмистра и бежал за кордон. Много лет скитался по Внутренней Монголии, Маньчжурии, служил в монастыре, торговал, был даже одно время в шайке разбойников — хунхузов. Одним словом, перевидал предостаточно.

После революции возвратился в родные места. Сейчас служит здесь в Красной гвардии. Надежный и отчаянно храбрый человек. И стрелок отменный,— счел необходимым особо подчеркнуть Серов.— Для вас будет весьма полезен. Но,— лукаво усмехнувшись, он поднял палец,— услуга за услугу.

— Если в моих силах...

— В силах, в силах,— успокоил Серов.— Вернувшись, вы напишете большой статистико-экономический очерк о Золотой тайге.

— Согласен.

— Но не просто очерк. Я попрошу, чтобы вы нарисовали перед читателем яркую картину будущего Золотой тайги.

— Ну, это уже много сложнее,— Зверев с сомнением покачал головой.— Утопии не по моей части...

— Почему же утопии? Строгий инженерный расчет. Расскажите об электричестве и совершенных горных механизмах на приисках, об огромных заводах и городах в тайге, о железной дороге, пересекающей дикие ныне места. Разве это утопия? Да вот, извольте послушать,— Серов оживился и полез в ящик стола.— После прошлой нашей беседы — помните, Алексей Платонович? — я решил сам почитать о северных наших краях. Найти, к сожалению, удалось немного, но и этого хватило, чтобы пробудить живейший интерес... Вот и они!

Серов извлек несколько книжек в дешевых картонных переплетах и торопливо перелистал одну из них.

— Это,— объяснил он,— брошюра генерала Хлыновского «Угроза Сибирскому Востоку», написанная под сугубо военным псевдонимом «Часовой». Касаясь проекта постройки железной дороги, проходящей через наш север к Амурской железной дороге, он утверждает, что...— Серов, близоруко сощурившись, прочитал отчетливым голосом:— «... стратегическая, экономическая и политическая роль Северо-Байкальского пути так огромна в целях сохранения наших дальневосточных окраин, нашего военного престижа и военной чести, что скорейшая постройка его будет равносильна спасению отечества в годину бедствия».

Председатель поднял крупную, изрядно уже поседевшую голову, усмехнулся.

— Генерал, конечно, рассуждает по-генеральски. Нам он не указ, но то, что казалось реальным еще при самодержавии, тем паче может быть совершенно освободившимся народом в целях чисто мирных... Или вот инженер Половников... Вы его, верно, должны знать?

— Да, я слышал о нем,— сказал Зверев, устраиваясь поудобнее в обширном кожаном кресле, ранее украшавшем, вероятно, кабинет какого-нибудь гильдейского купчины.— Лет десять назад он вел изыскания на предмет прокладки железной дороги от Иркутска до Бодайбо.

— Совершенно справедливо. Вот послушайте, что он писал: «Для нас должен быть особенно поучителен пример американцев, которые не задумываются сооружать все новые и

новые железнодорожные линии по самым диким, неведомым районам, совершенно ненаселенными, казалось бы, не обеспечивающим ни одной тонны груза. И как по волшебству, край тотчас расцветает, открывается целый ряд новых предприятий, обнаруживается неистощимый запас нетронутых богатств; дикий и незаселенный край превращается в культурный промышленный район с богатейшими предприятиями, новыми городами и миллионами жителей. У нас же хотят поступать почему-то совершенно наоборот: сначала хотят достигнуть какими-то неведомыми, чудесными средствами развития края до крупного грузооборота и тогда только сооружать пути сообщения. Важно иметь только малейший залог того, что данный район таит в себе какие-либо естественные богатства: горно-промышленные, земледельческие или какие-либо другие, и уже судьба дороги должна быть обеспечена». . . Вот так-с. И что вы о сем думаете?

— Нечто подобное, помнится, высказывали друзья моего отца, инженеры, профессора, собиравшиеся у нас на квартире,— Зверев с чуть грустной улыбкой человека, вспоминающего минувшее, взглянул за окно на неистовые краски заката.— Главное препятствие они усматривали в самодержавном образе правления в России.

— Вот видите,— удовлетворенно заметил Серов.— То препятствие устранено. Временное правительство, думается, соблазнилось примером Америки. Но это все равно что, сняв один хомут, тут же надеть другой, и не менее тяжкий. . . А вот деловитость людей инженерного толка нам весьма необходима. Скажем, железная дорога в северной тайге. Окупится ли она? И за счет чего? Золота? Его у нас копают с середины прошлого века и берут пудов по пятьдесят в год, так?

— Примерно. . . Но год на год, конечно, не приходится.

— Хорошо, и добыто за истекшее время около двух с половиной тысяч пудов. Согласитесь, немало. Но по отзыву горного инженера Боголюбского,— Серов легонько похлопал по лежавшим перед ним книжкам,— об иссякании золотых запасов не может быть и речи, ибо пески с содержанием пять — пятнадцать долей встречаются всюду, и не только в долинах, руслах, но даже на увалах. Что сие значит, вы, конечно, понимаете лучше меня.

— Да, край тот богат бесспорно,— кивнул Зверев.— Золото, платина, лес, пушнина. Возможны железо, медь, уголь. Я уж не говорю о минеральных источниках, могущих снискать краю славу второго Пятигорска. Но он и суров: годовые колебания температур лежат между пятьюдесятью градусами ниже и выше нуля по шкале Реомюра. Вечная мерзлота. . . Впрочем, я согласен написать очерк. Вы меня убедили: в России сегодняшнего дня можно и должно думать о будущем.

ГЛАВА 3

Комната, где оказался Аркадий Борисович Жухлицкий, была совсем пуста — только глухие стены, ни единого окна. И в пустой этой комнате, в дальнем ее углу, стоял, отвернувшись, голый человек. Невесть откуда сочившийся свет был безжизнен и тускл, но Аркадий Борисович ясно видел, что голова у этого человека по-каторжному обрита, что неподвижен он и холоден, как мертвец. Да, на труп он походил, на труп, который зачем-то прислонили к стене. И едва пронеслась мысль: «Кто, кто это, господи?» — как тело вдруг стало медленно поворачиваться, поворачиваться и, наконец, повернулось. Но не лицо, пусть даже и страшное, мертвое, предстало взору потрясенного Аркадия Борисовича, а все тот же слепой обритый затылок, та же холодная голая спина. Жухлицкий обмер, облился ледяным потом, ощутил, что жизнь покидает его. Рванулся было, но все члены будто вмиг обратились в вату, крикнул, но остановился в горле крик. И эта смертельная жуть все тянулась и тянулась, и не было ей ни конца ни края. . .

Наконец он проснулся — даже не проснулся, а выполз из сна. Так помертвевший путник выползает из бездонной трясины, уцепившись за случайный куст. Мучительный стон еще тянулся из его губ, билось сердце, отдаваясь во всем теле, мокрое от пота белье вязало, словно путы. . .

Середина ночи. Мертвая тишина стояла в доме и за окнами, и даже песий брех в отдалении не нарушал ее.

Аркадий Борисович рывком сбросил одеяло, нарочито громко ступая, чтобы подбодрить себя, подошел к столу и на ощупь зажег свечи. Чуть подрагивая, вздыбились несть огненных язычков. Темнота отпрянула и затаилась в углах, под креслами, всосалась в складки тяжелых бархатных портьер. И липкий страх, переполнявший Аркадия Борисовича, хоть и не пропал совсем, но тоже отступы куда-то в дальние закоулки души.

Аркадий Борисович почувствовал озноб, не глядя взял с кресла мохнатый теплый халат, набросил на плечи.

— Черт знает, что за сон! — содрогнувшись, пробормотал он. — Привидится же такое...

Открыв одну из многочисленных дверец огромного резного шкафа, занимавшего всю стену, он извлек бутылку коньяка. Дрожащей рукой налил, выпил рюмку, вторую, плотнее запахнул халат и, закрыв глаза, подождал, пока жар, опаливший желудок, разойдется по телу.

Тишина была такая, что отдавалась звоном в ушах. И в этой тишине он с необыкновенной ясностью вдруг представил себя в образе одинокого измученного человека, затерянного в огромной ночи и огражденного от нее лишь жалким светом гаснущего костра, а вокруг — на сотни верст ни живой души, ни людского жилья, только немые деревья бесчисленными рядами дыбятся в страхе над истлевшими костями тысяч охотников за золотом.

Аркадий Борисович стряхнул оцепенение и с решимостью отчаяния стал ловить звук, перед которым он испытывал суеверную боязнь. Да, он никуда не делся, он был тут — негромкое размеренное постукивание старинных часов «Универсаль-гонг». Часы эти принадлежали еще его отцу, Борису Борисовичу, а до него — молодой вдове читинского золотопромышленника, которую, как говорили, серый ростовщик довел до самоубийства. Борис Борисович — непонятно почему — дорожил иноземной механикой в громоздком резном футляре и даже привез часы сюда, в таежную глухомань. Много лет они служили исправно, негромкими медными ударами отсчитывали положенные часы и одним — каждые полчаса. Ход их был всегда точен, а бой — благозвучен и чист. Но дней за десять до кончины Бориса Борисовича что-то случилось в таинственном нутре «Универсаль-гонга»: прежде чем ударить, они мучительно хрипели, стрелки судорожно вздрагивали и лишь после раздавался не удар даже, а какой-то сиплый стон. Произошло это в один из редких приездов Бориса Борисовича на Чирокан — он последние годы почти безвыездно жил в Баргузине, доверив надзор за своими более чем сорока золотоносными площадями сыну, Аркадию Борисовичу. Долго молчал старший Жухлицкий перед захандрившими часами и, вздыхая, покачивал головой. О чем он думал? О том ли, что много-много лет подряд будил его по ночам бой «Универсаль-гонга», и под мягкий их перестук то тончайшей паутиной, то тяжелой цепью тянулась одна только мысль — о деньгах, о золоте? Или о том, что до обидного коротка человеческая жизнь и несправедлив бог, если только он есть: столько молодых, здоровых лет пришлись на нищету и унижение, а когда явились богатство и власть, не осталось уже ни телесных сил, ни желаний, когда-то сжигавших его?..

Два дня после этого был Борис Борисович задумчив и тих, а на третий хватил его удар. Может, и выходил бы его какой ни на есть лекаришка, будь он в Чирокане, но Борис Борисович никогда не торопился заводить на приисках ни школ, ни больниц — боялся лишней траты. На десятый день Борис Борисович скончался, невнятно повелев коснеющим языком похоронить его в Баргузине, на особом кладбище, где покоились многие скороспелые таежные богачи. Все время, пока мучился, отходя, Борис Борисович, «Универсаль-гонг» через каждые полчаса хрипел так страдальчески, что домашние и глядеть-то на них стали опасаться. Аркадий Борисович вознамерился остановить их, но отец взглядом запретил ему это. А в ночь, когда скончался старый хозяин, случилось уж совсем диковинное: маятник исправно отстукивал свое, а вот стрелки стояли на месте. Но стоило только саням, везущим наспех сколоченный листовничный гроб, скрыться в февральской морозной метели, как

часы вдруг ликующе и чисто пробили двенадцать раз подряд. С тех пор минуло восемь лет, и часы все время шли с исправностью безупречной.

Аркадий Борисович снова наполнил рюмку, но пить не стал, дожидаясь с нутряной дрожью, когда пробьют проклятые часы.

Прошло, наверно, полгода, как ночи — слава богу, не каждая — стали для него порой кошмаров. Днем, на людях, он еще держался. При свете дня он был прежним Жухлицким, всеильным хозяином Золотой тайги: со всеми тверд, снисходительно благодушен; ум, как всегда, остер, а воля крепка. Чего стоило хотя бы выселение из тайги почти пятисот русских старателей — степенных отцов с чадами и домочадцами, одиноких шатунов, привыкших жить от фарта до фарта, и охочей до чужого золота расхристанной варнацкой сволочи, которая рыскала с прииска на прииск, нигде подолгу не задерживаясь. Когда весть об Октябрьском перевороте в Петрограде докатилась до таежного Чирокана, Жухлицкий сразу смекнул, что ничего хорошего дальше ждать не приходится. Полтыщи раздетых, разутых и полуголодных мужиков да сотни две бабья с детвой — это ли не страшно? Стоит их только распалить, а там уж им никакого удержу не будет. Аркадий Борисович спешно отрядил в начале зимы верных людей в Читу и Харбин со строгим наказом прекратить на время подвоз в Золотую тайгу продуктов и снаряжения. Тамошние купцы, сами напуганные, меру Аркадия Борисовича не могли не одобрить и про неустойку даже не заикались.

А с конца зимы началось то, что и было подготовлено прозорливыми стараниями Жухлицкого. В приисковых лавках со страшной быстротой исчезли продукты. Опустели и большие центральные амбары в Чирокане. Доверенные Аркадия Борисовича в те дни по сумасшедшим ценам торговали из-под полы ржаной мукой, скверной солониной и спиртом. Но долго так тянуться не могло — золотишко, припрятанное старателями на черный день, иссякло за какой-нибудь месяц; оно и понятно: под конец за пуд ржаной муки стали драть до двух золотников — в семь-восемь раз против того, что платил Жухлицкий харбинским и читинским купцам. За год до этого цена на золото подскочила к сорока двум рублям за золотник (война с германцем!), а Аркадий Борисович принимал его от старателей по шесть рублей и пользы поимел более полумиллиона. Нынче же — и дураку понятно — можно рассчитывать на куда большее, соблазн был велик, но Аркадий Борисович решил на время попуститься деньгами и закрыл тайные склады, устроенные в глухих местах тайги. Голод, призванный дальновидным Аркадием Борисовичем, вступил на прииски.

В канун пасхи с утра у приисковой конторы в Чирокане стал скапливаться народ. Случилось это, правда, не само собой: людям Жухлицкого пришлось порядком покричать в сырых полутемных бараках о том, что пора-де всем миром пойти крепко поговорить с хозяином.

К полудню толпа разрослась порядочно — уже сотен пять мужиков, баб и детишек галдело перед конторой. Комиссар горной милиции Епифан Савельич Кудрин с опаской поглядывал в окно: что мог он, сам-шест, сделать с голодной и все стервенеющей ордой? Пять его подручных тоскливо слонялись по полутемному коридору и трусили отчаянно.

Наконец на крыльцо, ступая крепко, по-хозяйски, вышел Аркадий Борисович и, сощурившись, окинул взглядом толпу. Да, голод выкурил из таежной бездны и свел воедино людей, годами избегавших друг друга,— известное дело, старатель, хоть одиночка, хоть артельный, не выдаст фартового места, в поселок приходит крадучись, с противоположной вовсе стороны, тем же манером и уходит. Вот они, все теперь здесь: вечный неудачник и горький пьяница Васька Разгильдяев, по прозвищу Купецкий Сын, оказался рядом с прижимистым и удачливым Евлампием Судариковым, смиренный семейный человек Иван Карпухин стоит плечом к плечу с лихим варнаком и душегубом Митькой Баргузином... старатели, шатуны, бесстыжие артельные мамки, испытые беременные бабы, сопливая ребятня... Чуть в сторонке кучкой молчаливых истуканов застыли китайцы с косами, черными дохлыми змеями свисающими из-под круглых шапочек. Впереди, под самым крыльцом, стоит, дымя сигаркой, однорукий Захар Турлай, председатель Таежного Совета — тоже мне власть, черт бы его побрал.

При появлении хозяина разноголосый гомон стих на миг, затем разом взметнулся рев, слитный, рычащий, злой. Жухлицкий и бровью не повел. В меховой душегрейке, обтягивающей широкие плечи, перетянутый широким ремнем с серебряными бляшками, в расшитых бисером высоких камусных сапогах работы ороchonских мастериц, ясным соколом глядел Жухлицкий. Черт возьми, как ухитрился серенький, узкоплечий и сутулый Борис Борисович произвести на свет такого чернявого красавца! Истинно — не в мать, не в отца, а в проезжего молодца. Поговаривали об этом на приисках, поговаривали. Вот только умом и хваткостью младший Жухлицкий пошел в старшего и удачлив был не меньше.

Толпа напирала. Тянулись руки, мозолистые, грязные, источали враждебный жар черные провалы сотен разинутых ртов, изрыгали мат и хриплый вопль.

Жухлицкий внушительно молчал, постукивал хлыстиком по сапогу. За его спиной маячило бледное лицо комиссара Кудрина.

Между тем холодное молчание хозяина мало-помалу студило страсти, и совсем, кажись, установилась тишина, однако кто-то из задних рядов отчаянно взвизгнул:

— Кровососы!

— Уа-а-ау! — единой глоткой ответила толпа, но тут Жухлицкий властно вскинул руку.

— Золотнишники! — зычно гаркнул он, момент был пойман мастерски — тотчас легла мертвая тишина, даже детишки не верещали. — Золотнишники! Видит бог, не я виноват, что тайга осталась без еды. Бунтовщики и воры, мать их так, довели Россию до ручки. Купеческие склады в Чите, что снабжали нас продовольствием, разграблены. Шли к нам обозы из Харбина — так их тоже разграбили. А в январе китайские власти закрыли маньчжурскую границу — кто грамотеи у вас, те небось читали в газетках. Такие дела. Сейчас остается одно: либо подыхать здесь с голоду, либо бросать все и уходить в жилуху!

— Запасы! — взвыла толпа. — Где запасы?

— Попрятал, гад!

— В шурф его, мужики!

— Бей оглоеда!

— Дураки! — багровея, рявкнул Жухлицкий. — Вот скажи ты, Евлампий Судариков, идет нынче золотишко?

— Положим, идет.

— А у тебя на Полуночном доится яма, Карпухин?

— Вроде есть...

— Так подумайте сами, — возвысил голос Аркадий Борисович, — какой мне резон закрывать прииски? Зачем бы я отказался от золота, а? Молчите? То-то! Золотнишники, слушай меня! Я, ребята, не ангел с крылышками — своей пользой ни в жизнь не попускался, однако и старателя не забывал. Смотрите: когда ты, Иван Карпухин, приехал из России с больной бабой, с голодной ребятней, кто тебе тогда поверил в долг, а? Дал ссуду, отпускал продукты из приисковой лавки, а?.. А ты — вот ты, ты, стоишь зубы скалишь, рожа твоя бесстыжая! — скажи, Митрий Баргузин, кто тебя спас, когда тебя за разбой и поножовщину по всей тайге гоняла горная милиция?

Пришел ко мне весь во вшах, в дерьме, а сейчас — гляди! — какие жабры наел! Золотнишники! Знаю, вы работали как черти, но и я старался для вас. В лавках вы брали сапоги из заграничного хрома, каких и офицерье не носило, шелк, атлас, бархат — чего душе угодно. Часы «Павел Буре»! А? Кабак, чтобы душу отвести! Икры угодно? — вот тебе икорка отменная, всех сортов. Вина? — вот и вино тебе, мадеры-холеры, шампанское с серебряным горлом. Халва, монпансье, шоколад, соленья-копченья разные, ась?! Повар! Ведь из Владивостока же повар-то выписан был, чтоб меня черти съели, все заграничные блюда насквозь готовил, пальчики оближешь! Мне это было нужно, а? Нет же! Для вас делал, вам потрафлял! А музыка в кабаке? Скрипками ведь вас ублажали, хари немытые!

Аркадий Борисович впал в раж — тыкал яростно в толпу пальцем, ногой топал, рвал на груди рубашку. И добился-таки своего — люди вроде отмякли, отошли, нет-нет да и посмеивались.

— Делать нечего,— прокашлявшись, горестно сказал Жухлицкий и даже с лица как-то спал.— Надо подаваться из тайги, пока еще силы есть. Я помогу вам, черт побери, выдам деньги, чтобы вы первое время могли устроиться в жилухе. Дам немного жратвы на дорогу и лошадей, так уж и быть! Видит бог, больше ничего поделывать не могу. Когда пройдет эта разбойничья пора, милости прошу обратно — встречу как родной отец. Кто не желает помирать с голоду, подходи сейчас к кассе за расчетом, а потом к амбару — там получите понемногу муки, рису, табаку!

Тут, оттолкнув стоящих внизу охранных казаков, на крыльцо вымахнул Турлай.

— Граждане таежные пролетарии! — надсаживаясь, закричал он,— Не поддавайтесь на провокацию! В России пролетарская революция, потому Жухлицкий испугался вас, рабочих, и выживает из тайги! Не слушайте мироеда и его приспешников!

Толпа было замерла, заколебалась, но вдруг, хватив оземь шапку, завопил Митька Баргузин:

— Орочонский бог, а жрать нам что? Ты, что ли, накормишь нас, однорукий пролетарь?

В толпе облегченно, хоть и невесело, засмеялись, и она, единая до этого, стала распадаться. Визгливо окликали кого-то «мамки», глухо заворчали мужики, подали голос дети. Народ раздался — одни хлынули к амбарам, другие — к кассе.

В сумерках домой к Аркадию Борисовичу пришел китайский старшинка Миша Чихамо.

— Твоих восточников я для виду рассчитаю вместе со всеми,— сказал ему Жухлицкий. — А вы сразу разбегайтесь по своим приискам и не кажите оттуда носу. Работайте, а продовольствие вам будет. Да смотри, чтобы золото не припрятавали, а то знаю я твоих фазанов: настаяются фунта два, спрячут за пазуху и — шурш в Китай. Тропы сейчас, сам понимаешь, ох и опасны!

Аркадий Борисович помолчал, пронзительно глядя на китайского старшинку. Тот кивал и кланялся. Хитрец он был еще тот и умом не обойден, понимал: люди Жухлицкого, как волки, обложили все тропы, поймают если с золотом — живьем изжарят на костре...

...Торжественно и неожиданно громко в стылой тишине прозвучали три удара «Универсаль-гонга». Аркадий Борисович, погруженный в невеселые думы, вздрогнул, даже в жар его бросило, и не удивительно: в последнее время дошел он до того, что брючный ремень, ненароком упавший на пол, мог показаться ему гадюкой, изготовившейся к броску.

Три часа ночи, глухое время.

Аркадий Борисович, горбясь, вылез из глубокого покойного кресла, подошел к окну и бессильной рукой отвел тяжелую портьеру. Темь стояла непроглядная. Ни звезды в небе, ни огня на земле. А всего год назад в любое время ночи отсюда виднелась осененная огнями английская драга, гордость Аркадия Борисовича, волшебный корабль, плывущий в ночи к заветным берегам. Черная, дикая вода Чирокана отражала эти огни и горела сама золотым мерцающим расплавом. Зрелище было невозможной красоты... Минуло, все минуло, остались уныние и жуть слепых ночей. Боже, боже, что натворила взбунтовавшаяся подлая чернь! Аркадий Борисович глухо застонал и окаменел, прижимаясь лбом к холодному стеклу...

Привел его в себя новый удар «Универсаль-гонга». Полчаса пролетело как единый миг. Аркадий Борисович, шаркая подбитыми соболем шлепанцами, вернулся к столу, взял тяжелый шестисвечник и толкнул дверь в соседнюю комнату. В шатающемся свете замерцал, заискрился хрусталь в шкафах, матово засветился китайский фарфор, мимолетно ожили зеркала, что-то пискнуло в дальнем углу — мышь, должно быть. Беззвучно ступая по медвежьим шкурам, Жухлицкий миновал просторную гостиную и остановился перед следующей дверью. Постоял в раздумье, тихонько открыл и вошел в небольшую комнату, увешанную хорасанскими коврами. Тонкий аромат духов мешался со свежим дуновением из открытой форточки. Пламя свечей хрупко затрепетало, заиграли тени на стенах.

— Сашенька! — негромко позвал Жухлицкий. — Не пугайся, это я...

На кровати шевельнулась, поднялась из подушек хорошенькая головка в обрамлении встрепанных темных кудрей, ахнула:

- Батюшки, Аркадий Борисович! Как же вы надумали–то...
- Тоскливо что–то, Сашенька, прямо хоть в петлю...
- Боже упаси, что вы говорите...

Аркадий Борисович присел на край пухового ложа и, закрыв глаза, обнял Сашеньку, нежную и податливую со сна. Уткнулся лицом в полураскрытую грудь и сквозь обморочный дурман ощутил теплый аромат ее кожи. Сашенька, приподнявшись, дунула на свечи и смеясь проворковала ему на ухо:

- Что бы вам с вечера приходиться...
- Молчи... молчи, Сашенька... не поймешь ты...

* * *

Легко, бездумно, счастливо заснула утомленная Сашенька. А к Аркадию Борисовичу сон все не шел и не шел. Откуда–то издали доносился брех псов, по–предутреннему беззлобный и ленивый. Скорее угадывался, нежели слышался, широкий рокот Чирокана. Три звезды, образующие верхнюю половину Кассиопеи, мерцали, переливались в окне,— холодны, далеки...

Аркадий Борисович длительно и пристально оглядел фарфорово белевшее в темноте лицо Сашеньки. Вздохнув, отвел глаза: вот и она тоже — ко всем бедам еще одна забота. Он любил ее зрелой, устоявшейся любовью, однако рядом с ней, этой любовью, тлела, то разгораясь, то затухая и как бы уходя под пепел, но никогда не исчезая совсем, ненависть.

...Первая встреча с ней, случившаяся летом тысяча девятьсот пятого года, была ему памятна и поныне. Двадцатичетырехлетний студент Аркадий Жухлицкий возвратился тогда из–за границы, из Марбурга, проучась четыре года в тамошнем университете, куда в свое время был водворен силой денег и связей отца. Едучи домой через Сибирь, Аркадий с опаской косил глазом на варнацкие пространства за окнами классного вагона и без особой радости думал о дипломе горного инженера, до получения которого оставался всего лишь год. С теплотой душевной вспоминал благонравный, чинный Марбург и предвкушал скорое туда возвращение. Но вышло все иначе. Оказывается, значительно опередив его, по каким–то казенным путям, таинственно–извилистым, как ходы червей–короедов, прошмыгнула в родные Палестины весть о якшании молодого Жухлицкого в дальних заграничных с не совсем благонадежными личностями, самое место которым не в Марбурге или, скажем, Карлсбаде, а в отечественном Александровском центре, Горном Зерентуе и прочих подобных местах, специально для таковых предназначенных.

Горный исправник Попрядухин, сообщивший Борис Борисычу о сем достойном сожаления казусе, был свой человек и потому счел возможным к сказанному строго конфиденциально добавить, что получен–де секретный циркуляр: в стране ожидаются известного свойства волнения; правительство озабочено и настроено решительно; поблажек никому не будет. Словом, грядет суровое время. Изложив это огорченному папе–миллионеру, Попрядухин мягко и доброжелательно высказал мнение, что лучше всего, если впавший в либеральную ересь молодой человек годик–другой отдохнет под отчим кровом от иноземных соблазнов, а там как бог укажет. Глубину исправничьего совета Борис Борисыч вполне оценил чуть позже — когда события пятого года потрянули и Питер, и Москву и грозным эхом отдались по всей необъятной империи. Бывший серый ростовщик устранился и решил не искушать судьбу, тем паче что наследнику миллионного состояния диплом горного инженера нужен не столь уж позарез. В итоге марбургский рассадник мудрости одного из своих недоучившихся питомцев так и не дождался обратно.

Свершившимся фактом все это стало потом, а в то лето, лето достопамятного девятьсот пятого года, Жухлицкий–младший, считаясь студентом на побывке, соответственно понимал о себе и на всякую отечественную рутину отзывался прочно усвоенной заграничной улыбкой — чуточку брезгливой, умудренной и снисходительной. Отец замечал, но помалкивал и с

ползучим терпением ростовщика вел линию — исподволь давал сыну вкусить власть над людьми, ненавязчиво учил выискивать чужие слабости, рассчитывать каждый шаг, пестовал в наследнике безжалостную деловую хватку и иступленную жажду богатства.

Начал Борис Борисыч с того, что взял Аркадия в самоличный объезд обширных своих владений, и едва ли не первым местом, которое они посетили, оказался выморочный прииск с громким названием «Богомдарованный». К удивлению молодого Жухлицкого, заправляла здесь всем шустрая сгорбленная старуха, темнолицая, с ехидными острыми глазенками, отчаянная матерщинница. Разговор ее с Борис Борисычем лишь мимолетно коснулся золотодобычных дел, а больше состоял из каких-то таинственных недомолвок и намеков с упоминанием чьих-то имен, похожих больше то ли на собачьи клички, то ли на воровские прозвища. Что-то темное и преступное мерещилось вчерашнему марбургскому студенту в неспешной беседе отца с приисковой управительницей. В особенности когда старая карга, спустив голос до злодейского шепота и то и дело бесстыже подмигивая, принялась бубнить:

– Ты, батюшка, не гляди, что тоща... Поверь старухе: мясы наберет — девка будет соболь, хунтух-мунтух!.. Через пару, много — через тройку годков спасибо мне скажешь... У кого глаз на эти дела острый, тот понимает...

Чихамо вон цельную бутылку золота сулил...

С этими словами она проворно вышмыгнула вон и почти тотчас вернулась. Следом за ней в полутемную неопрятную избу вступила пугливая, диковатая на вид девочка лет двенадцати-тринадцати, большеглазая, длинноногая, нескладная — этакий олененок, отбившийся от матери.

– Вот она, моя сиротиночка, голубка моя безгрешная, — жалостливо причитала управительница, мягко, но настойчиво подпихивая девочку к Борис Борисычу.

Жухлицкий-старший окинул ее быстрым оценивающим взглядом, подумал и, кисло улыбаясь, заговорил фальшиво-бодрым голосом:

– Зовут-то как? Саша? Это хорошо, это хорошо... Тетеньку слушаешься, а? Мэ-э... надо слушаться, надо... Вот погоди, подрастешь — в горничные заберем тебя, в самом Баргузине жить станешь. Хочется в Баргузин-то, а? Там дома богатые, народу много. Весело. М-да, Сашенька... Ну-ну, иди играй, Сашенька...

Едва девочка выскользнула за дверь, старуха, сидевшая до того постно поджав губы, встряхнулась, закудахтала:

– Ну что, какова, батюшка, а?

Борис Борисыч мельком покосился на сына и чуть заметно пожал плечами. Управительница, истолковавшая, видимо, это движение как знак одобрения, издала тухлявое хихиканье:

– Недешево мне содержанье обходится: подорожало ведь нынче все. На одну одежду-обувку сколько уходит. Чихамо-то ишь что выдумал: бутылку золота. Нет, одной бутылкой тут не обойдешься!..

В ответ Жухлицкий-старший кашлянул и пустил губами какой-то почти собачий звук «беф-ф...». Старуха тотчас умолкла, и некоторое время они оба молчали — со значением, как бы обоюдным молчаньем скрепляя некую сделку, после чего с явным облегчением заговорили уже о совершенно ином.

В продолжение всей этой сцены Аркадия, так и не уловившего существа происходящего, не оставляло ощущение чего-то нечистого, воровского. Впрочем, обильная разного рода вывихами жизнь таежных золотых промыслов неизбежно должна была если и не вытравить, то все же притушевать, низвести до уровня заурядного гнетущее впечатление, связанное с диковатой девочкой Сашей. Так оно и случилось, и буквально через пару дней.

Выехав с Богомдарованного, Жухлицкий с сыном и сопровождавшие их охранные казаки перевалили через три хребта и заночевали в слаженном на оронский манер балагане, хозяин которого, мягкий мужичок, с лицом сыромятным, бесцветным, как подвальный гриб, встретил Борис Борисыча с подобострастием преданного служаки. Он и повел на следующее утро дальше темными варнацкими тропами.

Непривычная дорога сильно измучила Аркадия. Сизоватая синева тайги, издали схожая с налетом на ягодах голубики и потому кажущаяся столь прохладной, па деле обернулась застоявшейся меж деревьев духотой и разгулом страха не ведающего кровожадного гнуса. Заночевали в тайге, под открытым небом, и в середине следующего дня подъехали к затаенно расположенному в вершине глухого распадка зимовью. На шум почти одновременно вылезли из него два старичка. Они были похожи, словно два замшелых пня,— оба одинаково грязные, едва прикрытые каким-то невообразимым рваньем, с засохшими остатками еды в неопрятных бородах, оба по-паучьи пригнутые к земле трудами и годами. Некоторое время они со страхом и в то же время злобно смотрели на невесть откуда пожаловавших гостей, потом с неожиданным проворством нырнули один за другим в свою берлогу, и тотчас в боковую отдушину и в дверь выставились ржавые шестигранные дула шомпольных ружей.

Ровным счетом чертова дюжина лет миновала с той поры, но старички эти помнились Аркадию Борисовичу так, словно все было вчера. Они долго не хотели верить, что перед ними сам Борис Борисыч Жухлицкий, хозяин золотого Чирокана, а когда поверили — взяли вдруг тон что ни на есть свойский, стали говорить миллионщику «паря», будто всю жизнь хлебали с ним из одного артельного котла. К немалому изумлению Аркадия, отец благодушно слушал старичков, поддакивал, с аппетитом прихлебывал чай из их омерзительной посуды. Жухлицкий—младший, по марбургской университетской наивности, не знал, что и подумать. Однако бывший серый ростовщик никогда ничего зря не делал: старички эти были «с секретом», о чем Аркадий узнал чуть позже. Неизвестно почему вообразив, что миллионщик Жухлицкий — свой брат и таиться от него нечего, они поведали ему историю своей в высшей степени необыкновенной жизни. Кроме них и Борис Борисыча с сыном, в вонючей зимовьюшке никого не было и стояла та особая тишина, когда бог знает отчего тянет излить душу, посему рассказ старичков оказался неспешным и подробным.

Появились они в здешних краях с лишком сорок лет тому назад, то есть в самый разгул золотого помешательства, а до того успели вдоволь помаяться на уральских приисках, мыкались со старательскими лотками по глухим падям и распадкам Енисейской губернии. На первых порах Золотая тайга показалась двум дружкам поласковой прежних мест. Фарт мимолетно показывал им свою румяную рожу то тут, то там, зазывно подмигивал и, петляя по-заячьи, водил за собой из ключа в ключ, через хребты, перевалы, через дурные чертоломы ороchonской земли...

В таких вот делах нечувствительно минуло больше десяти лет. Выпадали, конечно, за это время и кой-какие удачи и удачишки, но того «большого самородка», после которого можно доверху наполнить водкой старательские лотки, выпить одним духом и зажить без нужды и печали, все не было и не было. Многие из тех, с кем спознались попервости в Золотой тайге, перемерли, сгорели от винища или давно махнули рукой на своенравный фарт. Но эти двое оказались таковы, что жаркое их упорство постепенно перегорело как бы в уголь, негасимо тлеющий под серым пеплом алчбы. Исходили, исшарили они всю Золотую и Дальнюю тайгу от Крестового озера аж до златообильного Орона. Мыли пески по берегам таких речушек, куда не только добрый человек, а и беглый каторжник, наверно, не заглядывал. Добирались до Бодайбо. Спускались и до известного села при устье Витима, что за тяжкую греховность свою, противную и людским, и божьим законам, сгорело потом дотла в одну ветреную ночь. Пожар породил много разноречивых толков по всей сибирской тайге. Дошли слухи до властей. Нагрянуло следствие, и тогда в пепелищах домов обнаружались подполья с ходами в сторону реки — хозяева тех домов не один год промышляли тем, что заманивали к себе удачливых старателей, поили допьяна, грабили подчистую, а затем, предав скорой смерти, оттаскивали по подземным ходам в реку...

И вот наконец — теперь уже тридцать лет прошло с того дня — случилось долгожданное: свалился жирный фарт прямо в руки, сначала одному, а после и другому. Но, должно быть, не кто иной, как злобный ороchonский бог, подстроил так, что рыскали они в то время порознь, а посему оказался каждый из них наедине с золотым соблазном. И не устояли молодцы—старатели, взвихрился со дна души тот самый серый пепел алчбы, замутил

воспаленные головы, ослепил очи. И свершилось дивное дело. Как сойдутся, бывало, в зимовье — в глаза друг другу не глядят. Заговорят — в речах виляние сплошное. И один тайну не хочет выдать, и другой дрожит. Помалкивают оба, хотя, конечно, догадываются обо всем. А наутро — каждый в свою сторону и скорей, скорей за работу, да все с опаской, с опаской. Дни тянулись за днями. Вот уже, кажись, и достаточно золотишка, время в жилуху подаваться, к людям, а боязно: вдруг да тот, второй, больше настарался? Или же я уйду, а он останется, обшарит все вокруг и отыщет потайное место,— что тогда? Так и держит их золото, не отпускает от себя, а чумазый ороchonский бог в ближних кустах трясет рогатой башкой, пасть зубастую разевает, хохочет—заливается — уж больно ловко подловил он настырных старателей. Будто зайцев в петлю.

Прошло лето, а за ним — зима. Еще лето и еще зима. Но старатели ни с места. Давняя сноровка не дает им пропасть: пропитание добывают охотой, рыбку ловят, в звериные шкуры одеваются. Живут оба—двое по—прежнему вместе в зимовьюшке, однако промеж собой не разговаривают— надоели друг другу. Опротивели. (Вот когда получила объяснение та подмятая на время нашествием непрощенных гостей взаимная неприязнь старичков, что с самого начала была подмечена Аркадием.) И еду каждый сам себе наособицу варит. И едят, отвернувшись один от другого. Разбежаться бы врозь, да боязно совсем—то одному в тайге. Все так же золотишко моют. Каждый сам по себе. Тайно. Двужильно. И от зимовья каждый уходит по—лисьи, в иную совсем сторону, петляет, петляет по тайге, озирается и оглядывается — чур, не проследил бы второй.

А зловредный ороchonский бог никак не отстает. Новую пакость выдумал, идолище неумытое, да ведь какую! Добытое старатели в зимовьюшку, конечно, не приносили — каждый утаскивал в свое надежное потайное место. Утащит, уложит, ладонью обласкает медленно растущую кучу золота. Хочется подольше полюбоваться на богатство, ан нельзя: боязно долго оставаться — не приметили бы чьи недобрые глаза. Возвращается старатель в зимовьюшку, заваливается спать, а во сне опять—таки золотишко, целые холмы, горы золота. Раньше, бывало, и во сне и наяву представлялась будущая жизнь при добытом богатстве — пища царская, собственные каменные хоромы, набитые дорогим добром, рысаки и, само собой, бабы сладкие. Прошло время, и иные мысли стали одолевать, другое в башку поперло — побольше, ох, как можно больше набрать золота. Боже упаси оставить что—нибудь в земле. Бывало, прокрадется бедный старатель к тайнику, глянет на сокровище, ощупает его — и душа согревается. Не то стало теперь — знобит душу от золота, в дрожь бросает. И хочется его не то все подгрести под седалище, не то — поедать горстями. Эх, тяжко до чего!.. Вот теперь мстительному ороchonскому богу впору заняться другими делами, ибо страшной мерой воздал он ненасытным старателям — таежное золото намертво и до конца пришло их к себе.

Так, в телесных муках да в маете душевной, утекли, будто песчинки золота меж пальцев, с лишком тридцать лет...

Нельзя было понять по невозмутимо—благодушному лицу Борис Борисыча, что он чувствовал в продолжение всего рассказа, но Аркадий — Аркадий был потрясен. Нечто по—своему величественное привиделось ему в этом обесмысленном подвиге алчности. Едва ли не светящиеся нимбы усмотрел вдруг Аркадий над вшивыми, нечесаными головами старичков. Однако, не в силах совладать с любопытством, он отважился на вопрос:

— А можно узнать, сколько же его... за тридцать лет удалось вам...

Во взгляде отца промелькнуло что—то похожее на одобрение, а старички по очереди хихикнули, после чего один, побойчей на язык, с нескрываемой гордостью отвечал:

— Не стану таиться, все мы туточки люди свойские, рудознатцы не из последних... Скажу тебе, паря, так: злата моего аккурат хватит излить из него мой статуй как есть от пят до макушки по полной мерке. Вот оно как, паря.

Второй старичок согласно покивал на эти слова, выказывая тем самым, что и у него золота ничуть не меньше.

Аркадий, мгновенно поверив им, внутренне ахнул: даже если в старичке четыре пуда, а золото примерно в пятнадцать раз тяжелей воды, то упомянутый «статуй» должен весить

около шестидесяти пудов. Орочонский бог! Каждый из этих одичавших грязных старичков оказывался миллионщиком. Нет, не напрасно, совсем не напрасно сочли они Борис Борисыча сугубо своим человеком и чуть ли не похлопывали его родственно по плечу. Должно быть, нутром, изъязвленным золотой отравой, угадали они, что бывший серый ростовщик тоже совершил в жизни величественный подвиг алчности, только не с выхолощенным смыслом, как у них, а, напротив, весьма и весьма целенаправленный. Такие мысли пронеслись во взбаламученном мозгу младшего Жухлицкого. Любопытство его распалилось пуще прежнего, и он не удержался от следующего вопроса:

– Простите, а как вы предполагаете распорядиться им... капиталом то есть?

– Каким таким капиталом? — не понял старичок. — Ты про злато, что ль? Да какой же оно тебе капитал! Капитал — это деньга, а злато, оно, паря, злато и есть, и все тебе тута.

Взгляд старичка был при этом младенчески ясен, и именно это, вероятно, помешало Аркадию должным образом осмыслить заумную глубину изреченного.

– Но ведь куда-то, на что-то вы должны употребить ваше... злато! — упорствовал он, уязвленно краснея.

Старичок поглядел на него с нескрываемым превосходством, как на зеленого несмышленища.

– А никуда, паря, употреблять и не надо, — наставительно проговорил он. — Из земли оно взято, в землю же и воротится.

– Позвольте... позвольте... — в полнейшем отчаянии лепетал молодой Жухлицкий, с ужасом ощущая, как зашаталось в нем возведенное на прочном немецком фундаменте само понятие здравого смысла.

– Злато дано человеку для радости, — тем же тоном продолжал свои темные речения оборванный миллионер. — Ищешь злато — радость, нашел — опять же радость. Возьми злато, погляди, а после — положи обратно, пусть другие ищут да радуются.

Взгляд самобытного мыслителя оставался по-прежнему незамутненно-чистым, и тут уж марбургскому студенту наконец стало ясно, что к чему: старички не то чтоб окончательно спятившие, но явно с некоторой выбоинкой в мозгах. Поняв это, Аркадий почувствовал облегчение, подобное тому, которое ощутил бы человек, обнаруживший, что столь обескуражившие его фальшивые монеты на самом-то деле настоящие. Здравый смысл, слава богу, снова благополучно утвердился в мире.

И каково же было Аркадию потом, когда отец, оказавшись с ним наедине, с полной убежденностью объявил, что у этих замшелых пеньков хоть и не все дома, однако золото у них действительно есть в тайниках, и, наверно, именно столько, сколько они говорили! И в довершение Аркадий в глухой предрассветный час нечаянно подслушал разговор Борис Борисыча с тем бледным мужичком, который привел их сюда. Разговор велся шепотом, и суть его для Аркадия, еще не привычного постигать недомолвки и эзопов язык, осталась тогда столь же темной, как тайга в ту безлунную ночь.

– Что, хозяин, нагяделся? Веришь теперь? — придушенно хрипел мужичок.

Борис Борисыч буркнул в ответ что-то неразборчивое.

– Мартышкин труд, — безнадежно вздохнул мужичок. — Человека, его теплого брать надо — тогда он слаб, вроде как спросонья. И заметь, чем человек здоровей да моложе, тем теплей. А эти давно уж вконец остыли, от сна отвыкли. Я такие дела досконально знаю — не один год, поди, на Тропе смерти баловался. Не токмо фазанов щипал — и своих, бывалоча, грешным делом...

– Болван, чем хвалишься? Душегубством...

– Я ж и говорю — грешен, каюсь...

– Это ты попу скажешь, — проворчал Борис Борисыч и после некоторого молчания угрюмо спросил: — Неужто ничего нельзя поделать?

– Ни-ни, хозяин, ни с какого боку. Закостенели, таких ни огнем, ни ножом...

– А проследить?

– Думаешь, не брался, хозяин? Многожды. Той осенью месяц в ернике караулил. И досиделся — мужик в шубе едва-едва не задавил.

– Какой еще мужик?

– А медведь...

– Тыфу на твоего медведя! Увидел что?

– Увидишь, как же! Они ить по ночам шастают, и не углядишь вовсе.

– А следы, следы?

– Э, хозяин, какие там следья! — шепотом возражал мужичок.— Ходят, адали как по воздуху. Может, слово какое знают... Да и то сказать, шутка ли — тридцать годов таиться. Тут, поди-ка, чему хошь научишься...

– погоди,— остановил Борис Борисович и заговорил столь тихо, что Аркадий уже не мог разобрать ни слова.

– Ох, хозяин, и голова ж у тебя!..— восхищенно ахнул вдруг мужичок.

– Молчи, дурак! — шикнул Борис Борисович и продолжал шептать дальше, а мужичок-душегуб время от времени отзывался одобрительным мычаньем.

Чем закончился этот темный разговор и каковы были его последствия, Аркадий так никогда и не узнал и узнать не пытался. Хорошо знакомый с тяжелым нравом отца и скрытностью его, он осмелился лишь спросить на следующий день, кто такой этот мужичок.

– Полезный человек,— буркнул Борис Борисыч и, чуть помедлив, добавил: — Впрочем, изрядная сволочь.

Больше он ничего не сказал, но и сказанного было достаточно, чтобы Аркадий надолго получил отвращение ко всему, что касалось приисков. Борис Борисыч, умевший, как и любой ростовщик, почти безошибочно читать в сердцах людских, угадал, что творится в душе Аркадия. Выбившийся из кислой подвальной нищеты в миллионщики, он хорошо знал всеокрушающую силу вкрадчивого бога наживы. Ему он и доверил заколебавшееся чадо. Скрепя сердце Аркадию пришлось постигать лукавую арифметику приходно-расходных книг, аренд, субаренд, подрядов, головоломных договоров о куплях и продажах. Скрытые пружины и рычаги огромного мира коммерции постепенно обрисовались перед ним во всей своей отлаженности, могуществе и многообразии. Да-да, это был целый мир, сотворенный не богом, но людьми, и он, этот мир, был по-своему красив, совершенен, царственно щедр к сильному и удачливому. А кому, скажите, в двадцать пять-то лет не хочется быть сильным, причастным избранному кругу негласных вершителей судеб человеческих? Возрастная левизна взглядов отступила в прошлое вместе с университетскими лекциями, задушевными пивными застольями в компании друзей-студентов и черепичными крышами Марбурга. О них ли, игрушечно-пристойных, стоило думать, вспоминать, когда прямо перед глазами рыкающим доисторическим чудовищем ворочалась сибирская тайга — крушила, жрала, умирала и возрождалась, исходя дерьмом, золотом, кровью. Вот где была, черт побери, настоящая жизнь! И в этом кружении и кипении Аркадий чувствовал себя попеременно то блестящим фехтовальщиком, то изысканным шулером, то благородным разбойником, а то и вовсе творцом-демиургом.

Стремительный полет молодого Жухлицкого оказался на некоторое время прерван неким Поросенковым, полуграмотным владельцем второразрядного прииска. Смешно сказать, умница Аркадий попался на самую посконную мужицкую хитрость, в результате чего Поросенков всучил ему свой зачуханный прииск за безобразно большие тыщи. И мало того, что великолепного наследника миллионов облапошили,— еще и слух о том разнесся по всей тайге, и владельцы приисков ржали, злорадствуя, от души. Ай да Поросенков, знатно подкузьмил!.. Борис Борисыч, разгневавшись то ли всерьез, то ли притворно (что там ни говори, а щелчок по носу тоже полезная наука), отправил сына в более чем годовой вояж от Владивостока до Петербурга с необходимым посещением правлений тамошних банков, акционерных, страховых, кредитных обществ, торговых фирм и компаний.

Осенью восьмого года, в желтую листопадную пору вырвался наконец Аркадий в отчий дом, в Баргузин. Короткий досуг для этого удалось выкроить лишь с большим трудом.

Полста без малого золотиносных площадей фирмы отца и сына Жухлицких работали с полной нагрузкой, а потребление золота в стране меж тем росло, ибо переполох пятого года и кошмары русско–японской войны, слава богу, были уже позади, еще никто не подозревал о вселенском сумасшествии четырнадцатого года и грядущих революциях. Выспевала, вырумянивалась, как блин под масленицу, ее купеческое степенство Хорошая Жизнь — та самая, которую лет десять спустя не раз еще вспомнит отощавший, замордованный непонятными и страшными событиями обыватель.

Но до той поры еще недалеко, а пока что на дворе стояла во всем своем латунном великолепии осень одна тысяча девятьсот восьмого года, в кротком сиянии которой случилась вторая встреча Аркадия с Сашенькой, некогда диковатой девочкой, мельком увиденной им три года назад на Богомдарованном прииске, а теперь же — юной красавицей, немного рассеянной, немного грустной, занимавшей заметно привилегированное положение в доме Бориса Борисыча. Бесстыжая старуха управительница оказалась права: девка была и впрямь соболь — от нее исходило ощущение мягкой гибкости, шелковистости и тепла. Увидев ее вновь, Аркадий почувствовал, как заныло вдруг в левой стороне груди, и эта сладостная щемящая боль пришла, как оказалось потом, надолго.

Встретить ее наедине и поговорить удалось ему на другой же день за городом, недалеко от безымянной могилы с покосившимся черным распятием, на котором городской монстр Рудька Левин, ехидный человечек, по причине гомерического пьянства скатившийся из мелких чиновников в дерьмовозы, накорябал белыми, как кости скелета, буквами: «Все вы в гостях, а я уже дома». Уважаемые люди города косоротились, споткнувшись взглядом об эту надпись. Обладатели больших денег и титанической изворотливости, они, должно быть, подспудно, на доньшке души, подкармливали крохотного паучка надежды перехитрить как–нибудь даже самое смерть, иначе почему бы их задевало глумливое напоминание о неизбежном конце всего сущего?

Ветер, тянувший откуда–то с верховьев Баргузина к Байкалу, обвевал слабой прохладой с примесью смолистого хвойного аромата. Сашенька шла, заслонясь одной рукой от солнца, а другой — чуть придерживая подол длинного светлого платья, который колыхался в такт ее шагам с невыразимым очарованием. Наверно, мысли ее унеслись куда–то очень далеко, потому что стремительно вскинула она ресницы на заступившего дорогу Аркадия, и восклицание, едва не слетев, замерло на губах.

– Здравствуй, Сашенька. Неужто испугалась?— игриво начал он.

– Ох, господин Аркадий...— прошептала она, трогательным и беззащитным движением поднося руку к груди; долго потом в чужедальних землях, вспоминая молодость, видел он каждый раз именно этот ее жест.

– И совсем напрасно. Я хотел бы быть тебе другом.

В ответ она захлопала длиннющими своими ресницами, вдруг ее осенило.

– Это полюбовником, что ли? — с любопытством спросила она.

Подобное в устах шестнадцатилетней девушки прозвучало столь неожиданно, что молодой Жухлицкий совершенно опешил. Да, юная Сашенькина прелесть, ее нынешний вид благополучной барышни невольно заставили его забыть о ее прошлом — прошлом девчонки, выросшей на приисках, где в тесных бараках, казармах, полутемных землянках интимная жизнь взрослых протекала на виду у всех, бурно, бестолково, со всей откровенностью и хмельным бесстыдством. Аркадий сконфуженно хихикнул и единственно лишь от растерянности и совсем для себя неожиданно схватил ее вдруг в охапку и поцеловал в сомкнутые губы. Сашенька ахнула, мигом выскользнула из неуклюжих его объятий, отбежала, смеясь показала язык и пошла прочь легкой своей походкой. Отдаляясь на некоторое расстояние, кинула через плечо озорной взгляд и голосом звонким, полным дразнящего торжества запела:

Ах, укуси меня за пуговку,
Ах, укуси за белу грудь,

Ах, укуси меня ты голую
За что—нибудь!..

Аркадий стоял оглушенный, не умея разобраться в своих ощущениях, противоречивых и доселе неиспытанных. Он не понимал, нет, ибо не был сейчас способен к размышлению, а лишь интуитивно чувствовал отмеченность Сашеньки легким касанием порока, и именно поэтому она казалась ему желанной вдвойне. О том, что сие есть одна из тайн мужской природы вообще, он не знал и неприятно удивлялся собственной испорченности.

Вернувшись через часок домой, Аркадий как нарочно сразу же столкнулся с Сашенькой, и та, против ожидания, улыбнулась ему самым дружелюбным образом, хотя и не без некоторого милого лукавства. Ободренный, он в тот же вечер подкараулил ее наедине, снова подступил с объятиями, и на сей раз она не только не противилась, но даже несмело ответила на его поцелуй.

После этого они встречались еще раза три—четыре там же, за окраиной, и встречи их были мимолетны. Сашенька прибегала на них тайком. Боязливо озиралась. Неожиданно мрачнела посреди любовного вздора и милых шалостей. Или, наоборот, вдруг начинала хохотать без явных причин. То и дело порывалась ускользнуть. Аркадию, терпеливо сносившему ее причуды, мнилось, что именно таковыми полагается быть прелестям девичьего нрава. Неведение его не могло быть долгим, и однако подописка Сашенькиных страхов обнажилась слишком неожиданно и более того — убийственно грубо.

Расставшись с Сашенькой, умчавшейся, как всегда, внезапно, Аркадий задумался, глядя ей вслед с тягостным чувством томления и досады. Вдруг за спиной у него кто—то шумно вздохнул. Аркадий оглянулся — рядом стоял Рудька Левин и тоже провожал глазами розовое платье Сашеньки.

— Т—ты... почему здесь? — с трудом проговорил Аркадий, вне себя от изумления.

Рудька оскалил в скверной ухмылке свои гнилые зубы.

— Папенькино монпансье обсосать покушаетесь? — проблеял он.

— Чего тебе нужно, свинья? — рассердился молодой Жухлицкий, не постигая еще смысла сказанного.

Рудька хихикнул.

— Лечебная девчонка—то... женьшень для старичка, для папеньки вашего, разумею я.

Как бы раскаленная алая волна обдала мозг Аркадия.

— Мер—завец! — зарычал он, делая шаг к Рудьке.

Тот проворно отпрыгнул за торчавший рядом куст и заверещал:

— Не марайте об меня рук — могу заразить алкоголизмом!.. А также широко обнародовать ваш скандальный роман!..

Аркадий сник. Бешенство схлынуло столь же внезапно, как и накатило. Оглушенно взирал он на Рудьку, видел его беззвучно вылаивающий что—то рот, и с каждым мгновением правда паскудных слов выступала со все большей очевидностью. Ему вспомнилась бесстыжая управительница с Богомдарованного прииска, обособленное положение Сашеньки в доме Борис Борисыча, кое—какие намеки, вырывавшиеся временами у остальной прислуги, и те, слишком пристальные, взгляды отца, которыми тот как бы оглаживал нежные округлости Сашенькиной фигуры. Да, спала с глаз пелена, и жизнь открылась вдруг с самой гадостной своей стороны. Что делать и как теперь вести себя в отчем доме, Аркадий не знал — этому, увы, ни в Марбургском и ни в одном другом университете мира не обучали.

Сквозь обломки рухнувшего мира просочился наконец козлиный тенорок Рудьки:

— ...Я — человек, низвергнутый в подвал общества! Потому за фигуру умолчания меньше четвертной брать, извините, не намерен!..

Несмотря на переполнявшее омерзение, Аркадий тотчас смекнул, что Рудькина «фигура умолчания», по крайней мере сейчас, лишней не будет. Однако именно требуемой четвертной—то у него как раз и не было с собой — в его бумажнике, кроме кое—какой расхожей мелочишки, наличествовали лишь сотенные билеты. Но коль скоро семидесяти

пяти рублей сдачи у Рудьки оказаться никак не могло, то и сделку эту Аркадий не пожелал даже обсуждать. Мысль же о том, что на сей раз, может быть, стоит попустить сдачей, ему, с детства приученному к бережливости, попросту не пришла в голову. А зря не пришла.

Рудька осуществил—таки свою угрозу «широко обнародовать скандальный роман» молодого Жухлицкого. И следствием явилось то, что за ужином Борис Борисыч, пряча глаза, мягко, но настойчиво предложил сыну подумать наконец и о женитьбе. Присутствовавшая при разговоре дальняя их родственница Эсси Вениаминовна изъявила желание оказать тому всемерное содействие. С Аркадием же творилось непонятное. Вместо того чтобы трезво поразмыслить над словами отца, он принялся вдруг с горькой нежностью вспоминать Сашеньку, ласковый блеск ее глаз, улыбочивые губы и незамеченный почему—то при встречах, но, оказывается, запомнившийся чувственный трепет тонких ноздрей, розовато просвечивающих на солнце, словно дорогой фарфор. И ощущение изначальной родственности с этим юным существом забрезжило внезапно в душе Аркадия.

Выслушав от сына отрицательный ответ, высказанный со всей решимостью, Борис Борисыч молча поднялся из—за стола и, горбясь больше обычного, укочивая к себе. На следующее утро Аркадию было передано его повеление: немедленно удалиться на чироканскую резиденцию, принять управление тамошними приисками и до особого разрешения не сметь показываться в отчем доме.

Опальный сын не стал мешкать — тотчас стал собираться в дорогу, чтобы выехать еще до полудня. И в это время, в самый разгар сборов, в его комнату тихо вошла Сашенька. Остановясь у порога, сумрачно уставилась на остолбеневшего от неожиданности Аркадия. Помедлила, потом, не глядя нашарив крючок, заперла дверь и, расстегивая на груди батистовую блузочку, неуверенно, словно слепая, обреченно двинулась к нему...

Сам отъезд как—то выпал из памяти Аркадия, угнетенного открытием, что Сашенька в свои шестнадцать лет оказалась уже не девушкой. Зато последующие бесконечные дни и месяцы, проведенные в чироканской отлучке вплоть до самой кончины Борис Борисыча, случившейся лютой зимой десятого года, запомнились ему навсегда. Однако и соединившая их с Сашенькой смерть отца вовсе не принесла успокоения Аркадию Борисычу. Отныне выпало ему еженощно корчиться на медленном огне ревности, неутоляемой и безъязыкой, ибо не мог же он спросить у Сашеньки: «Что у вас было с моим покойным отцом?»

Таково оказалось еще одно наследие, кроме миллионов и золотиносных площадей, оставленное серым ростовщиком своему красавцу сыну...

ГЛАВА 4

День, наступивший после кошмарной этой ночи, начался куда как весело. С утра под окнами появился Васька Разгильдяев, Купецкий Сын. И всегда—то вздорный и чудной человечешко, он в последнее время изумлял Аркадия Борисыча неимоверно. Хорошо, пусть босяцкая власть Захар Турлай уговорил десятка три голодранцев остаться на приисках; еще куда ни шло, что не уехал и многодетный Иван Карпухин; но Васька—то, Васька, непутевая головушка! — он—то почему задержался? И — совсем уж удивительно — Купецкого Сына каждый день видели изрядно хмельным. Аркадий Борисыч только плечами пожимал: где берет пойло?

Грязный, босой, в развевающихся на ветру цветных лохмотьях, Васька ввалился во двор. Свирепые цепняки Жухлицкого при виде немыслимой фигуры растерянно твякнули раз—другой, потом уселись на хвосты, облизываясь и глядя на Ваську с живейшим любопытством. Аркадий Борисович в этот миг готов был с кем угодно побиться об заклад, что здоровенные псы ухмыляются до ушей.

— Хаз—зяин! — Ваську раскачивало так, словно он стоял в лодке—душегубке, плывущей по бурной реке.— Хаз—зяин, подь сюды, раз—зговорчик имею!

Сашенька, добрая душа, свесилась из верхнего окна, ласково окликнула:

— Вася, где же ты с утра—то набрался, сердешный?

— Сашенька! — радостно завизжал Купецкий Сын.— Свет очей моих, ясно солнышко! До коих же пор, голубушка, будешь томиться в злой неволе, в узилище окаянном! Спустишь ко мне, царевна—несмеяна!..

Подобно большинству прочих, Купецкий Сын явился в Золотую тайгу с надеждой разбогатеть легко и скоро. Было это лет десять назад. В ту пору во всех трактирах и кабаках от Читы до Урала и дальше хитроватые пьющие мужички, падкие до угощения, бойко ввали о стране Баргузин за Байкал—морем, где золота невпроворот. Много их, поверивших таким рассказам, прошло через Золотую тайгу. Кое—кому, правда, выпадал порой фарт, но впрок он никогда не шел. Известное дело, старатель — житель однодневный: день гуляет, кобенится, а весь остальной год свету белого не видит. Но даже такие мимолетные удачи Купецкого Сына обходили стороной, как заговоренного: бывают люди, у которых все идет вкривь—вкось да через пень—колоду. Правда, сначала все вроде бы складывалось ладно. Купецкий Сын держался со значением, говорил туманно, намеками, и многие поглядывали на него уважительно: черт его знает, что у человека на уме. Сноровки к золотому делу, надо сказать, у него не было никакой, но знал он зато грамотешку, мог ловко составить нужную бумагу и разговор вести гладко, а это на приисках считалось делом великим. Выбрали его мужики артельщиком и доверили вести переговоры с хозяином (тогда еще был жив Жухлицкий—старший). А говорить было о чем: харчи, приемная цена за золотник, инструменты и прочее, и прочее. Борис Борисыч, человек к тому времени уже в годах, в большой и холодной приисковой конторе почти не бывал — все дела решал дома, сидя в хорошо протопленной комнате. Купецкий Сын угодил к обеду. Старик Жухлицкий в тепленькой, подбитой пыжиком душегрейке восседал за столом, грыз рябчика, запивая ароматным бульоном. Говорил больше Купецкий Сын, Борис Борисыч же или кивал, или мычал неразборчиво. Дело, однако, налаживалось. Несогласие получалось из—за инструмента: у Жухлицкого инструмент — кайлы, ломы, лопаты — был клейменный, добротной гамбургской работы, и выдавал его хозяин не всем, а только артелям надежным, сидящим на богатых площадях; прочие же обходились своим, доморощенным. Купецкий Сын попробовал было уломать хозяина, но, натолкнувшись на каменную его непреклонность, махнул рукой и на другое утро повел наспех сколоченную артель в тайгу. Вел—то, собственно, не Купецкий Сын — где уж ему! — а угрюмый, неразговорчивый мужик по прозвищу Пыжик. Только он один и знал, где та завалищенькая площадка, которую от щедрот своих подбросил им Борис Борисыч.

Купецкий Сын был важен: шутка ли — артельщик, начальник над людьми. А людей этих вместе с ним самим было семь человек, все как на подбор неудачники, народ тощий, едва—едва перебившийся эту зиму, кормясь чем бог пошлет. А бог, надо сказать, слал редко и мало. Одна радость — прибиться к удачливому старателю из тех, у кого душа во хмелю широка.

Был конец неторопкой северной весны. Лежал еще по распадкам рыхлый, сырой снег, подырявленный кое—где заячьими и козьими следами. Тайга, не совсем очнувшись от долгого зимнего сна, стояла тихая, сквозная, дышала холодком. На ходу было даже жарко, а вот стоило только присесть для передыху, как под скудную одежонку старателей исподволь вползал озноб.

За день отмахали порядочно и на ночлег остановились уже затемно. Старателям повезло — очень кстати набрали они на здоровенную кучу валежника и хвороста. Словно добрый кто—то нарочно приготовил ее, чтобы намаявшиеся за день путники не мыкались ночью среди деревьев в поисках дровишек. Кучу запалили с краю, подвесили над огнем артельный котел под овсяную болтушку с сухой олениной и ведро под чай, стали греться, разминая спины; разувались, тянули к костру усталые ноги, с трудом шевеля корявыми пальцами. Разговаривали. Словоохотливый старик Бабурин, большой любитель лошадей, принялся вспоминать, как Жухлицкий выгнал его из конюхов: за малый штоф водки он втихомолку отвел чистокровного хозяйского жеребца покрыть ледащую кобыленку одного мужичка, занимавшегося извозным промыслом. Кто его знает как, однако же Жухлицкий дознался об этом. За самоуправство с хозяйским добром — будь то хотя бы и конское семя —

Борис Борисович карал строго, и Бабурина без промедления наладили со двора вон... Старатели ржали. Купецкий Сын солидно помалкивал, хмурил реденькие брови и предвкушал тот блаженный момент, когда весь валежник выгорит и можно будет смести в сторону угли и растянуться на горячей земле.

Наконец пища поспела. Усевшись в кружок вокруг котла, старатель живо выхлебал жижу, после чего Купецкий Сын на правах артельщика scomандовал:

– Таскай мясу! — и первым подцепил ложкой кусок жесткой, как сыромятина, оленины, полученной из приисковой лавки.

Чай пили не простой, а «длинный»: разливали по кружкам с высоты — отчего-то считалось, что так вкуснее, кроме того, струя на лету немного остывала.

Огонь успел уже охватить весь немалый ворох валежника, и в глубине его начинало попискивать, трещать и как бы смутно корчиться. Невнятно шумела тайга. Лесным, ороchonским языком бормотала в валунах мелкая речушка. Куда доставал свет костра, там все вроде было спокойно, а вот дальше — дальше было нехорошо: не то что-то шевелилось, не то нет, бес его поймет, но кое-кто из старателей опасливо оглядывался. И Купецкий Сын то же самое. Разбитной мужик, известный на приисках под прозвищем Ибрагим Работать Не Могим, смеясь, подмигнул ему:

– Э, старшой, мало-мало страшно? Слушай меня, не надо бояться — Ибрагим с тобой, Ибрагим совсем никого не боится!

– С чего ты взял, что я боюсь? — буркнул Купецкий Сын, прихлебывая чай.

После еды старатель совсем повеселел. Сытый старатель, как водится, заговорил про баб. У неугомонного старика Бабурина и здесь нашлось о чем поведать честному народу.

– Не-е, мужики,— сладко жмурясь, толковал он.— Куды дышло ни повороти, а хитрей бабы человека не найдешь. Она тебя когда хошь вкруговую обскачет. Вот, помню, хотя бы у нас на Верхней Заимке диковина получилась, у моих же соседей, лет двадцать тому, смех и грех, ей-богу. Воротился, значит, мужик домой... в извоз ходил, не то в Баргузин, не то еще куда... не припомнить уж теперь. Дело, конечно, зимнее. Воротился, разулся-разделся, похлебал там чего-то и прилег отдохнуть.

А баба взялась тем временем его одежду на печке сушить да валенки ненароком и сожги. Одни у него, вишь, были валенки, да и те, выходит, сгорели. Беда!.. Ну, баба в слезы: убьет, мол, мужик, как проснется. Думала-думала и надумала. Гасит свечку, раздевается, под бочок к мужу и берется ластиться...

Пыжик смачно плюнул в костер, крикнул. Крикнул и Купецкий Сын.

– Проснулся мужик,— весело тарыхтел рассказчик,— а баба, значит, вот она — вся тут, при всех своих снастях. Знамо дело, нашему брату много ль надо?.. Эх, что и говорить, пошло-понеслось тут у них веселье, все вскачь да в галоп, и вот тут-то баба, шельма такая, вдруг как заголотит: погоди, мол, валенки горят! А тот ей хрипит через силу: черт с ними, пушай горят!..

Старатели прямо-таки плакали от хохота. Даже сумрачный Пыжик и тот ухмыльнулся, нацелился было снова плюнуть в костер, но вдруг так и замер с высунутым языком. Горящие ветки в костре зашевелились, распались, взвился сноп искр, и черный ужас, словно удар топора, обрушился на старателей: среди огня медленно приподнялся и сел охваченный пламенем человек. Его трясло, его корчило, обугленные руки его совершали жуткие движения, наподобие тех, что выделывают ороchonские шаманы во время камланья.

Пыжик завизжал,— он сидел, окаменев и выкатив глаза, и непрерывно визжал предсмертным визгом недорезанной свиньи. Все дальнейшее даже не было бегством. Храбрец Ибрагим, не в силах владеть ногами, проворно полз прочь, извиваясь, как змея. Кто-то удирал на четвереньках. Другой сиганул в ледяную речку, метался, спотыкаясь, среди валунов и утробно ухал. Опупевший старик Бабурин, в котором вовсе нехстати проснулся лошадиный, вскочил верхом на поваленное дерево, лежавшее поодаль, понукал во все горло, махал руками и воображал, что несется куда-то сломя голову на добром коне. Купецкий Сын едва не самый первый откатился кубарем от костра, вскочил и на невероятной скорости

поддал в таежную темень. Слепой от ужаса, он долго бежал, чудом минуя деревья, но наконец врезался—таки лбом в шершавый ствол лиственницы, упал и больше не помнил уже ни о чем на свете...

Потом умные люди, конечно, смикитили: задрал голодный медведь человека, завалил его хворостом, чтобы немного протух, а тут вдруг набрели старатели, подожгли ворох — вот и стало труп корчить. Случай хоть и страшенький, но дурацкий, то есть тот самый, который в пору назвать совершеннейшей чушью. Однако же как раз тут—то и переломилась вся жизнь Васьки Разгильдяева. Слух о незадачливом походе его быстро облетел прииски, и с тех пор суеверный старатель норовил от Купецкого Сына держаться подальше и ни в какие артели — боже упаси — брать не соглашался. Сам же Васька впал в отчаянье, стал задирист и как бы всегда не в себе. Сколько раз, бывало, его, пьяного до поросычьего визга, выбрасывали из кабака на Чирокане, где день и ночь лилось рекой поддельное шампанское, где четыре скрипача, сменяя друг друга, играли круглые сутки. Но Васька был во хмелю настырен,— со своей любимой поговоркой: «Мое достоинство при мне, а фамилия Раз—гильдяев!» — он подымался и, размазывая по лицу сопли и кровь, ломился обратно.

Наверно, помер бы он где—нибудь в тайге, если б не сердобольная Пафнутьевна. Когда совсем уж становилось невмоготу, Купецкий Сын прибывался к ней и некоторое время состоял кем—то вроде кухонного мужика — выносил помои и золу, колоч дрова, таскал воду, кормил свиней. Платы, кроме харчей, он не требовал никакой, поэтому его не прогоняли со двора. И это длилось до той поры, пока не начинался у него запой. Он кланчил, воровал, влезал в долги и — ухитрялся напиваться. В погоне за выпивкой он достигал хитрости невероятной: так, расплавив медь, он разбрызгивал ее через веник, собирал капли и под видом золота сбывал какому—нибудь неопытному спиртоносу. Или брался под самым носом охранных казаков провезти в Баргузин золото, заморозив его в конские шевики...

Аркадий Борисович сидел за столом и просматривал в памятной тетради дела на сегодняшний день. Куда—то запропал сумрачный мошеник Рабанжи, числившийся смотрителем Чироканского прииска,— он еще третьего дня должен был вернуться с объезда приисков; когда возвратится, надо послать его по ороchonским стойбищам в Дальней тайге взыскивать пушнинаой прошлогодные долги, а заодно подзаняться торговлишкой,— пусть возьмет с собой охотничьи припасы, спирт, табак и прочую мелочь. Сегодня к вечеру следовало ждать Мишу Чихамо — у него уже должно скопиться порядочно золотишка. Если старшинка не придет — отправить охранных казаков. И самое главное — надо что—то делать с драгой. Говорят, голытьба на своих сходках шумит за ее национализацию, да Турлай не дает,— декрет, мол, есть такой, запрещающий самоуправство.

Вопли Купецкого Сына продолжали доноситься со двора и назойливо сверлили уши. Аркадий Борисович с досадой поморщился, встал и выглянул во двор. В соседнем окне звонко хохотала Сашенька, улыбались собаки, свесив языки, а посреди залитого утренним солнцем двора кривлялся и шаманил Васька Разгильдяев,

— Тьфу! — только и смог сказать Аркадий Борисович и уж совсем вознамерился кликнуть казаков, чтобы вытурили Ваську вон со двора, но вдруг увидел верховых, рысью подъехавших к воротам. Они, видно, проделали немалый путь — несмотря на утренний час, кони у них были темные от пота и часто носили боками. Купецкий Сын давеча оставил калитку настежь, поэтому всадники, так и не спешившись, въехали во двор. Аркадий Борисович хмыкнул удивленно и вместе с тем сердито. Не понравилось это и собакам — они мигом озверели, рванулись на цепях и, становясь на задние лапы, так и душились в ошейниках от кровожадного усердия. Васька с пьяных глаз принял оглушительный песий гвалт на свой счет, кинулся спасаться, но запутался в лохмотьях, с истошным воплем запрыгал на карачках по двору, но тут выскочила сердобольная стряпуха Пафнутьевна и, встревоженно кудахтая, утащила его на кухню.

Прибывшие шагом проехали под окнами и скрылись за углом дома.

— Рабанжи... явился—таки... — пробормотал Аркадий Борисович, делая шаг от окна.— И Баргузин с ним... Легки на помине... Ну, погодите у меня!

Не дожидаясь, пока они поднимутся наверх, Аркадий Борисович сбежал по лестнице и, чуть нагнувшись, шагнул в переход, ведущий в кухонный прируб. Здесь было темно и тесно, под ноги лезли мешки с мукой, по стенам висели пучки сухой травы и шелестящих веников. Впереди тусклой полоской светился неплотно прикрытый вход в кухню — оттуда несло жаром и подгорелым маслом.

В кухне — за столом уже — сидели широкоплечий цыгановатый красавец Митька Баргузин и скучный, похожий на снулую рыбу Рабанжи, — костлявый, длинный, узкоплечий, но при том страшной силы человек. У обоих лица темные от усталости. Они жадно хлебали что-то из тарелок; посерединке стояла на треть пустая бутылка водки.

В углу над горой грязной посуды хлопотала Пафнутьевна.

— Выдь-ка на минуту! — приказал ей Жухлицкий, проходя к столу. Сел, хмуро спросил: — Ну, чем обрадуете?

— Беда, хозяин, — тусклым голосом пропищал Рабанжи (говорили, что его где-то в тайге вздергивали на сук, да недовешали, — оттого, мол, и голос пропал; человек, впервые услышавший Рабанжи, с недоумением взглядывал на него, желая удостовериться: уж не смеется ли тот над ним). — Чихамо сбежал. Собрал золото со всех приисков, где были китайцы. А на Полуночном всю свою артель перерезал. — Он погладил узкий лысый череп и постно усмехнулся. — Десять восточников зарезанные лежат в землянках...

— Та-а-ак... — Аркадий Борисович незряче глядел в длинное лицо Рабанжи, казавшееся неживым из-за глубоких провалов глазниц. — Так... десять...

Аркадий Борисович закрыл глаза. Ах, мерзавец... Кажется, давно ли Чихамо приходил сюда в последний раз... Шутили... Аркадий Борисович грозил пальцем: «Ты воровать-то воруй, да смотри знай меру!» Чихамо почтительно визжал в ответ, косые глаза его, как намыленные, уходили все в сторону, все в сторону...

— Сам считал, — хвастливо сказал Баргузин, усмехаясь. — Да как ловко-то, паря: от уха до уха... Как лежали, так и лежат. Видно, во сне их кончал.

Он потянулся к бутылке, налил себе, но тут рука Аркадия Борисовича, беспокойно ползавшая по столу, вдруг изогнулась и ухватила стакан. Митька хотел что-то сказать, но, взглянув на хозяина, промолчал.

— Десять... — повторил Жухлицкий, вертя в руке стакан. — На Полуночном их было, помнится, вместе с Чихамо...

— Тринадцать, — подсказал Рабанжи, и тонкие губы его чуть покривились. — Чертова дюжина...

Аркадий Борисович залпом выпил, вроде и не заметив того.

— Ну? — темный взор его взыскующе уперся в Рабанжи, — Дело такое... — кашлянув, начал тот.

Три дня назад Рабанжи с Митькой, тайно кружа вокруг приисков, увидели след, ведущий в сторону Тропы смерти. Гадать долго не приходилось — кто-то из старателей-китайцев бежал с приисков.

Митька, с титешных лет привыкший бродить по тайге, вел по следу не хуже ороchonской лайки-соболятницы. Только редко когда соскакивал с седла и, становясь на колени, выглядывал чуть примятый мох, сдвинутый с места сучок, сломанную веточку.

Беглого старателя нагнали на второй день. Последние три-четыре версты Митька шел пешком, но споро, — прямо-таки вынюхивал след. Остановился он под перевалом и некоторое время глядел вдоль уходящей вверх тропы. Вся она, змеящаяся от подножья перевала до его вершины, была как на ладони — десятка два лет назад здесь прошел пожар, и лес теперь стоял мертвый, сквозной, весь белесый, как кость, омытая многими дождями.

— Во, гляди, гляди! — возбужденно зашептал вдруг Митька, тыча пальцем. — Под самой вершиной...

Рабанжи ничего не видел, — рябило в глазах от бугристого моря россыпи, обнажившейся после того, как выгорел весь подлесок вместе со мхом и перегноем.

— Пищуха ты безглазая,— ухмыльнулся Баргузин.— Ну, гля, теперь—то небось видно? На самый перевал он поднялся.

Тут Рабанжи наконец—то разглядел: на фоне лезущего из—за вершины облака двигалось что—то крохотное — с ноготь мизинца.

Ведя в поводу коней, они почти бегом — в охотничьем запале — поднялись на перевал, сели на коней и рысью погнали по следу.

Версты через две Митька, скакавший впереди, остановил коня и огляделся.

Тоскливые остовы деревьев с немой мольбой тянули к небу мертвые ветви. Слева, под крутизной,— Витим, но так далеко внизу, что и не слышно его. Справа — скалы, дряхлые, развалившиеся. Унылое место, пустынное, тихое...

Митька поездил взад—вперед, пошмыгал по сторонам шkodливymi своими зенками, потом вдруг, замер весь, нацелился куда—то взглядом.

— Эй! — заорал он, приподнимаясь на стременах.— Эй, ходя, вылазь, а то стрелять начну!

Он снял с плеча винтовку и клацнул затвором.

— Вылазь, мать твою туды—сюды!

Неподалеку из—за камня поднялась согбенная фигура и, останавливаясь через шаг, двинулась навстречу. Шагах в пяти—шести остановилась, тряся лохмотьями.

— Жирный, кажись, фазан попался! — пропищал Рабанжи, объезжая его кругом и оглядывая с ног до головы, как барышник на конской ярмарке.

Старатель был костляв, под стать окрестным деревьям, драные штаны, из прорех куртки клочьями лезет грязная вата, лицо — будто кто забрал его целиком в ладонь и смял — до того сморщенное и маленькое. Поглядеть на такого — вроде что с него возьмешь, кроме вшей? Ан нет, бывалые таежные волки знали: вовсе не перьями красен тот фазан, что несет золотые яйца.

— Моя плохо не делай! — гнусаво, в нос запричитал китаец.— Моя домой ходи, дети ходи... маленький ванька—манька семь... десять штука...

— На каком прииске работал? — мягко, каким—то детским голоском спросил Рабанжи.— Не на Полуночном ли?

— Да знаю я его,— сказал Митька и длинно сплюнул на сторону.— С Троицкого он, Тянчен его зовут.

Старатель заискивающе заулыбался, стал кланяться, бормоча что—то быстро и неразборчиво.

— Сбежал, выходит,— Рабанжи горестно покивал головой.— Сбежал... А с хозяином, с Аркадием Борисычем, кто будет рассчитываться? Ванька—китаец? Ай, нехорошо, нехорошо...

Тянчен хотел что—то сказать, но Рабанжи махнул рукой.

— Ну, бог тебя простит... А золота—то сколько несешь с собой? — дружелюбно спросил он.

— Моя домой ходи... маленький дети...

— Брешешь, собака! — рывкнул Баргузин и ткнул его в живот дулом винтовки.— А ну, выворачивай торбу!

— Твоя сердиза не надо... — затравленно озираясь, пробормотал старатель.— Моя золото артельщик забирала, сильно кричала, ударяла...

Митька спешил, отошел к тому камню, за которым прятался китаец, тщательно оглядел все, общупал.

— Не видно,— сказал он, возвращаясь.— Видать, в другом месте запрятал или на себе несет...

— Промывать его будем или как? — деловито спросил Рабанжи и посмотрел на солнце.— Поторопиться бы, а то не успеем, глядишь...

— Придется промыть... Слушай,— Митька, усмехаясь, повернулся к Тянчену.— Обыскивать — только руки марать: мало ли куда ты золото понапихал. Лучше сейчас с нами пойдешь назад до первой речки. Там мы тебя сожгем вместе со всем твоим барахлом, а

опосля возьмем лоток да пепел и промоем, понял? Верное дело, ни одна золотинка не пропадет.

Тянчен понял: не шутят, эти и в самом деле могут сжечь. Зеленоватые трупные тени легли на его лицо, он повалился на колени.

— Моя не надо поджигать, моя не хочет! — залепетал он, цепляясь за стремяна; кони прядали ушами и беспокойно переступали копытами.— Моя расскажет!.. Ваша поспеши Полуночный, к Чихамо... Моя видел там много мертвых... Чихамо делай убивай, забирай много—много золота и убегай...

— Ты, ходя, не бойсь,— добродушно похохатывал Митька.— Живьем жечь не станем — что мы, звери какие, что ли? Мы тебя сперва пристрелим, мучиться совсем не будешь: раз — и готово!.. Да вставай! — осерчал он вдруг, наезжая конем.— Уговаривать еще!

— погоди! — остановил его Рабанжи.

Он ухватил старателя за ворот и, рывком приподняв, как мешок тряпья, заглянул ему в лицо.

— Ну? — чуть разлепив губы, просипел Рабанжи.

Тянчен, запинаясь и путаясь, стал рассказывать, как по пути он случайно забрел на прииск Полуночно—Спорный и увидел в землянках мертвецов; однако Чихамо среди них не было.

— ...Моя шибко испугалась тогда... Моя подумала; надо скорей уходи делать... Хозяин казаки посылай, совсем худо...

Тут Рабанжи прервал свой рассказ и, вынув из карманов брезентового балахона, бросил на стол два кожаных мешочка. Аркадий Борисович покосился на них, поднял вопросительно брови.

— Сам отдал,— пояснил Рабанжи.— А его мы отпустили...

— Фунтов пять верных,— Митька мечтательно глядел на мешочки.— Жирный фазан... Видать, давно готовился... И фарт шел к нему...

— Фазан...— Аркадий Борисович издал носом звук, похожий на презрительное фырканье.— Пять фунтов... Это ваше, вам отдаю... А сколько тогда унес с собой Чихамо?

— Много, надо думать, Аркадий Борисыч,— Рабанжи переброем один мешочек Митьке, а другой опустил в карман своего балахона.— Он ведь того... на оленях уходит.

— На оленях?! — Аркадий Борисович лягнул под столом ногой и выпрямился, раздувая побелевшие ноздри.— Что ж ты сразу не сказал!..

Купно с матерным словом кулак хозяина хрястнул об стол.

— Мы, Аркадий Борисыч, на Полуночном осмотрели все досконально,— торопливо сказал Митька.— Вдруг видим это самое... оленьи следы. Три оленья, не меньше.

И четыре человека,— видно, кто-то из ороchon с ними идет...

— Упустили! — зло поводя очами, прошипел Жухлицкий.— Погнались за пятью фунтами и упустили целый караван! На кой черт я только держу вас!

Впрочем, Аркадий Борисович сразу взял себя в руки, знал, что крики здесь бесполезны: бесшабашный варнак Митька не привык дорожить ни своей, ни чужой жизнью, а рыбу же кровь Рабанжи и вовсе никакими угрозами не проймешь.

— Да найдем мы его, Аркадий Борисыч,— Митька прищурился, потянулся к бутылке.— Не иголка, ей—богу!

Возьмем собак с собой и — айда по следам. Олень, он ведь тоже не птица,— не везде пройдет... На всякий случай послать бы кого на Крестовое озеро Данилыча предупредить.

Жухлицкий вопросительно глянул на Рабанжи; тот в ответ покивал лысиной.

— Ну хорошо!— Аркадий Борисович, помедлив, встал, пронзительно поглядел с высоты немалого роста.— Рабанжи, пошли Бурундука к Данилычу и кого—нибудь еще в Баргузин к Кудрину: десять зарезанных — не шуточное дело, пусть—ка горная милиция поторопится сюда. Сами отдыхайте до вечера. К ночи выедем, утром будем на Полуночном, а там пойдем по следам.

Аркадий Борисович бегом поднялся наверх: время близилось к полудню, а дел предстояло много. Некстати, совсем некстати получалась эта поездка, но деваться некуда.

...В ранних сумерках того же дня человек десять верхами и при оружии выехали через заднюю калитку со двора Жухлицкого. Впереди молча бежали две зверовые лайки, специально натасканные на беглых старателей.

Обогнув стороной поселок, верховые вышли на торную тропу и здесь перевели лошадей на ровную размашистую рысь.

ГЛАВА 5

До указанной заимки добрались уже в темноте. Постучались, а после долго ждали, слушая, как беснуются за высоченным забором псы — настоящие волкодавы, судя по голосам. Наконец там кто-то появился, унял собак. Лязгнув, приотворилась калитка, и смутно различимый крупный мужик неприветливо спросил:

— Кого это опять ночью принесло?

— Я горный инженер Зверев,— приезжому пришлось напрячь голос, чтобы пересилить кровожадный гомон хозяйских волкодавов.— Мы едем по делам на прииски Жухлицкого.

Такого ответа хозяин, видно, не ожидал. Он некоторое время молчал, потом нерешительно спросил, но уже другим голосом:

— Вас двое, что ли?

— Со мной конюх,— бросил Зверев и с конем в поводу решительно шагнул вперед: — Ты, хозяин, всю ночь собираешься держать нас за воротами?

— Да мы того... господин хороший, прощения просим,— ожил, засуетился хозяин.— Вот только собачек привяжу.

Через минуту он бегом вернулся и гостеприимно распахнул калитку.

— Заводите лошадушек, заводите, гости дорогие. Калитка у меня широкая, пройдет и со вьюками.

«Ишь леший таежный», — неприязненно подумал Зверев, быстро оглядывая широкий двор. Темные строения впереди и справа,— видимо, амбары, стайки, навесы. Слева, в глубине, желтеют два маленьких окна — хозяйская изба, должно быть. Псы по-прежнему заливаются, гремят цепями. Настоящая крепость, а не таежная заимка.

Звереву как горному инженеру не раз приходилось объезжать дальние прииски, проверяя шнуровые книги с записями золота, осматривая горные работы. И всегда его удивляла вот эта особенность сибирской жизни: день за днем тянется тайга, глушь, то появляется, то пропадает тропа, и вдруг деревья расступаются — перед путником высится, словно упавший с неба, добротный домище, окруженный хозяйственными постройками, обнесенный крепким забором. Амбары ломятся, скотины полон двор. Хозяева везде попадались почему-то на одно лицо: с дремучими бородами закоренелых душегубов, кряжистые, неразговорчивые, к такому не то что на ночлег проситься, а рад, кажется, деньгами откупиться, только бы живым отпустил. И домочадцы у них странные: не по годам легконогие старушки, бабы с испытанными лицами и яростными глазами пророчиц, статные молодичи с неживыми движениями и какой-то обреченностью во взоре. Что за люди, кто они друг другу, зачем живут в глуши, сторонясь людей? Или проклятье какое лежит на них?.. Не любил Зверев ночевать в таких местах, но иногда приходилось. Вот и сегодня тоже.

В дальнем углу двора развьючили и привязали лошадей. Причем услужливому хозяину подсунули лошадь с продуктами, а ту, которая везла плотно упакованные винтовки и патроны, развьючили Зверев и Очир.

Вьюки сложили под навесом (хозяин приговаривал: «Вы уж за бугар свой не тревожьтесь, у меня надежно...»). С лошадей седла пока не стали снимать, опасаясь застудить спины, только отпустили подпруги.

— А теперь пожалуйста в избу,— пригласил хозяин.

Зверев незаметно подмигнул Очиру и направился к дому.

— А как же конюх ваш? — спросил хозяин, увидев, как Очир спокойно уселся на вьюки и закурил трубку.

— Он знает свое место, — равнодушно отвечал Зверев. — Ты уж скажи, чтобы ему вынесли поесть.

Каждый раз, когда ему приходилось разыгрывать из себя барина, Зверев чувствовал крайнюю неловкость, но — хочешь не хочешь — приходилось это делать: Серов, прощаясь, дал строжайший наказ: «С оружия глаз не спускать ни днем ни ночью. Вы за него оба головой отвечаете!»

Хозяин непонятно хмыкнул, но промолчал. В сених было темно, пахло кожами, дегтем.

После уличной темноты кухня, освещенная двумя мигающими плашками, показалась и светлой, и просторной. Войдя, Зверев степенно поздоровался с шустрой старушонкой, хлопотавшей у печи, огляделся. Направо — большая русская печь, прямо — вход, занавешенный линиялым ситцем, налево — чисто выскобленный стол, а подле него — лавка и несколько табуретов с полукруглым вырезом для пальцев. Половые плахи широкие, плотно сбитые и тоже чисто выскобленные речным песком. Во всем чувствуется достаток, основательность, крепкая хозяйская рука.

Пока Зверев мыл руки под фигурным медным умывальником, вытирал их чистым холщовым полотенцем, стол уже накрыли.

— Потчуйтесь... — жестом ученого медведя пригласил хозяин. — Чем бог послал...

Поужинали на скорую руку, но по-таежному сытно. Хозяин угощал жирной холодной сохатиной недавнего убоя, рыбным пирогом, чаем с молоком. Сам хозяин, Митрофан Данилович, сказав, что уже отужинал, пил только чай и осторожно выпытывал, кто такие и зачем едут в тайгу в это смутное время. Зверев отвечал отрывисто, властно и немногословно.

— Так, стало быть, вы из самого Верхнеудинска? — хозяин покачал головой. — Далеко заехали...

Зверев молча кивнул, обгладывая сохатиную лопатку.

— Как жисть там? — Митрофан Данилович придвинулся, понизил голос. — Сказывают, нынче власть держат эти... большевики, правда, нет?

— Нынче везде большевики, — отвечал Зверев. — И в Иркутске, и в Чите, и в самой Москве.

— Не слышно, что они дальше-то собираются делать? Разное люди говорят...

Зверев, пожав плечами, придвинул к себе кусок пирога побольше.

— Так-так... — Хозяин помолчал, постукивая пальцами по столу. — Мужика они, говорят, прижимают, а? Не слышно?

— Я, голубчик Митрофан Данилович, не крестьянин, — подпустив в голос изрядную долю высокомерия, сказал Зверев. — Мне до этого дела нет. Ты уж спроси того, кто знает.

— А к Жухлицкому вы едете по каким делам — по казенным или своим?

— А кто по нынешним-то временам по своим ездит? — ответил вопросом на вопрос Зверев.

Хозяин отстал и принялся за остывший чай. После ужина он снова засуетился, кликнул давешнюю старушку, которая подавала ужин, и велел ей постелить Звереву в горнице.

Оставшись один, Зверев лег не раздеваясь, сунул под подушку пистолет. Задумался. Со дня выезда из Верхнеудинска минуло более двух недель. Дорога, как и следовало ожидать, оказалась тяжелой. Выданное Забайкальским областным Горным Советом удостоверение с просьбой всячески содействовать горному инженеру Звереву «при требованиях его на станциях вне очереди почтовых, междудворных и обывательских лошадей» оказалось почти бесполезным. За лошадей, фураж и продукты приходилось платить втридорога. Деньги, взятые под отчет, таяли...

А сон все не шел, да и не стоило, пожалуй, засыпать... Жаль, приходится устраиваться врозь с Очиром — нет ничего легче, чем прикончить их по одному. Но горному инженеру не пристало спать во дворе... Хозяин подозрительный, — наверняка доверенный человек Жухлицкого. Иначе и быть не может: до революции здесь каждую зиму шли обозы из Читы и

Харбина — везли продовольствие и снаряжение на прииски Жухлицкого и других промышленников помельче. Шли от зимовья до зимовья, а хоромы Митрофана Даниловича никак не походят на простое зимовье... «Хотя что подозрительного в этом Митрофане Даниловиче? — спросил себя Зверев.— Ну, недоверчив... Ну, выпрашивает обо всем... Разве в других местах было иначе?.. Впрочем, все это вздор, вздор. Главное — мы уже у границ Витимской горной страны»,— подумал молодой инженер сквозь неодолимо наваливающийся сон...

* * *

Устроив Зверева, Митрофан Данилович вышел в сени и, пройдя вглубь, отворил низенькую дверь. Сразу за ней была лестница, ведущая вниз. Митрофан Данилович спустился, привычно нащупал в темноте скобу.

В большой подвальной комнате царил полумрак, было тепло и сухо. В мигающем свете плоские бревенчатые стены отливали старой медью. Больше половины комнаты занимали туго набитые мешки, аккуратно сложенные от пола до потолка. Жирный сибирский кот, хранитель этого склада, прыгнул при появлении хозяина с нар и с приветливым мурчанием стал тереться о его ноги. Вслед за котом с нар поднялся здоровенный краснощекий детина и, позевывая, спросил:

— Ну, кто там приехал—то?

— Документов я у него не спрашивал,— буркнул Митрофан Данилович, присаживаясь к неопрятному столу, загроможденному корками хлеба, обглоданными костями и бутылками.— Говорит, горный инженер.

— Сказать что хошь можно,— резонно заметил детина.— Не из этих ли он?

— Не-е, не из товарищей,— хозяин задумчиво пожевал губами.— Конюха за один стол с собой не сажает... Опять же мундир на нем со светлыми пуговицами, фуражка с кокардой,— все чин чином.

— Мундир! — Детина хмыкнул и налил водки себе и хозяину.— Нарядить, паря, и бочку можно.

Сказав, детина заржал, хохотнул и Митрофан Данилович: дело с бочкой было и впрямь веселое. Лет десять назад детина этот был знаменитым на всю тайгу спиртоносом. За проворство и ловкость прозвали его Бурундуком. Горным исправником в ту пору служил Попрядухин, мздоимец и картежник; промышленники откладывали специальные суммы на «проигрыш» исправнику. Необыкновенно толстый, он ездил только в тарантасе, на санях или по крайности на волокуше; верхом не мог — любой конь выдыхался вконец, не пройдя под ним и версты. Увидев как-то похрапывающего в тарантасе исправника, отчаянный Бурундук надумал штуку, которая прогремела потом по всей Золотой тайге. Он погрузил в сани бочку спирта, накрыл сверху медвежьей шубой и лихо двинул в тайгу. Под вечер Бурундука, закутанного до глаз башлыком, остановили казаки.

— Кого везешь?

— Господина исправника. Выпимши они, спят, не велели будить до самой станции.

Казаки заглянули в сани и, увидев дородное чрево, накрытое шубой, преисполнились почтительностью.

— С богом, ямщикок, да гляди вези аккуратно!

— Известно. Небось понимаем, кого везем! — И Бурундук хлестнул лошадей.

Удача привела Бурундука в такой восторг, что, добравшись до приисков, он принялся угощать старателей в долг, а то и просто за так. Два-три прииска не работали больше недели — все золотнишники пьянствовали беспробудно. Бочку без труда осилили до дна, а по тайге покатила молва об очередной проделке лихого Бурундука...

Насмеявшись вдоволь, Бурундук хлебнул остывшего чаю и покосился на Митрофана Даниловича.

— А может, того... кончить его, а?

Митрофан Данилович поскреб затылок.

— Оно, конечно, дело нехитрое, да как знать: вдруг он Аркадь Борисычу полезный человек. Хозяин—то потом с нас головы поснимает.

— Да ить сказано же: товарищей в тайгу не пропускать!

— Эх, Семка, Семка, душегуб ты был, душегубом и остался.

— Не скажи! — обиделся Бурундук.— Золотишко у фазанов отбирал, а чтоб грех на душу брать...

— А в позапрошлом году кто пятерых китайцев косами связал спина к спине и бросил в тайге? Ить если б не я, с голоду б перемерли.

— А они наших мало перерезали? — загорячился Бурундук.— Спиридона Козулина, Николу Босого? Моему братану Гришке в спину кайлу загнули, а? Ить фунтовый же самородок был при нем, при Гришке—то! — завопил вдруг Бурундук.

— Э, паря, это еще неизвестно, кто кого в тайге режет. Может, свои же. У наших—то тоже не заржавеет.

— Ладно, не о том речь,— Бурундук выпил водку, занюхал корочкой.— С анжинером что будем делать?

— Пусть, однако, едет паря, а?

— Пусть, пусть...— детина недовольно засопел.— А вдруг он, глядишь, из товарищей? Они ить с хозяина—то за многое могут спросить.

— То не наша печаль.

— Не наша... Тот—то и оно, что наша. Шибко—то не храбрись,— остерег Бурундук.— Приедут к тебе: чьи мешки с крупчаткой прячешь? Жухлицкого? Ну, тогда полезай, господин хороший, в кутузку. Вот ить оно как.

— Не пужай... Я человек маленький, мне бояться нечего.

— Как же! Грехов и за тобой немало водится.

— Ну и пусть,— сумрачно сказал Митрофан Данилович, поглаживая кота.— Раньше, по молодости, еще ничего было, а сейчас как подумаю: господи боже, сколько зла хозяин людям сотворил. И мы вместе с ним.

— Вот и помалкивай да за хозяина держись.

— А бог?

— Что — бог?

— Он—то все видит.

— Коль уж так, то бог нам же и поможет,— успокоил Бурундук.— Товарищи, они, слышно, безбожники.

— Быть того не может. Уж коли бог не за них, как они всю Россию—то подняли, а?

— Божьим попущением,— ухмыльнулся Бурундук.

— Ты язык—то поганый прикуси,— сурово сказал Митрофан Данилович.— А насчет кутузки... так я скажу: коль накажут — пусть. Пострадаю. Во искупление.

— Страдалец! — Бурундук фыркнул.— Станешь ты страдать, как же! Вон кота своего и то на жалованье посадил.

Митрофан Данилович, не найдя что сказать на это, только крикнул и потянулся к бутылке.

— Во, давно бы так,— одобрил Бурундук, скаля зубы.

Бурундук сказал сущую правду. Митрофан Данилович, мужик прижимистый и хитрейший, держал как бы перевалочный склад и состоял у Жухлицкого на жалованье. Рассудив, что хозяин ни в жизнь сюда не заглядывал и вряд ли когда заглянет, он и кота записал сторожем под именем Василия Муркина, глухонемого—де племянника. Коту были положены жалованье и хозяйские харчи. Если разобратся, то кот свое отработывал честно,— не будь его, немало крупчатки и другого добра было бы попорчено мышами.

Выпили. Митрофан Данилович закрихтел, помотал головой.

— Грехи... А хозяину так и скажи, что никакие, мол, китайцы тут не проходили.

– Ладно, скажу... А анжинера твоего я все одно пощупаю где-нибудь по дороге.

* * *

Тронулись с заимки, едва встало солнце. На этой части пути их вел Митрофан Данилович. И надо сказать, без него нечего было и думать идти дальше. Почти незаметная тропа шла по бесконечным моховым косогорам, петляла по лязгающим каменным россыпям, поднималась на безлесные перевалы, где не стихал пронизывающий ветер, и снова устремлялась вниз. Особенную опасность представляли обширные, неизвестно откуда и куда протянувшиеся болота, утыканные кривыми полумертвыми деревьями. Тропа здесь исчезала начисто. Шли по колено в чавкающей гнилой жиже, и только замшелые гати, проложенные, должно быть, в наиболее гиблых местах, указывали, что хозяин заимки не сбился с тропы.

Наконец болота остались позади, и маленький караван вышел на сухой лесистый косогор. Тропа объявилась снова. Хоть и не бог весть какая торная, но отчетливо заметная, она, петляя, уходила в глубь леса.

Серые, поросшие белесым мхом стволы лиственниц сначала так тесно сжимали тропу, что вьюки на каждом шагу бились о деревья. Потом лес стал редеть, расступаться, и впереди в просветах мелькнула водная гладь.

Немного спусти лошади, ускоряя шаг, ступили на травянистый берег небольшого озера.

Митрофан Данилович остановил коня и, когда Зверев поравнялся с ним, сказал:

– Ну вот, отсюда, считай, и начинается Золотая тайга. Дальше я, однако, не пойду. Тут уж не собьетесь, тропа одна...

Митрофан Данилович и Зверев спешили, закурили. Молчаливый, нахохленный Очир отъехал в сторону и остановился, внимательно озираясь и оттого еще более становясь похожим на какую-то мудрую старую птицу.

Золотая тайга... Со странным, смешанным чувством всматривался в окружающее молодой инженер. Озеро, неподвижное, словно века назад уснувшее в своих зеленых берегах. Оцепенелый лес вокруг, поразительно тихий, весь какой-то вымерший. И тоже неподвижный душный воздух, пропитанный смоляной и хвойной горечью. Даже кипенно-белые облака, казалось, не отражаются в зеркальной глади озера, а навсегда застыли где-то в его глубинах, как мухи в толще янтаря. И невысокий горный отрог на той стороне озера представился вдруг не просто отрогом, а первой ступенькой лестницы, ведущей в знаменитую горную страну. Отрог полукругом охватывал озеро и над дальним его концом внезапно срывался отвесной стеной, будто здесь его кто-то стесал ударом гигантского топора. И над верхним обрезом стены вырисовывался четко и зловеще высокий черный крест.

– Кто-то похоронен там, видно? — спросил Зверев, указывая туда глазами.

– Не, просто так стоит... Лет восемьдесят, а может, поболее...

– Так давно? И все еще стоит?

– А что ему делается... Он ведь чугунный.

– Чугунный? — Зверев, прищурившись, еще раз внимательно посмотрел. — Кому же понадобилось тащить сюда такую тяжесть?

– Значит, понадобилось, — кратко обронил Митрофан Данилович и замолчал.

– Да точно ли он чугунный? — усомнился Зверев. — Может, деревянный все-таки?

– Чугунный, подходил я к нему, — Митрофан Данилович насупил, посипел трубкой и добавил: — Дело, вишь, такое было... обещанное, чтоб, значит, чугунный, не иначе.

– Обещанное? Кому?

– Известно кому... — сурово проговорил Митрофан Данилович, выбил трубку и снова наполнил ее крепким самосадам.

Зверев молчал, вопросительно глядя на него.

– Видно, от тебя не отвяжешься, господин хороший, — усмехнулся Митрофан Данилович, несколько раз затянулся и нехотя начал: — Дело получилось, сказывают, лет эдак

восемьдесят назад. Приисков тогда в этой тайге, вишь, не было, а золотишко по ключам мало-мало промышляли беглые с Якутского острога или еще откуда — точно не знаю, врать не стану. Да и как промышляли — так, на ходу помогут и — дальше. Известно — беглый человек. И вот единожды шли откуда-то трое бродяг. Ну, шли-шли да и наткнулись на богатю-у-ущее золотишко. Да... Настарались они его порядочно и стали дальше пробираться до жилухи...

— Куда-куда? — не понял Зверев.

— До жилухи, говорю. Ну, до мест, где люди живут, значит... А харчишки-то у них кончились, все поели, пока шли да золотишко старались. Тайга, она, конечно, может и прокормить человека, да надо к ней сноровку иметь, а откуда она у беглого, сноровка? Пропитание он привык кайлой добывать... И аккурат вот здесь им самый край вышел — ложись и помирай. Остановились они на той горе, — тут Митрофан Данилович указал трубкой в сторону креста, — и решили: надо, мол, нам промеж собой бросить жребий и кого-то, значит, того... съесть.

— Что-о? Съесть?!

— Ага, — хладнокровно кивнул рассказчик. — И выпал жребий на одного, а тот и говорит, — а дело было под вечер, — говорит, значит: дайте, мол, братцы, до утра дожить, а там уж как бог рассудит. Да. Ну, те двое согласились. И то сказать: шутка ли такое дело на ночь вершить...

Летняя ночь, вишь, коротка в здешних местах, быстро пробежала. А на заре этот сердешный-то подошел к обрыву да и глянул вниз. Глянуть-то глянул, да весь затрясся — аккурат под обрывом ходит целое стадо сохатых, на травке пасется. Выбрал он тут камень побольше да, помолясь, и столкни вниз. Камень тот и пришиб насмерть одного сохатого. А беглый-то стал тут на колени и пообещал на этом самом месте поставить чугунный крест. После, как вышли они в жилуху да разбогател он с того золота, привез он зимой на санях этот крест и поставил, значит. С той поры он и стоит.

Митрофан Данилович умолк, и оба некоторое время смотрели на безмолвный и жутковатый памятник былого, словно сажей начертанный на небесной синеве.

— Ну, вертаться мне надо, — нарушил молчание Митрофан Данилович. — Засветло бы домой возвратиться... А на месте вы будете, значит, на пятый или шестой день. Пойдете сейчас этой тропкой и под вечер выйдете на Дугулур. Речка так зовется. Там тропа раздваивается: одна идет вниз, а вторая переходит на другой берег, вот ее-то вы и держитесь. А коли идти вниз, то выйдешь к Витиму, а там, уж, вдоль Витима, идет торная тропа. Раза в полтора дорога получается короче. Да ведь не зря сказано: прямо, мол, шесть, а кругом — четыре.

— Почему?

— Та дорога, господин хороший, не зря зовется Тропой смерти, — охотно объяснил Митрофан Данилович. — Это же прямо страсть, сколько там людишек загублено. И все из-за золота... Оно сказать, и при царе порядку тут было мало. А сейчас, вишь, переворот за переворотом, ну и не стало в тайге вовсе никакой власти. Время нынче такое — одно раздолье лихому человеку... Ну, прощайте, счастливо вам добраться!

— До свиданья, Данилыч, большое тебе спасибо, — сказал Зверев, протягивая руку.

Митрофан Данилович кашлянул, стесненно подал широкую шершавую ладонь. Не торопясь сел в седло и, кивнув на прощанье, порысил обратно.

Зверев некоторое время провожал его взглядом, потом вскочил на коня и еще раз посмотрел на крест. Одинокое чугунное распятие показалось ему вдруг странным существом, которое, раскинув в отчаянии руки, пытается преградить собой путь в таинственную горную страну. В нем чудились мольба, предостережение, угроза...

С усилием отогнав прочь наваждение, Зверев оглянулся, махнул рукой Очиру и тронул коня.

До речки, о которой говорил хозяин заимки, добрались к концу дня. Без труда переправились, и тут лошади, наставив уши и всхрапывая, обратили морды к кустам, росшим

под лесом чуть поодаль. Мгновенье спустя оттуда одним махом вынесся вооруженный всадник, подскакал и резко осадил коня. Быстро оглядев обоих, он дальше уже не спускал глаз со Зверева, и напрасно: правда, Очир хранил свой обычный вид пожилого мирного крестьянина-скотовода, но под зипуном серого шинельного сукна у него висел маузер, которым он владел с поразительным искусством.

— Здоровы были! — гаркнул всадник, блеснув веселыми белыми зубами.— Спирт есть? Могу обменять на золотишко!

— Милейший, ты ошибся,— сказал Зверев со снисходительной небрежностью гвардейского офицера,— Я горный инженер, а не спиртонос!

— А если я проверю? — разухабистым тоном продолжал всадник, подмигивая и кивая в сторону вьюков. Зверев усмехнулся.

— Ну что ж, попробуй, коль такой проворный.

— Говоришь, проворный? Оно и верно. Знаешь, кто я? Я — Бурундук, меня вся тайга знает!

Бурундук, видно, не был старателем. Ни один старатель не стал бы разезжать по тайге на таком великолепном караковом жеребце, с кинжалом серебряной отделки и пятизарядной винтовкой. «Варнак этот отчаянный,— лихорадочно соображал Зверев.— Что оружие у нас есть, он, конечно, знает: никакой дурак в тайгу с голыми руками не поедет. И все же надо показать, что мы его не боимся».

Бурундук между тем вздернул морду своего жеребца, так что тот, пританцовывая, пошел боком, тесня зверевского коня.

Очир внешне равнодушно наблюдал за происходящим, однако зипун его, как успел отметить Зверев, был расстегнут.

— А ну, покажь документы! — заговорил Бурундук, дергая губами и косясь куда-то вбок.— Кто такие, зачем... У нас в тайге народ смирный, его всякий обидеть может...

— Документы? Это можно,— Зверев не спеша вынул из-за пазухи пистолет и щелкнул предохранителем.

Этого Бурундук явно никак не ожидал.

— Эй-эй, анжинер, ты этим сучком-то не шути!— вскричал он и шарахнулся, чуть не вывалившись из седла.

Пожалуй, в первый миг он мог бы попытаться выстрелить, но винтовка, которую он держал поперек седла, смотрела дулом в противоположную сторону,— на это и рассчитывал Зверев. Минутой позже, опомнившись, варнак должен был еще подумать, прежде чем схватиться за оружие.

— Ружье не трогать! — предупредил Зверев и откинулся назад, ловя левой рукой повод стоявшей сзади вьючной лошади. Подтянув ее поближе, он нащупал и выдернул из-под брезента, укрывавшего вьюк, пятизарядную винтовку; одновременно Зверев вынул ноги из стремян. Предосторожность более чем уместная — из кустов в любой миг могли стрелять дружки храброго Бурундука. В то же время инженер краем глаза уловил движение —

Очир мягкой тенью скользнул с седла и сразу пропал в мелких прибрежных кустах; мелькнул и исчез тусклый проблеск вороненого ствола маузера — видимо, Очир тоже подумал, что где-то могут скрываться сообщники Бурундука. В остальном все казалось спокойным — лошади, неподвижность кустов, тишина, нарушаемая лишь монотонным шумом Дутулура.

Чувствуя неприятную слабость во всех суставах, Зверев поймал глазами взгляд Бурундука. Варнак, бесспорно, умел владеть собой — он был немного бледен, на лбу выступил пот, но голос ему не изменил.

— Ловок ты, однако, анжинер,— хриловато сказал он и раз за разом глухо откашлялся.

— Ну, что мне с тобой делать теперь? — молвил Зверев, задумчиво оглядывая варнака.— Расстрелять, выпороть шомполом или отпустить с богом?

Бурундук неуверенно осклабил.

— А ты шутник, анжинер. Наш, таежный, выходит, парень. Я ведь и сам такой. Слушай, анжинер, давай по-хорошему, а? Ты тудюю, а я сюдою, а?

— Видно, придется тебя отпустить,— медленно сказал Зверев, не убирая, однако, пистолета.— Ладно, вали, да только не в штаны.

Последнюю фразу он как-то слышал на одном уральском руднике, и почему-то именно она пришла сейчас ему в голову.

Бурундук ухмыльнулся, гикнул и рывком бросил коня прямо в речку. Скрывшись на миг за буйным самоцветьем брызг, взыгравших под закатным солнцем, он вынесся на тот берег, поднял руку и прокричал:

— Покедова, анжинер! Может, когда свидимся!

Еще не успело стихнуть эхо, а Бурундук, пригнувшись к гриве коня, уже дробно молотил по тропе, уходящей к Витиму.

ГЛАВА 6

Сорокалетний охотник Дандей, ороchon из Киндигирского рода, был уверен, что чем-то очень сильно прогневил хозяина тайги. Иначе почему бы на его голову свалилось столько несчастий? Началось с того, что в позапрошлом году поздней осенью, когда в поредевшей желтой тайге уже лежал снег, его изломал медведь-шатун. Чудом тогда остался жив Дандей, хотя всю зиму после этого пролежал в чуме. Его жене одной пришлось взять на себя все заботы о дряхлой старухе матери, трех детишках и больном муже. Кроме кабарожек и оленей, она успевала стрелять иногда белку и даже соболя, но добытые шкурки отдали шаману, приезжавшему лечить Дандея. Кое-как перезимовали. С весны Дандей начал потихоньку вставать, а за лето отошел совсем. Осенью в тайгу приехал приказчик большого богача Жухлицкого — торговал, многим товары отпускал в долг под зимнюю охоту. Дандею он сначала ничего не хотел давать, требовал, чтобы рассчитался за прежние долги. Но потом смягчился, снабдил-таки охотничьими припасами.

Но велик, видно, был гнев хозяина тайги: ни орехи, ни грибы и ягода в тот год не уродились. Первой исчезла куда-то белка, вслед за ней ушел соболь. Откочевали в другие места и изюбры, дикие олени и сохатые. Только маленькие кабарожки встречались еще на каменных россыпях и среди скал.

Большая беда пришла на земли Киндигирского, Чильчагирского, Туруягирского, Нганагирского и других родов. Бывало, обо всем забывал раньше охотник, углубившись в белую, торжественно замершую тайгу. Он видел: здесь вот от дерева к дереву пробежала по снегу белка — возвращалась в теплое гайно, проведая свои кладовые; по следам ее крылатым махом пронесся свирепый и удачливый охотник соболь; по пухлым сугробам, искрящимся под холодным солнцем, раскинула хитрую вязь следов лиса; вот здесь прошлой ночью побывали дикие козы — ископытили снег, рассыпали орешки, потом долго лежали, укрываясь от ветра за кустами; острые росчерки раздвоенных копыт — это изюбр, что неторопливо бродил здесь перед рассветом. И крылатые жители тайги тоже оставили свои следы: изрыт снег на краю болотца, несколько рябых легких перышек, крестики, тесно выдавленные на снегу,— это кормились куропатки; а тут взхлеб строчил заяц, и вдруг — с обеих сторон словно кто-то махнул по снегу огромными растопыренными пятернями, кровь, следы возни, и вот уже ни следов, ни самого зайца — вознесся, бедняга, в когтях филина куда-то в поднебесье; а вот это работа непоседливых синиц — густо рассыпана по белому желтая хвоя, скорлупки, древесная шелуха. Следы... следы... следы... Радостно охотнику войти в такую тайгу, легко ему идет. На сердце у него надежда, в каждом движении послушного тела — ловкость и сила, в зорком прищуре глаз — азарт, он вслушивается, и лесная тишина полна для него движением неуемной, многообразной жизни; усталости нет и не было — забыл про нее охотник.

Но совсем иной — покинутой, вымершей — стояла тайга в минувшую зиму. Тишина, нетронутые сугробы, изредка — неживой посвист ветра в оголенных прутьях кустарника...

Если бы беда могла оставлять на снегу следы, как лесное зверье, видно было бы, как она всю зиму кружила вокруг стойбищ, заходила в каждый чум.

Понурые возвращались охотники из тайги, и тяжелой ношей казались им пустые поняги. Жилища встречали их сиротливым дымом очагов, на которых нечего варить, голодным плачем младенцев, тяжкими вздохами стариков. Да, многие из старых и малых не дожили до весны.

В чум Дандея смерть навевалась трижды за зиму: умерли двое детей — сын трех лет и пятилетняя дочка — и старуха мать. А не успел сойти снег — новое несчастье: слегла жена. Вселился в нее злой дух и словно огнем спалил, вычернил лицо, высосал все жизненные соки, мучил несказанно — раздирал ей грудь надрывным кашлем, заставлял со стоном корчиться, сухим страшным блеском зажигал ввалившиеся глаза. А ведь здоровая была баба — и к охоте привычная, и в домашнем деле ловкая... Несколько раз призывали шамана. Он приезжал на гладких оленях, бил в бубен, плясал вокруг больной, устрашающе гремя своими побрякушками. Лучше бабе от того не становилось, хотя шаману, чтобы он задобрил духов, Дандей отдал несколько оленей, лисью шапку, одеяла, подбитые рысьим мехом, и последние шкурки. Даже хорошее ружье, приглянувшееся шаману, не пожалел Дандей. Не помогло, — видно, очень уж сильный и зловредный дух вселился в несчастную бабу... В нелегких этих заботах проходило лето, осень близилась. Пора уж было подумать о наступающем времени охоты, а у Дандея не было ни ружья доброго, ни припасов, да и оленей осталось всего три. Что делать? Надоумили Дандея поговорить с приказчиком-китайцем Чихамо, который-де втихомолку подыскивает себе проводника с оленями.

Если б не нужда, ни за что Дандей не связался бы с Чихамо. Не нравилась ему таинственность, с которой готовились к отъезду, не нравилось и то, что Чихамо обещал рассчитаться золотом, а золото же Дандей считал недоброй штукой и не доверял ему. Но что было делать, если на эти проклятые желтые крупинки он мог приобрести новое ружье, припасы, муку, табак и много других нужных человеку вещей...

И в путь тронулись тоже не по-людски. Дандей с оленями ждал в указанном ему месте. Чихамо и с ним еще два человека появились около полуночи и принесли с собой мешки с продуктами и небольшие, но тяжелые котомки; дышали тяжело, как собаки в жаркий день. Тут-то бы и посидеть, не торопясь попить чаю, но нет — пришлось в великой спешке выючить оленей.

Дандей за свою жизнь исходил немало таежных троп, с закрытыми глазами мог провести почти по любой из них, но китайцам были нужны звериные тропы, пролегающие по вершинам хребтов и глухому бурелому. Это тоже не нравилось Дандею, но он помалкивал, ибо успел убедиться, что человек, связавшийся с золотом, — пропащий человек. Разве не находил он в тайге старателей, убитых поодиночке и целыми артелями и порой истерзанных столь жутко, как не сделал бы ни один зверь?..

Со старинной кремневкой, одолженной у соседа, Дандей шел впереди каравана. За ним, сухо пощелкивая копытами, вышагивал крупнорогий пороз и две оленухи. Свои маленькие плотные торбочки китайцы тащили сами. Неумоимо, словно во сне, они шли день за днем, одинаково опустив иссохшие костяные головы со впалыми висками. Равнодушны и пусты были их скопческие лица, только в самой глубине тусклых глаз постоянно тлел алчный желтый огонек.

Костров почти не жгли, боясь, что увидят со стороны огонь или дым чьи-нибудь недобрые глаза. В первый день пути, когда Дандей, набросав в костер сырой ягель, развел дымокур для оленей, подскочил Чихамо и, ни слова не говоря, яростно затоптал огонь. Дандей окаменел от неожиданности. Чихамо шипел, тряся, брызгал слюной:

— Пустой голова! Никогда так не делай, плохой человек увидит!..

Дандей промолчал. Не к лицу охотнику спорить с человеком, который не понимает простой вещи: олень — не собака, к человеку его привязывают две только вещи — дымокур и соль, в остальном же он всем подобен своим диким сородичам. Чихамо требовал невозможного — идти через тайгу так, чтобы никто об этом не знал и не узнал. Но ведь даже

маленькая белка и то оставляет царапинки на коре дерева, обкусанные грибы. Может ли целый караван двигаться совсем без следов? Станные люди, странные у них желания... Дандей начинал ощущать растущую тревогу, предчувствие какой-то большой беды.

Как ни торопил Чихамо, шли медленно: путь выдался кружной, трудный,— следуя прихотливым извивам козьих и изюбриных троп, делали порой по пять верст вместо одной напрямик. Чихамо злился, но молчал, только все более землисто-желтым становилось его лицо. Непонятно, спал ли он: ночью, когда бы Дандей ни проснулся, китаец сутуло горбился у жиденького костра, чутко поводил головой, вглядываясь и вслушиваясь в таежную темень.

На пятый день пути вышли к белой от яростного бега речке Чокчокачи. Неширокая, но полноводная, она с гулом летела по крутому ложу, загроможденному каменными глыбами. Несмолкающее эхо гудело в высоких обрывистых берегах. Обдавая пенными брызгами прибрежные кусты и скалы, Чокчокачи бешено стремилась ледяные свои воды к могучему Витиму.

Подрагивая чуткой кожей, олени нерешительно ступили на берег. Еле заметная тропа бесследно терялась на камнях, но Дандей видел, что брод здесь. Он молча вырубил всем по шесту, поправил на плече кремневку и, ведя в поводу пороза, вошел в воду. Опасен и труден был каждый шаг — подошвы скользили по гладко зализанным донным камням, от обжигающего холода начинало сводить ноги. Чем дальше, тем сильнее слышалась угроза в рокочущем шуме реки. Вот вода поднялась уже до пояса. Подхватило и понесло оленей. Дандей раза два терял под ногами дно, но, подпираясь шестом, успевал выправиться. Наконец он перебрел реку и сразу кинулся ловить оленей, выходящих на берег сажень в двадцати ниже по течению.

Китайцы все еще стояли на той стороне, зачарованно уставясь на стремительно несущуюся воду. Костлявые, сутулые, темные, они вдруг показались Дандею не людьми, а лесными духами, которые вот-вот повернутся и молча, гуськом пойдут обратно, чтобы бесследно затеряться в сером сумраке тайги.

Первым в воду вошел Чихамо. Он двигался с опаской, мелкими шажками. Его срезанная водой фигура подолгу застывала неподвижно над бушующим потоком, прежде чем он решался оторвать шест от дна и, перенеся его чуть вперед, снова опереться о дно. Двое остальных брели следом — один сразу за Чихамо, другой — чуть отстав.

Несчастье случилось, когда Чихамо уже выходил на берег. Китаец, шедший последним, — звали его Ян Тули — вдруг вскрикнул, взмахнул руками и рухнул в воду. Река мигом поглотила его — мелькнули и скрылись вскинутые руки, распяленный в крике рот. Чуть погодя он показался уже много ниже брода и снова пропал среди бурунов.

Дандей, бросив оленей, со всех ног кинулся вниз по берегу.

Горная река, сбив раз человека с ног, редко когда дает ему встать, не давая опомниться, она увлекает его все дальше и дальше, нещадно бия и раздирая о камни, пока не втиснет где-нибудь в развилок подмытых корней или не выкинет на отмель бескровное тело с расколотым пустым черепом. Но Ян Тули повезло — как раз над местом, где вода отвесно падала с двухсаженного уступа, его задержала коряга. Видно, он зацепился одеждой за сук — то появлялось, то исчезало среди бушующей воды его совершенно обесмысленное лицо, бестолково взмахивали руки.

Дандей, забредя по колено, протянул шест, за который китаец тотчас ухватился намертво, как могут только утопающие. Охотник несколько раз безуспешно тянул шест на себя, потом, заваливаясь всем телом, рванул отчаянно, почувствовал, что подалось, и стал торопливо пятиться к берегу. За ним на конце шеста волочился, как огромная рыбина, полумертвый Ян Тули. Очутившись на берегу, он попытался приподняться, но руки у него подломились, и он с каким-то невнятным клеткотом рухнул на мокрые камни. Миг спустя тело его судорожно перегнулось пополам, из горла вместе с раздирающим кашлем хлынула вода.

Пронзительный крик, раздавшийся за спиной, заставил Дандея вздрогнуть и обернуться — к ним бежал Чихамо. Лицо его было перекошено, глаза белые, слепые от бешенства.

Подскочив к лежащему, он рывком поставил его на ноги и несколько раз наотмашь ударил по лицу. Во взоре Ян Тули мало-помалу появилось осмысленное выражение, в чертах пепельно-серого лица обозначился признак жизни. Чихамо что-то прошипел яростно, и тогда Ян Тули медленно поднял руки, ощупывая непослушными пальцами плечи. И едва до него дошло, что нет лямок котомки и что, стало быть, исчезла и сама котомка, он враз словно проснулся. Ужас, смертный ужас исказил его лицо и опять обесмыслил глаза. Снова и снова, торопясь и дрожа, ощупывал он себя; метнулся к воде, потом рухнул на колени, вскрикивая что-то и простирая руки к Чихамо. Но Чихамо и подошедший к этому времени второй китаец зловеще безмолвствовали. Тогда, не вставая с колен, бедняга пополз к ним, причитая и плача, но на полдороге припал головой к земле и замер. Мгновенье стояла тишина, потом Чихамо и второй китаец разом сорвались с места и, плюясь и крича, словно бешеные, принялись безжалостно пинать лежащего ногами.

Со страхом и удивлением взирал на это Дандей. Снова и уже в который раз возникло в нем предчувствие беды, а вместе с ним желание бросить все и уйти от этих людей прочь. Неистовство китайцев встревожило и оленей: вздрагивая ноздрями, они глядели на избиение, и какое-то осмысленное сострадание проступало в их грустно-выпуклых глазах.

Наконец китайцы кончили пинать своего несчастного собрата. Чихамо, приподняв его за воротник, что-то яростно шипел, тыча пальцем в сторону воды, а его подручный побежал к оленям и, не обращая внимания на Дандея, стал торопливо отвязывать вьючную веревку.

То, что происходило дальше, напоминало дурной сон. Провинившегося заставили встать и, обвязав вокруг пояса веревкой, пинками загнали в воду. Дандей содрогнулся в душе, представив, как должен чувствовать себя и без того полуживой Ян Тули в этой ледяной воде: ведь стоило опустить в нее руку, и миг спустя вся она наполнялась невыносимой ноющей болью.

Ян Тули оказался удивительно крепким — после всего, что с ним сегодня случилось, он еще нашел силы три раза забредать в Чокчокачи и, борясь с течением, грозящим каждый миг швырнуть под уступ, высматривать на дне потерянную котомку. И трижды его, сбитого под конец с ног, исцарапанного, окровавленного, вытаскивали на веревке. Затем бедолагу отвели немного ниже и погнали под водопад, где речка, обрушиваясь с двухсаженной высоты, углубила дно. Вода в этом котле бурлила крутым кипятком и закручивалась воронками, жадно всасывающими грязно-белые хлопья пены и древесные обломки. Водяная пыль стояла в воздухе, нескончаемым дождем низвергались брызги. Ян Тули, едва он успел отойти от берега, вдруг с головой утянуло под воду. На берег его вытащили без чувств. Ни пинки, ни истошные визги Чихамо не смогли на сей раз поднять его на ноги — и к крикам, и к побоям он был безучастен, как мертвый. Лишь изредка крупная дрожь волной пробегала по этой груди мокрого окровавленного тряпья.

Чихамо был взбешен настолько, что не обратил внимания на Дандея, который начал разводить костер, чтобы согреть и напоить пострадавшего горячим чаем. Чихамо пробовал сам поискать потерянное в реке золото, но очень скоро понял, что совсем не просто бродить почти по грудь в бешеной ледяной воде. К тому же надо было спешить. И когда караван тронулся дальше, на узкой косе у реки остался лежать человек. Дандей, уходя, оставил около него несколько лепешек, но Чихамо увидел и потихоньку их забрал: путь еще далек, не следовало поэтому тратить пищу на человека, которому теперь уже незачем жить.

До конца дня караван прошел верст десять. Остановились на небольшой полянке. Наскоро поужинали, расположились на ночлег.

Ночь выдалась пасмурная и теплая. Китайцы еле слышно шептались о чем-то, лежа за кругом света от скудного костра. Не спал и Дандей. Ощущение близкой беды с наступлением ночи усилилось в нем. Впервые в жизни что-то враждебное и недоброе чудилось охотнику в ночном шуме тайги, в черноте беззвездного неба, в багровом свете чуть тлеющего костра. Зловещим казался ему и шепот китайцев. Одно только успокаивало — привычное позвякивание оленьего ботала, доносившееся время от времени из темноты. Но постепенно тревога улеглась, стали вялыми мысли — усталость брала свое, Дандей начал задремывать.

Проснулся он вдруг и непонятно отчего,— показалось, что его словно бы кто толкнул легонько. Стояла все та же непроглядная ночь, но что-то вокруг изменилось, и Дандей понял что: не слышно шепота китайцев, молчит настороженно ботало. Безошибочное чутье охотника подсказало: кто-то затаился в темноте, здесь, совсем рядом, и чье-то осторожное дыханье примешивается к густому, мерному шуму тайги. Дандей положил пальцы на рукоятку ножа и замер, до боли в глазах вглядываясь во мрак.

Время шло, но ничто не нарушало тишины, только раз где-то поодаль коротко хрустнул сучок. Олени понемногу успокоились, снова начало позвякивать ботало. Угли, рдевшие в костре, все тускнели и тускнели, пока не погасли совсем.

Ночь, казавшаяся бесконечной, наконец иссякла. Плотная тьма мало-помалу редела, и пепельный рассвет стал лениво просачиваться из-за вершин. Вот выступили из серой мглы ближние деревья, а за ними еще и еще. И когда разъяснилось настолько, что каждая хвоинка отрисовалась на фоне светлеющего неба, в конце поляны проступило смутное очертанье человека. Пугающе неподвижный, безмолвный, он сидел, скрестив ноги, и казался неживым.

После некоторого колебания Дандей осторожно приблизился к нему и узнал Ян Тули. Страшно блестели его глаза, слепо устремленные перед собой, чуть шевелились губы, беззвучно шепча что-то. Дандею стало жутко: человек этот уже не принадлежал себе, в него вселились неведомые духи,— только они могли вдохнуть силы в полумертвое тело и привести сюда сквозь ночную тайгу.

Властный окрик Чихамо позвал Дандея к костру, торопя в путь.

Пока пили чай, Дандей все посматривал в сторону безмолвной фигуры, но лица китайцев были холодны и бесстрастны, они словно не замечали своего собрата.

На этот раз охотник не решился оставить еду для Ян Тули: только великий шаман мог, не опасаясь, помогать тому, чьими поступками руководят столь могущественные духи.

Весь день Ян Тули следовал вдали за караваном, не приближаясь и не отставая. Не подошел он и вечером к костру, но Дандей и китайцы знали: из темноты на их костер глядят безумные глаза, и неизвестно, какие изуродованные мысли горят в них.

Наступившая ночь была наполнена тревогой. Дандей не сомкнул глаз — все мерещилось серое помертвелое лицо того, кто темным призраком бродит сейчас где-то неподалеку.

Впрочем, в эту ночь Ян Тули так и не дал о себе знать. Не обнаружили его и утром. Дандей почувствовал облегчение, но в полдень, когда караван остановился передохнуть, поднявшись на невысокий перевал, внизу, у подножья, снова разглядели одинокую серую фигурку, медленно и упорно двигавшуюся по их следам. Страх и злоба исказили лицо Чихамо. Он сказал несколько слов своему спутнику, махнул рукой Дандею, приказывая идти дальше, и остался стоять на тропе.

Догнал он их версты через три. Сбавил шаг, принаравливаясь к размеренной поступи каравана. Все с тем же непроницаемым лицом Чихамо продолжал путь.

«Быть беде, быть беде,— снова подумалось Дандею.— Плохие люди, и путь их недобр...»

Он не знал, что беда, и беда страшная, разразилась еще в первую ночь, когда он со своими оленями ждал в условленном месте нанявших его старателей. В ту ночь Чихамо, навсегда покидая Золотую тайгу, похитил золото, которое его соотечественники уже не один год припрятывали, надеясь рано или поздно унести с собой на родину. Из всей артели, бывшей под его началом и доверявшей ему безгранично, он давно выбрал двоих, наиболее подходящих для задуманного. В день побега он загодя предупредил их, незадолго до полуночи вывел из землянки и отправил вперед. Сам же задержался на некоторое время. Чихамо понимал: обнаружив его исчезновение и пропажу всего артельного золота, люди сразу кинутся в погоню. Это допускать не следовало. Поэтому он еще с вечера подмешал в артельный чай немного сонного порошка,— подмешивать много остерегся: зелье могли распознать по вкусу. Когда его сообщники бесшумно удалились по тропе, уводящей с прииска, Чихамо вынул из-за пазухи бритвенной остроты нож и крадучись вернулся в

землянку. В ней стояла темнота, лишь слегка разбавленная светом молодого месяца. Однако Чихамо достаточно прожил тут и легко ориентировался в полумраке. Он шагнул к крайним нарам, где спали четверо. Чуть-чуть постоял, прислушиваясь к сонному дыханию, и приступил к делу. Протянув руку к лицу крайнего человека, большим и указательным пальцем защемил его нос, прерывая дыхание, сильно рванул, задрав ему подбородок и обнажив шею, молниеносно перерезал горло. Всклип, негромкое бульканье и движение, пробежавшее по телу убитого,— не то судорога, не то дрожь. Вот и все. Чихамо, не мешкая, перешел к следующему... Не много времени понадобилось ему, чтобы покончить со всеми. Не было ни шума, ни крика. Отойдя от прииска, Чихамо снял залитую кровью одежду, забросил ее в старый шурф, оделся во все чистое и поспешил прочь...

...К вечеру, впервые за эти дни, сквозь узкий разрыв в облаках, похожий на кровоточащую рану, проглянуло закатное солнце. Багровый отсвет лег и оживил каменистое всхолмленное плоскогорье, заросшее редкой тайгой. Словно просторнее стало вокруг с появлением солнца. Быстрее и легче зашагали и люди, и олени. Над полуразрушенными скалами, усыпанными свои подножья горами обломков, забытой стражей высились изломанные ветрами деревья, черные их ветви вздымались не то прощально, не то проклинающе. Не более дня пути оставалось отсюда до границы Золотой тайги.

Тревоги Дандея на время улеглись, и он шел, думая о том, что не далее как завтра Чихамо даст ему золота, на которое он купит себе самое лучшее ружье, какое только можно найти в приисковых лавках, а еще постарается достать муки, хоть с продуктами в последнее время на приисках стало совсем плохо... Здесь мысли Дандея были оборваны так неожиданно, что он даже не успел испугаться: из-за ближайшей гряды скал неспешно выехал целый отряд верховых. Впереди с застывшей на лице усмешкой ехал Аркадий Борисович Жухлицкий, которого Дандей видел всего два раза в жизни, да и то с почтительного расстояния.

— Ну что ж, здравствуй, Чихамо, с прибытием тебя!— еще издали сказал Жухлицкий весело-злобным голосом.

Чихамо сделался изжелта-зелен. И за недолгий тот миг, пока Жухлицкий на тяжело и неторопливо ступающем коне приближался к нему, в голове Чихамо рваными кусками, но с пронзительной отчетливостью промелькнула почти вся жизнь, которая — Чихамо понимал — уже оканчивается вот тут, среди этих скал, под этими кровавыми облаками, плывущими над суровой и столь непохожей на его родину северной страной. Шесть лет он, сын некогда богатого, но потом разорившегося шанхайского купца, прожил в дикой лесной стране и все годы не переставал ненавидеть и ее саму, и ее людей. Он видел в них не более как невежественных варваров с чуждыми обычаями и грубым языком. Но земли варваров богаты — так говорилось не только в древних книгах, которые он когда-то изучал, но и в портовых притонах и ночлежках. И когда призрак нищеты встал перед сыном бывшего купца, он понял, что надо делать: в промерзшей земле северных варваров видимо-невидимо золота, которое умный человек может и должен взять. Как он убедился, среди его соотечественников умных людей было полно, они сотнями и сотнями устремлялись на север. Правда, не все возвращались обратно, однако многим удавалось приносить золото. И это, конечно, справедливо: зачем золото варварам, даже не умеющим по-настоящему распорядиться им?... За шесть лет страданий, унижений и дьявольской хитрости он скопил достаточно драгоценного металла, нашел верных людей, могущих стать опорой на далеком пути в Поднебесную, и вот — всему конец...

Неотвратимый, как судьба, надвигался Жухлицкий, заслоня, казалось, половину неба.

— Далеко ли собрался? — глумливо-ласково спросил он с высоты седла.— Устал ты, вижу, лица на тебе нет...

Чихамо молчал, раздавленный и оглушенный. То, чего он так боялся и даже одну мысль о чем суеверно гнал от себя, свершилось, и это вмиг лишило его способности не только соображать, но и двигаться.

Не дождавшись ответа, Аркадий Борисович чуть повернул голову.

— Баргузин,— сказал он странным голосом,— помоги, видишь, тяжело ему... Пстой, а где третий? — Жухлицкий мимолетно скользнул взглядом по Дандею и снова уставился на Чихамо: — Третий, где третий?

Между тем Баргузин спрыгнул на землю и, посмеиваясь, сдернул с Чихамо котомку.

— Ого! — хмыкнул он, держа ее на весу.— С хорошими гостинцами шел домой. Поглядеть, поглядеть надо.

Чихамо, словно в беспамятстве, качнулся к нему всем телом, но железная лапа Рабанжи тотчас легла ему на плечо.

— погоди, погоди,— пропищал он, не отрывая тусклых глаз от Митькиных рук, проворно потрошивших котомку.

Вылетели какие-то тряпки, грязный узелок с едой, засаленные бумажные свертки и, наконец, один за другим легли на землю пять кожаных мешочков, каждый величиной с добрых полтора кулака. Туго набитые, округлые, они были тяжелы даже на вид. Чихамо невнятно замычал, сглатывая слюну и трясясь, как в лихорадке. Тринадцать пар глаз намертво приковались к мешочкам. Митька, опустившись на колени, медленно вынул нож, с минуту колебался, не зная, какой из мешочков предпочесть, и наконец выбрал—таки. Чиркнул ножом по завязке, как слепой, отложил нож, непослушными пальцами приоткрыл мешочек. Тут, казалось, даже лошади перестали дышать. Митька заглянул в мешочек, замер, подсунулся ближе и, помедлив, поднял голову. Лицо у него было потерянное, глаза таращились, полнясь не то ужасом, не то еще чем.

— Ну? — нетерпеливо спросил Жухлицкий, качнувшись вперед.

— погоди...— выдохнул Митька и вдруг, словно вспомнив о чем-то неотложном, принялся с суетливой поспешностью разрезать завязки на других мешочках. В лихорадочных движениях его локтей угадывалась растерянность. Наконец он невидяще уставился на Жухлицкого, моргнув раз, другой и — плачуще, шепотом: — Аркадь Борисыч... оронский бог... это что же получается—то?

Он медленно протянул перед собой руку, и все увидели на его ладони свинцово-серые икринки мелкой дроби.

Аркадий Борисович раскрыл рот, силясь что-то сказать, но так и не сказал ничего. Зато остальные заговорили разом и сдвинулись вокруг Митьки. И тут Чихамо, покорно и немо взиравший до этого на происходящее, вдруг закинул к небу безумное лицо и разразился пронзительным, рыдающим хохотом.

ГЛАВА 7

Огромный двор Жухлицкого задами выходил к лесу. Сразу за незаметной калиткой в высоком заборе начинался глухой распадок, заваленный горами мусора за многие годы и пропахший пропастиной. По распадку шла едва проторенная тропка. В прежние времена в сумерках, ночью, а когда и днем здесь хаживал разный диковинный народ: зверовидные оборванцы, вооруженные до зубов ражие охранные казаки, верховые с тяжелыми седельными сумами на запаленных лошадях, какие-то пугливые бабы, хорошо одетые люди, прячущие лицо; иные приходили сами, иных приводили или же привозили связанных, положив поперек седла и замотав мешками голову. Да, много тайн перевидала на своем веку незаметная калитка. А на приисках чего только не рассказывали досужие языки: что под домом хозяина Чирокана сплошь идут железные подвалы, где в цепях с давних пор сидят старинные золотознатцы из беглых — от них-то, мол, и вызнает Жухлицкий о золотых местах; что и пытаются в тех подвалах и мучают, а пол и стены в них кругом в крови; что во дворе у хозяина где ни копнешь, там и мертвец, а то и два. В рассказах этих кое-что было правдой. Скажем, подвал был; туда сажали проворовавшихся старателей, дабы передать их потом в руки исправника. Баргузинский горный исправник вполне одобрял подобные меры, — золотое дело, оно такое, что к нему льнет немало разного темного люда, не держать его в божьем страхе, он тебе враз брюхо распорет и кишки на кулак наматает — народ отчаянный;

а коль скоро из тайги до закона не враз докричишься, приходится порой хозяину вершить дела своим судом. А вот что до покойников, то в тайге народу бесследно пропадало немало, это верно, посему божиться, будто Жухлицкие ни одной души не загубили, исправник бы не стал, но одно он знал твердо: где-где, а уж во дворе-то их наверняка не закапывали. После февральского переворота, когда вместо прежнего исправника в тайге появился комиссар горной милиции, Аркадий Борисович лихие свои замашки на время оставил: не мешало присмотреться, понять, как и чем дышит новая власть. Новая власть дышала по-старому. Мужики на приисках невесело шутили: «Те же штаны, только перелицованные...» Под названием Совета съезда золотопромышленников прежние хозяева вершили прежние дела в тайге. Комиссар милиции Кудрин оказался своим человеком. И все бы хорошо, но случился переворот в октябре. Начались смутные времена. Совет съезда расползся, как тараканья стая на рассвете. Кудрин хоть и остался послушен промышленникам, но и Таежного Совета побаивался тоже. Такие дела. Аркадий Борисович поостерегся бы сейчас запирать кого-то в подвал, но таинственно пропавшее золото заставляло идти на риск, это первое; а другое — один из троих, посаженных в подвал, был убийца десяти человек на Полуночно-Спорном прииске и еще одного — на пути из Золотой тайги.

Пленников привезли около полуночи, втокнули в подвал, брякнули засовами и ушли. Прошла ночь. Прошел и следующий день. О пленниках словно бы забыли.

Дандей сидел в отдельной клетушке: одна стена из дикого камня (за ней была печь, чтобы посаженные не перемерзли зимой), вторая — бревенчатая, глухая, в третьей — крошечное окно, забранное решеткой из санных подрезов, а в четвертой — дверь. На полу солома, какое-то тряпье. Холод стоял могильный — чувствовалась близость вечной мерзлоты. Привыкший к ночевкам в снегу, Дандей ночь провел сносно, но днем начал одолевать голод, а пуще того — жажда. Он несколько раз принимался стучать, кричать, но никто не отзывался. Лишь за стеной временами глухо завывал Чихамо да слышался вдали собачий лай. Наступила вторая ночь.

А наверху у себя метался Аркадий Борисович. Мысль о неведомо куда ускользнувших пудах золота приводила в ярость, но головы он не терял, чувствовал, что дело тут далеко не простое: Чихамо — мошенник из мошенников! — бежит с приисков и вместо золота несет в котомке свинец! Ей-ей, кому рассказать — на смех подымут. Кто, как и когда смог надуть самого Чихамо, хитрость которого превосходила всякое вероятие? А может, Чихамо с присущим ему коварством подстроил все это? Может, золото лежит, припрятанное, вблизи места, где захватили Чихамо? А может, его уносят по тайным тропам сообщники Чихамо, тогда как сам он, выгадывая время, разыгрывает сумасшедшего? Аркадий Борисович не знал, что и думать, и потому решил не спешить.

Лишь к обеду второго дня он вместе с Рабанжи спустился в подвал. За ними казак нес котелок с мясом и бульоном и чайник горячего чаю. Рабанжи, шедший впереди, забренчал ключами, отворил дверь. Из полумрака пахнуло холодом и смрадом. Из дальнего угла доносилось монотонное бормотанье, что-то шуршало. Казак поставил на пол котелок и чайник, засветил фонарь. Когда огонек разгорелся, Жухлицкий разглядел Чихамо: он сидел на корточках, беспрерывно раскачиваясь взад и вперед и издавая невнятное мычанье, глаза у него были закрыты. Второй узник лежал, зарывшись в тряпье и солому, в самом углу, куда едва доставал тусклый свет фонаря.

Казак подошел к Чихамо и тронул за плечо. Чихамо, словно и не заметив этого, продолжал раскачиваться. Казак выругался и, схватив его под мышки, рывком поставил на ноги. Тут только Чихамо пришел в себя. Вздрагивая, уставился на огонек и вдруг захихикал.

— Хоросо-о... — прошептал он. — Огонь делай тепло...

Медленно двинулся вперед, не сводя безумных глаз с фонаря в руке Рабанжи. Он подошел почти вплотную и, вытянув шею с обвисшими продольными складками, весь погрузился в созерцание огня. Аркадий Борисович глядел на него и не узнавал: за какие-то два дня Чихамо постарел самым жутким образом. Теперь это был дряхлый, выживший из ума

старик, стоящий на краю могилы. «Нет, не притворяется,— подумал Жухлицкий.— Он наверняка безумен».

Рабанжи вопросительно взглянул на Жухлицкого и, не найдя на его лице указаний, как поступать дальше, заколебался, но все же угрюмо просипел:

– Где твое золото?

– Моя золото... — тоскливо прошептал Чихамо, все так же глядя на пламя.— Моя золото... унес Ян Тули. Приходил ночью... совсем-совсем мертвый... Ян Тули умер там, около речка, потом ходи за нами... — Его лицо на миг исказилось.— Ян Тули сейчас был тут... испугался огонь и уходи. Когда нет огонь, снова приходи... о-о-о...

Вдруг, заставив всех вздрогнуть, из угла метнулся пронзительный крик:

– Послушай моя, хозяин, моя послушай! — Второй китаец подбежал к Жухлицкому и упал на колени.— Наша брал золото, наша прятал золото!..

Жухлицкий встрепнулся, мигом наострил уши. Китаец взмахивал руками, ударял себя пальцами в грудь, извлекая какой-то костяной звук. Лицо его мучительно сжималось и разжималось, реденькие брови странно ездил по лбу, словно кожа в этом месте отставала от черепа. Изломанные тени металась по темным сырým стенам.

Выходило следующее. Их собралось тринадцать человек, артель. Они не один год работали вместе. Сначала каждый прятал свое золото в одному ему известном месте. Потом Чихамо убедил их, что, если каждый сам по себе, никому домой не вернуться,— много бывало случаев, когда одиноких золотонош грабили и убивали на таежных тропах. Надо, говорил Чихамо, идти вместе, а в случае нападения — отбиваться. Он обещал достать оружие. А чтобы никто не ушел один, нужно, говорил он, все золото хранить в одном месте, которое будут знать двое-трое наиболее достойных и честных. Были выбраны он, Ян Тули и Чихамо... Ночью перед побегом Чихамо убил остальных, чтобы они не пустились в погоню и чтобы никогда в будущем не опасаться их мести. Забрав около полуночи из тайника золото, они в условленном месте встретились с проводником и, не мешкая, отправились в дорогу... Проводника Чихамо, видимо, предполагал потом убить и забрать оленей, чтобы обеспечить себя мясом на дальнейшую дорогу... Как вместо золота в мешочках оказался свинец, он не знает... Нет, за всю дорогу они ни разу не проверяли содержимое кожаных мешочков: может, мешала мысль о десяти убитых соотечественниках, может, из-за спешки... потом случай с Ян Тули... Хоть они об этом не говорили, но чувствовали: ни у кого пока нет охоты смотреть на золото... Сколько было золота? Пуда два с половиной, а может, больше,— они его не взвешивали... Нет, проводник ни разу ни о чем не спрашивал, даже не упоминал о золоте, хотя знал, что заплатить ему должны золотом...

– Ну и дела,— выслушав, проворчал Жухлицкий. Он чувствовал, что все рассказанное — правда; что никакого дознания с пыткой голодом теперь не получится: перед ним были двое — один безумный, а второй на грани того; что проводник, скорее всего, ничего не знает. Но почти три пуда золота, три пуда!.. Жухлицкий замер, закрыв глаза и стиснув зубы. Притихшая на время бессильная ярость снова поднималась в нем. В это время сзади послышались торопливые шаги.

– Аркадий Борисыч,— позвали вполголоса.— Там какой-то человек приехал. Нездешний... Вас спрашивает.

Жухлицкий еще раз окинул взглядом подвал и торопливо вышел, решив до приезда комиссара милиции Кудрина ничего не предпринимать.

– Да накормите их,— бросил он, уже взбегая по скрипучим осклизлым ступенькам.

Выйдя на воздух, он невольно остановился, глубоко вздохнул и, прищурясь, посмотрел на солнце. День выдался хороший — в меру облачный, в меру ясный, теплый и чуть ветреный. Но мысли Аркадия Борисовича были сейчас далеки от всего этого. Сначала он подумал, не связан ли приезд неизвестного человека с пропавшим золотом. Но вряд ли — дело слишком запутанное и темное, чтобы разрешиться так легко. Впрочем, посмотрим, посмотрим...

Подходя к крыльцу, Аркадий Борисович увидел в глубине двора под навесом костлявую грязно-серую лошадь — видно, на ней-то и приехал гость, и приехал, по всему, издалека.

Наверху Жухлицкого встретил багровый щекастый казак.

— Где он? — на ходу спросил Жухлицкий.

— В гостиной, Аркадь Брисч, ждут вас.

— Проси сюда,— распорядился он, открывая свой кабинет.

Усевшись за стол лицом к двери, Жухлицкий вынул из заднего кармана пистолет и переложил в боковой.

Наступила недолгая тишина, затем хлопнула где-то дверь. Приближаясь, забухали сапоги, и вперемежку с ними — отрывистый сухой топот. Перед дверью шаги замешкались, потом дверь приоткрылась, и в кабинет с почтительной робостью заглянул давешний казак.

— Аркадь Брисч, к вам.

— Проси.

И тотчас, оттерев казака плечом, в кабинет шагнул приезжий — худой, высокий, заросший многодневной щетиной. Из-под насупленных бровей по-волчьи горят глаза, сухо и пронзительно.

— Аркадий Борисович Жухлицкий? — сипло осведомился он.

Аркадий Борисович, едва поклонившись, выпрямился во весь свой рост, продолжая правую руку держать в кармане.

Незнакомец скользнул по нему взглядом и чуть заметно усмехнулся.

— Что ж, недоверчивость ваша мне понятна. Пусть тогда говорят документы.

Он поднес к горлу руку, одним рывком оторвал ворот нижней рубахи, покопался пальцами в грязной засаленной материи и вытянул белый лоскут.

— Прошу! — гость заученно-четко выкинул вперед руку и прищелкнул каблуками.— Это поклон от весьма небезызвестного вам лица.

Аркадий Борисович, помедлив, принял послание, торопливо пробежал его глазами. Это было коротенькое письмо, написанное несмываемой тушью на куске тончайшего китайского шелка и адресованное ряду известных сибирских промышленников, в том числе и ему, Аркадию Борисовичу Жухлицкому. «Предъявителю сего... наше полное доверие... Правительство автономной Сибири... Да пребудет с нами бог. Низко кланяюсь... Ваш покорный слуга Никита Ожогин». И в конце оттиск: кораблик под тугими парусами, морские дивы с бабьими грудями, поверх всего — лента с латинским изречением,— личная печать Никиты Тимофеевича Ожогина, а для того, кто понимает,— не одного только Ожогина, но и ряда крупнейших сибирских и заграничных банков. Что и говорить, солидная рекомендация. Аркадий Борисович с интересом взглянул на приезжего. Тот снова щелкнул каблуками.

— Капитан Ганскау, Николай Николаевич, уполномоченный Временного правительства автономной Сибири.

— Прошу садиться,— Аркадий Борисович выждал, пока сядет гость, потом и сам опустился в кресло.

— Черт возьми! — капитан расслабленно поерзал, устраиваясь поудобнее, окинул взглядом стены.— Наслаждение, нега — вот так очутиться в европейски обставленной комнате после бесконечного скитания по таежным хлябям.— Он зябко передернул плечами и пробормотал:— Аз-зиатчина, дичь! Брр...

— Солидарен и вполне вам сочувствую, Николай Николаевич,— Аркадий Борисович придал своему бархатистому голосу глубочайшую проникновенность.— Из каких мест быть изволите?

— Ленские золотые прииски... Бодайбо...— отрывисто буркнул Ганскау и содрогнулся.— Сам не верю, что живым добрался!.. Но боже, боже, как вы устроены! — Он снова огляделся.— Впрочем, при ваших деньгах...

— Слухи о моих достатках сильно преувеличены,— сухо сказал Аркадий Борисович.— Война основательно разорила нас, а пуще того — эти государственные перевороты...

— Понимаю,— капитан устало прикрыл глаза.— Положение дел в стране вам известно?

Жухлицкий пожал плечами.

– Кое-что... ведь сейчас все так быстро меняется.

– Да... — Гость помолчал, словно задремывая, потом приоткрыл один глаз.— Россия вообще — это, разумеется, одно, но вот что касается Сибири...

В кабинет заглянула Пафнутьевна, кланяясь, нараспев спросила:

– Батюшка Аркадий Борисыч, чаю не прикажешь ли?

– Что, чаю? Прикажу, прикажу!.. Премного виноват, Николай Николаевич, совсем забыл, ведь гостю с дороги...

Ганскау с заметным усилием поднял веки, улыбнулся устало.

– Что вы, что вы... А креслице у вас предательское: весьма предрасполагает ко сну...

Снова вошла хлопотунья Пафнутьевна, за ней сопящим медведем ввалился краснорожий казак с подносом. Стряпуха проворно расставила тарелки с солеными грибами, копченой рыбой, оленьими языками, холодным мясом, засахаренной брусничкой и горячими отбивными, истекающими жиром.

При виде всей этой благодати капитан даже застонал, судорожно дернув кадыком.

– Кушайте, родимые, кушайте,— пропела Пафнутьевна, кланяясь мягко, бескостно, словно большая тряпичная кукла.— Может, чего еще прикажешь, батюшка?

– Хватит, хватит. Чаю потом еще принесешь. Да вели затопить баню — гостю с дороги помыться надо.

Пафнутьевна вышла. Аркадий Борисович достал из шкафа пузатую черную бутылку.

– Бог мой! — встрепенулся Ганскау.— Не верю, не верю своим глазам: ямайский ром!

– Из старых запасов,— скромно пояснил Аркадий Борисович, разливая крепкий напиток, благоухающий сказочными ароматами вест-индских островов.— Нарочно держал для таких вот случаев... Итак, со счастливым вас прибытием!

– Сердечно благодарен, Аркадий Борисович!

Капитан, затрепетав ноздрями, шумно втянул ромовый дух, пригубил и почмокал оценивающе.

– Амброзия! — сказал он с чувством и единым глотком осушил остальное.

– Да вы кушайте, кушайте,— заботливо говорил Аркадий Борисович.— Грибочков не угодно ли? Язычки оленьи отменные, рекомендую. Тоже и горяченького...

– Благодарю, благодарю,— пробормотал капитан, со сдержанной жадностью набрасываясь на еду.— Вы не поверите, сколь тяжел был мой путь. Не к столу будь сказано, едва не падалью питался.

Аркадий Борисович сочувственно кивал.

– Да, тайга враждебна цивилизованному человеку. Только дитя природы туземец способен здесь просуществовать. В былые времена среди старателей, говорят, дело доходило до людоедства.

– Хм-м, а я, знаете ли, готов их понять! — с армейской прямоотой заявил капитан.— Возможно, человечинка не хуже тех мышей, коих я ел в эти дни.

С этими словами он отправил в рот изрядный кусок отбивной и хищно заработал челюстями. Аркадия Борисовича слегка помutilo. Он кашлянул, отложил в сторону вилку и хлебнул рому.

– Мы говорили о положении дел в стране,— напомнил он.

– Да,— капитан вытер рот грязной ладонью и, спохватившись, поискал глазами салфетку, нервно скомкал ее, зажал в кулаке.

– Вот вам правда во всей ее неприглядной наготе,— тут лицо капитана исказилось судорожно и жутковато, но он тотчас справился с собой и продолжал: — В России донныне торжествуют Советы, управляемые большевиками, как вы знаете. Искореняются последние остатки порядка и законности. Упразднены земства и городские думы. Да что там говорить: Сибирскую областную думу разогнали в январе сего года! Страна висит над бездной. Если чернь возьмет верх — это будет несчастье, какого мы не знали со времен Батыя. Любые попытки здравомыслящих граждан воспрепятствовать наступлению кровавого хаоса

подавляются жесточайше. В Иркутске свирепствует—надеюсь, последние дни! — так называемый ревтрибунал во главе с неким Постышевым. В Омске до недавнего времени те же расправы вершил какой-то Звездов.

Мало того: нынешней весной появилась Всесибирская чека, которая, скажу вам, почище чем опричнина. Малюта Скуратов ребенок рядом с Посталовским, главарем этой самой Чека.

Капитан умолк, пережевывая мясо, запил его ромом и с облегчением откинулся на спинку стула.

— Закурить не угодно ли? — Жухлицкий протянул коробку с папиросами.— Сам не курю, но для гостей...

— Спасибо, спасибо.— Ганскау взял папиросу черными непослушными пальцами, понюхал: — Да-а, это не махорка...

Закурил, глубоко затянулся и сказал сквозь облако дыма:

— Кажется, я немного огорчил вас, дорогой Аркадий Борисович. Но вот другая сторона медали...

Снова вошла Пафнутьевна с тем же казаком. Казак нес самовар, шумно постреливающий паром, а стряпуха — поднос с золочеными чашками, печеньем, вареньем.

— Сожалею, что не могу предложить к чаю лимонов,— посетовал Аркадий Борисович, когда они снова остались вдвоем.— Раньше мне привозили через Харбин отличнейшие лимоны. А в этом году даже муки не получил. Пришлось закрыть прииски... Да, нас перебили, продолжайте, пожалуйста, Николай Николаевич.

— Как я уже имел честь сказать вам, Аркадий Борисович, положение в Сибири меняется быстро и коренным образом. Прежде всего, созданное в феврале в Томске Временное правительство автономной Сибири вынуждено было некоторое время находиться в Харбине, а ныне же, как мне стало известно совсем недавно, оно переехало во Владивосток, так сказать, вернулось в отечество! Возглавляет правительство, посланцем коего я и являюсь, господин Дербер. Кстати, вы его не знали, Аркадий Борисович?

— Не имел чести...

— Депутат Сибирской областной думы, светлая голова!.. Далее, успешную борьбу с Советами ведет атаман Семенов. Он располагает в Маньчжурии крепкими тылами. Сибирское казачество его, разумеется, поддерживает...

Аркадий Борисович слушал, время от времени качал головой, изумленно вздергивал брови.

— В начале апреля,— воодушевляясь, гремел капитан,— во Владивостоке высадились войска Англии и Японии, чему я был свидетелем лично. Теперь очередь за Северо-Американскими штатами. Господин Дербер заключил с ними договор о концессиях. Дальновидный и мудрый шаг: теперь американцы весьма заинтересованы в сибирских делах. Прибавьте к этому еще сто тысяч вооруженных чехословаков, что восстали против Советов...

«А вот здесь ты, братец, немного соврал,— отметил про себя Жухлицкий, продолжая, однако, согласно кивать головой.— Не сто тысяч, а около половины того...» Аркадий Борисович хоть и отсиживался в таежной глуши, но вовсе не был столь темен, как прикидывался: кое-какие вести он получал через Баргузин.

— Советы в Сибири обречены,— уже более мирно заявил капитан, прихлебывая остывший чай.— Продовольственная политика Советов не по душе крестьянству.

Сибирский крестьянин имеет землю, крепкий доход, он стоит за свободную торговлю, а вот ее-то господа большевики как раз и не обещают. Опора же большевизма, так называемые пролетарии, в Сибири, к счастью, весьма немногочисленны. Господин Дербер, доблестный атаман Семенов, адмирал Колчак и другие это а-отлично понимают, и вот поэтому мы...

Тут его прервал стремительно налетающий стук копыт. Грохот умолк где-то под самыми окнами, громыхнула калитка, залились, брэнча цепями, собаки.

Аркадий Борисович поднял удивленно брови, но остался сидеть. Ганскау тем временем попытался раскурить погасшую папиросу. Бросил, взял новую и чиркнул спичкой, но тут открылась дверь, и порыв сквозняка смахнул пламя. В кабинет заглянул казак.

– Бурундук прискакал, Аркадь Брисч,— доложил он.— Дело, говорит, спешное.

Аркадий Борисович прищурился задумчиво, чуть помедлил.

– Что ж, пусть войдет,— обронил он и, повернувшись к Ганскау, пояснил, словно извиняясь: — Мой работник... старательный, но умом недалеко ушел от туземца.

Бурундук явился во всей красе: отроду не чесанные волосы шапкой стоят на голове, глаза вроде и не хмельные, но какие-то дико-веселые, рожа самая ненадежная, поверх зеленой шелковой рубахи без пуговиц — волчья душегрейка мехом наружу, грудь — вот она, вся нараспашку, широкий ремень по-орочонски густо утыкан патронами, а сбоку — кож. Про такого и впрямь скажешь, что недалеко ушел от тунгуса, бродячего жителя тайги.

– Аркадьрисыч! — завопил он.— Анжинер какой-то к тебе едет. Горнай!

– Тише, тише,— поморщился Жухлицкий.— Говори толком, где, какой еще горный инженер?

– У Данилыча он ночевал, а я его потом на Дутулуре подстерег. Он кружной тропой сюда едет, а я, значит, по Тропе смерти ударился бежать, чтобы доложить тебе эти дела.

– Как зовут его? Откуда, зачем? — быстро спросил Жухлицкий.

Бурундук молча пожал плечами.

– Расспросить надо было! — с досадой заметил Аркадий Борисович.— Поговорить толком с человеком.

– Поговоришь с ним, как же! — обиженно шмыгнул носом Бурундук.— Я только рот раскрыл, а он уже ружье наставил. И сучок в каждом кармане.

– Это еще что? Какой сучок?

– Ну, револьверты там, наганы...

– Ага! А дальше что?

– Застрелить меня сначала грозился, выпороть хотел шонполом, да потом отпустил... — Бурундук вздохнул и уставился на бутылку с ромом.— Страсть какой бедовый мужик, из офицеров, видать...

– Так, так,— Аркадий Борисович постукал по столу пальцами, потом поднес к губам рюмку.— Горный инженер... Или называет себя инженером? Гм-м...

– Может, прикажешь подсадить его на тропе, Аркадьрисыч? — брякнул вдруг Бурундук.— Я это мигом!

Жухлицкий поперхнулся, метнул осторожный взгляд на Ганскау. Тот отрешенно покуривал и заинтересованности в разговоре не проявлял.

– Придержи язык! — жестко, но не повышая голоса, сказал Аркадий Борисович.— Сколько их? Один, что ли?

– Не... — выдохнул Бурундук, переступил с ноги на ногу и снова покосился на бутылку.— Двое их... Конюх с ним....

– Хорошо. Ступай на кухню и скажи Пафнутьевне, чтобы накормила тебя. И водочки пусть даст. А после зайдешь сюда.

Повеселевший Бурундук мигом выскочил из кабинета.

– Вот, таковы они,— Аркадий Борисович, сокрушенно разводя руками, повернулся к гостю.— Дети, жестокие и простодушные дети! Убить человека для них вроде и не грех. Как они говорят, закон — тайга, медведь — свидетель. Вот и вся их юстиция...

Ганскау усмехнулся, встал и мягко прошелся по кабинету.

– Этот ваш... как его — Барсук?

– Бурундук.

– Ах, да, виноват, Бурундук! Он, кажется, сказал, что этот инженер, возможно, офицер, так ведь?

– Да...

— Тогда это, может быть, человек атамана Семенова или Колчака. Не исключено, что его послал подполковник Краковецкий, военный министр Временного правительства автономной Сибири... Во всяком случае, с ним стоило бы, пожалуй, встретиться. Вы не находите?

— Да, вы правы, Николай Николаевич! — Жухлицкий решительно встал из-за стола. — А сейчас вам надо в баню, потом — отдыхать. Я велю приготовить одежду и свежее белье.

ГЛАВА 8

День этот у Аркадия Борисовича пошел насмарку: первое — узнать что-либо о пропавшем золоте так и не удалось; второе — явился откуда-то — ждали его! — этот непонятный и чем-то смахивающий на отощавшего волка капитан Ганскау; а третье — собственной персоной пожаловал сам Франц Давидович Ризер, хозяин Оронских приисков, что в Дальней тайге, — миллионов у него, пожалуй, побольше, чем у Жухлицкого. Посему заботы о драге пришлось на время оставить.

Франц Давидович приехал не один — человек двадцать казаков и приказчиков сопровождали его. И все — при оружии, чисто абреки времен Ермолова. Жухлицкому такая их воинственность показалась чрезмерной даже для нынешнего лихого времени. Но куда больше поразился хозяин Чирокана, когда разглядел среди ватаги вооруженных молодцов дородную бабу, ловко восседавшую в седле. От удивления он даже сунулся головой вперед, чуть не вынеся лбом оконную раму, и тут узнал в грудастой амазонке Дарью Перфильевну Мухловникову, женщину отчаянную, красивую, хозяйку нескольких приисков.

«Однако, — подумал Аркадий Борисович, — однако...» Поразиться, и в самом деле, было чему — день выдался на удивление: с утра капитан, а теперь — эти.

Ризера никак нельзя было назвать частым гостем Жухлицкого, на памяти Аркадия Борисовича он заглядывал на Чирокан, не соврать бы, всего-то дважды — один раз еще при покойном Борис Борисовиче, а во второй — вскоре после его смерти, проездом из Баргузина.

Что же до Дарьи Перфильевны, то она при старшем Жухлицком прикатывала на Чирокан едва ли не каждый день. Поговаривали, что Мухловничиха крутит шашни с Борис Борисовичем и первый собственный прииск получила от него в подарок. Язык, конечно, без костей, но откуда бы и в самом-то деле ей, молодой вдове убитого по пьяному делу золотнишника, обзавестись приисками? Промысловые дела Мухловничиха вела умело и удачливо. Управляющими на прииски сажала тертых мужиков, холостых и в годах, каждому из них давала понять, что не прочь когда-нибудь выйти замуж, если попадется человек непьющий и умеющий блюсти свой и ее интерес. Наведываясь на прииски, она в меру дарила их лаской и расположением, отчего те стерегли ее добро пуще цепных псов. Баба была себе на уме, ни на чьих приисках управляющие не лютовали так, как на ее.

Однажды, лет десять назад, Мухловничиха совершала очередной объезд личных владений. С молодых лет ей довелось вдоволь хлебнуть нужды, поэтому, дорвавшись до богатства, она сделалась сущей тигрицей — верила только себе, да и то, наверное, не всяк день — и за скопившимся на приисках золотом предпочитала ездить сама.

С Иоанно-Дамаскинского прииска она выехала после обеда. Ее сопровождали трое охранных казаков. Хоть в кожаных седельных сумках Дарья Перфильевна везла фунтов двадцать золота, она не опасалась: от прииска до перевала Медвежий Нос тридцать пять верст, тропа, езженная не раз, перевал невысок, стоит его перевалить — и сразу же другой прииск, Гавриило-Архангельский.

День был жаркий. Пауты допекали лошадей, поэтому они без всякого понукания шли ходкой рысью. Горечь разогретой смолы мешалась с крепкой банной прелью таежного гнилья. Казаки в холщовых рубахах и в суконных шароварах клевали носами. Да и сама Дарья Перфильевна покачивалась в седле, расслабленно улыбаясь чему-то сокровенному, бабьему.

Лес кончился. Впереди встала низкая серая гряда Медвежьего Носа. Наверно, когда-то, во времена незапамятные, перевал этот был высок, неприступен, но со временем одряхлел,

обвалился, усыпав подступы к себе застывшим морем звонких обломков, сизых от лишайника.

Кони осторожно ступили на еле заметную тропу, ведущую через россыпь. И вот тут раз за разом сзади сухо треснули два выстрела. Низко над головой шмелями пропели пули и ушли в сторону перевала. Сонная одурь разом слетела с казаков. Миг спустя двое из них, бросив хозяйку и коней, пешком, прыгая по глыбам, как зайцы, удирали назад, под прикрытие леса. У третьего же конь, засадив ногу меж камней, рухнул вместе с седоком, визжал душераздирающе и молотил воздух тремя копытами. Нападающие рассчитали все верно: через россыпь верхом не уйдешь, а дорогу назад они отрезали. Дарья Перфильевна долго не раздумывала — добрый конь под ней взвился на дыбы, развернулся на задних ногах и рванул обратно в лес. Дико заорал угодивший под копыта казак, но встреч летящий воздух смял и отбросил назад, к черту, его крик. Возник было впереди всадник — оскаленная конская морда, а над ней оскаленный же человеческий рот и выпученные глаза, и тотчас — удар, визг и запоздалый выстрел в угон. Дарья Перфильевна, лежа на гриве, уносилась по свободной уже тропе. За ней гнались. Двадцать фунтов золота и баба, первая на всю тайгу красавица, — еще бы не гнаться! Частили сзади копыта, ножом полосовал тайгу разбойный свист. Мухловничиха глянула одним глазом через плечо: сажень в двадцати, тесно сбившись в кучу, ее настигали четыре варнака. Одного из них она узнала: Митька Баргузин. С полгода назад он впервые появился в этих местах и — хватило же наглости! — пришел наниматься к ней в управляющие. На рожу смазливую понадеялся, что ли, да на бесстыжие глаза? «Иди сначала сопли выбей», — сказала ему тогда Дарья Перфильевна и больше не стала разговаривать. «Не хошь — как хошь, ходи яловой», — усмехнулся Баргузин, поиграл рысьими зенками и вышел, осторожно притворив за собой дверь. Но, выходит, помнил он ее, ждал своего часа и — дождался, подсвинок. Они не стреляли, знали, что не уйти ей. Поняла это и Дарья Перфильевна. Взяв поводья в зубы, она торопливо разгребла необъятные юбки, извлекла два пистолета и, откидываясь всем телом назад, остановила бешеный бег коня, развернула его и с обеих рук принялась смолить по налетающим лошадям, по потным, багровым от азарта варначим харям. Варнаки смешались, закричали, оторопело забухали наугад, навскидку, кто-то из них полетел на землю вместе с конем. Пальба поднялась великая, к тому же лесное эхо умножало ее стократно, разнося шум и гам этой баталии черт знает куда. Немного времени спустя Дарья Перфильевна в полный галоп летела обратно к Медвежьему Носу, а на поляне лежали два трупа да бились, издыхая, три коня.

Митька после того случая исчез куда-то — говорили, подался обратно на Бодайбо, — а через полтора года Мухловничихе стало известно, что он объявился снова и, похоже, ходит в доверенных у молодого Жухлицкого (Борис Борисович к тому времени уже помер). «Вот ты и попался!» — сказала себе Дарья Перфильевна и покатила в Чирокан — требовать, чтобы Митьку передали в руки горного исправника. Аркадий Борисович в ответ только усмехнулся и развел руками: «Полноте, Дарья Перфильевна, времени-то уж сколько прошло... Да и точно ли он тогда был? В горячке-то, может, и обознались...» Мухловничиха, баба гордая и властная, даже задохнулась от такой откровенной наглости его. «Воров берешь под защиту? Знать, заодно ты с ними!» — хлопнула дверью и — пулей вон. «Куда же вы, Дарья Перфильевна? — кричал вслед Жухлицкий, по пояс высываясь из окна. — Оставайтесь, чайку бы попили, наливочки!» — «Я с тобой, варначий кум, на одной десятине нужду справлять не стану!» Дарья Перфильевна в сердцах никак не могла попасть ногой в стремя, наконец уселась, ожгла коня плеткой и бешено рванула вдоль улицы, давя кур и поросят. Чуть замешкавшиеся охранные казаки один за другим нырнули в густую пыль, поднятую их разгневанной хозяйкой, и сгнули с глаз — только лихое их гиканье слышалось еще некоторое время, но пропало потом и оно. Глядя им вслед, Аркадий Борисович хохотал до колик.

Дарья Перфильевна с той поры десятой дорогой объезжала Чирокан, а ее люди всюю хищничали на застолбленных Жухлицким площадях. Аркадий Борисович в долгу не оставался. В народе говорили, что не в Митьке тут дело, а в том, что Аркадий Борисович

после смерти отца очень ловко оттягал у Мухловничихи богатый прииск Полуночно-Спорный, подаренный ей когда-то старшим Жухлицким. Дело, конечно, темное, простому человеку недоступное...

Аркадий Борисович, увидев под окнами Мухловничиху, не поверил сначала своим глазам. Однако верь не верь, а встречать гостей надо. Жухлицкий поспешил во двор, где уже начиналась суэта. Двое дюжих казаков снимали с коня тучного Франца Давидовича. Старик, держа над головой лакированную китайскую трость и словно собираясь отходить ею казаков, кричал что-то веселое, охал и дрыгал толстыми ногами, обутыми в мягкие сапоги. Дарья Перфильевна все еще сидела в седле, готовая, казалось, в любой миг хлестнуть коня и ускакать. Увидев сбегаящего с крыльца Жухлицкого, она резко выпрямилась, и неприязненная улыбка обозначилась на ее лице.

— Франц Давидович, дорогой!.. — уже издали закричал было Аркадий Борисович, простирая руки, но Ризер тут же перебил его.

— Даму, даму встретить сначала! — рывкнул старик, тыча тростью в сторону Мухловничихи, глянул куда-то мимо Аркадия Борисовича, и лицо его умильно расплылось. — Сашенька, ты ли это? Чудо, чудо как стала хороша!..

— Виноват! — Жухлицкий круто развернулся и поспешил к Мухловничихе. — Дарья Перфильевна, здравствуйте, голубушка! Не ждал, не ждал!..

— Вижу, рад, — насмешливо проговорила она, подавая руку. — Редко что-то видимся, а ведь в соседях живем!..

— Зато уж не мешаем друг другу, — в тон ей отвечал Жухлицкий, помогая сойти на землю.

С Сашенькой золотопромышленница поздоровалась более милостиво — даже чмокнула ее в щечку.

— Третьи сутки в дороге, — брюзгливо жаловался Ризер, пока шли к дому. — Разве это мыслимо в мои годы?

Как хорошо зимой! Садись в саночки и пошел... ох-хо-хо...

— Что же заставило такого почтенного человека, как вы, Франц Давидович, предпринять это путешествие? — спокойно и словно бы из одной только вежливости поинтересовался Жухлицкий.

— Разве мыслимо так жить дальше? — закричал Ризер, но спохватился и махнул тростью. — Потом, потом, Аркадий, успеем еще поговорить!..

Едва успели войти — с хлебосольной улыбкой, с поклоном подкатилась расторопная Пафнутьевна, лицо — свекольное от кухонного жара.

— Батюшка Аркадий Борисович, гости дорогие!..

— Принеси-ка нам пока чаю, а Сашенька после скажет тебе, что подавать, — отмахнулся Жухлицкий, беря Ризера под пухлый локоток и мягко направляя его к лестнице, ведущей вверх. — Прошу прямо в кабинет, Франц Давидович!.. Сашенька, ты уж поухаживай за Дарьей Перфильевной!..

Ризер как вошел в кабинет, так сразу же со вздохом облегчения повалился в кресло. Расслабленно помаргивая круглыми навывкате глазами, долго сопел, тер лицо и шею огромным шелковым платком.

Сладко распустив по всему лицу морщины, вошла с подносом Пафнутьевна. Следом внесли самовар. Под веселеньким стеганым колпаком, возвышавшимся на подносе, оказался фарфоровый чайник.

Пафнутьевна хлопотливо взялась было за чашки, но Жухлицкий остановил ее, слабо махнув пальцами.

— Ступай, Пафнутьевна, сами разольем!..

Выждав, когда закроется за ней дверь, Жухлицкий вопросительно повернулся к гостю. — Желаете к столу? Тот засопел еще громче и помотал головой.

— Как вам угодно, — Жухлицкий налил чаю и протянул Ризеру.

Франц Давидович, не вставая с места, принял чашку, отхлебнул, поморщился и отставил в сторону.

— Горяч? — встревожился Жухлицкий, как и подобает внимательному хозяину. — Или заварен плохо?

— Не те нынче чаи пошли, — буркнул Ризер. — Трава... Вот раньше, помню...

— Позволю себе не согласиться, — мягко сказал Аркадий Борисович, отлично понимая, что разговор о чае — всего лишь необходимая дань приличию. — Чай, ввозившийся в Россию товариществом «Караван», действительно был не слишком хорош, согласен с вами, — я его и не держал у себя. А этот же у меня из старых поставок, настоящий «бай-хоа», как называют его китайцы, то есть «белые ресницы».

— Это байховый, что ли? — брюзгливо осведомился Ризер. — Ты бы, Аркадий, поменьше слушал харбинских купцов, — ужасные мошенники, скажу тебе.

Ризер немного помолчал и, видимо, сочтя приличие достаточно соблюденным, поднял голову.

— Нет! — сокрушенно сказал он вдруг и трубно высморкался.

Аркадий Борисович, благожелательно глядя гостю в глаза, сидел напротив; на губах — улыбка, терпеливая и сочувственная.

— Нет! — сердито повторил Франц Давидович, взмахнул необъятным платком, сложил и сунул в карман. — Не понимаю!

— Что не понимаете, Франц Давидович? — все еще улыбаясь, спросил Жухлицкий.

— Я не понимаю, почему ты, сильный, цветущий мужчина, сидишь в стороне от дел, происходящих в стране?

— А теперь я не понимаю вас, Франц Давидович, — улыбка сошла с лица Жухлицкого. — Что же, по-вашему, должен я делать? Поспешить, сломя голову, к Колчаку? Или к атаману... как его там... Семенову?

— Как вам это нравится: он не понимает! — Франц Давидович всплеснул ручками и возвел очи горе. — Какой Колчак? Какой Семенов? Это же банкроты, жулики! Деловому человеку с ними делать нечего. Нет, ты должен пойти к Советам!

Аркадий Борисович от неожиданности пролил на брюки чай и зашипел от боли.

— Вы сума сошли, Франц Давидович! Или... шутите?

— Какие шутки! Советы — вот сегодня сила! — Старик поманил его пальцем, но тут же сам живо придвинулся с креслом. — Перед умным человеком сейчас открываются величайшие возможности! Небывалые!.. Каждый делает свой гешефт по-своему. Одни играют на бирже, другие занимаются коммерцией, третьи подделывают документы. Но самая большая игра, чтоб ты знал, — это политика. Скажи мне, Аркадий, что, по-твоему, происходит в России? Ну, ну?

Аркадий Борисович пожал плечами, усмехнулся нерешительно.

— Как вам сказать в двух словах... Низы, чернь пытаются установить собственную власть, создать государство, как они говорят, рабочих и крестьян.

Франц Давидович выслушал его, кивая с каким-то снисходительным сожалением после каждого слова.

— Да, — сказал он, когда Жухлицкий кончил. — Ты — сын моего старого друга, ты — такой же, как я, золотопромышленник. Поэтому мне стыдно за тебя, Аркадий. Неужели ты так слеп и доверчив? Все, что ты мне сказал, это есть слова, слова, слова... А я слишком стар, чтобы верить словам. Люди, знаешь ли, чаще всего говорят одно, думают — другое, а делают — третье. Возьмем первый государственный переворот. Что случилось после того, как свергли царя в феврале прошлого года? Кто-то пришел к власти, получил выгоду, а кого-то обошли, верно? Но сменить высшую власть в стране — это не то же самое, что сменить, скажем, управляющего на прииске.

Наладить спокойствие в стране нелегко, равновесия нет, весы качаются. Поэтому те, кого обошли в феврале, решают под шумок начать новый дележ пирога, понимаешь, Аркадий? Это и есть тебе второй государственный переворот. Политика, Аркадий, кругом

политика. Красный флаг — Советы, белый — монархисты, черный — анархисты. В России нынче разве что одни только кошки не имеют политической окраски. А суть—то одна!

— Пирог?

— Вот именно!

— Пойдите, пойдите...— Жухлицкий был слегка ошарашен, чего с ним почти никогда не случалось.— Значит, значит... Да нет, чепуха все это! Я хоть и с большим опозданием, но читаю газеты, и там речь идет о власти для народа, о равенстве...

— Не смейся меня, Аркадий,—отмахнулся Ризер.— Равенство! Вот я наливаю в стакан воду... Смотри... Мы имеем тут верх, середину и низ. И сколько бы мы ни взбалтывали эту воду, все равно что-то будет вверху, а что-то внизу. Какое тут может быть равенство! А народ!— Франц Давидович фыркнул.— Что такое народ? Ты, я, Мухловникова, еще тысяча, десять тысяч таких — это что, не народ? Ну хорошо, ты скажешь, что в твоих газетах пишут о бедных. Хорошо! Но сегодня кто-то бедный, а завтра он разбогатеет. А вместо него кто-то разорится и станет бедным. Или новая власть думает людей поголовно сделать богатыми? Вот подожди — покричат, постреляют друг друга, и дела пойдут по-старому.

— Но ведь разговор—то идет о национализации заводов, рудников, о передаче земли крестьянам...

— Опять—таки слова есть,— решительно отверг Ризер.— Те, кто стоит за всем этим, не глупее нас с тобой. Твои прииски отобрали? А драгу? Нет? Ну то-то!

— Но банки...

— Банки — это деньги, а деньги, как даже на кредитках написано, имеют хождение,— старик наставительно поднял палец.— Х о ж д е н и е! И ходят они к тому, кто умнее... Нет, что бы там ни говорилось, а всегда было и будет так: одни золото д о б ы в а ю т, а другие его и м е ю т.

Старый торгаш сомнений не ведал: Россия мыслилась ему такой огромнейшей лавкой, а революция — чем-то вроде жестокой толчеи вокруг дешевой распродажи, где при известной ловкости можно за бесценку отхватить небывало жирный кус.

Ризер самодовольно крякнул, откинулся на спинку кресла и с отеческой заботой в глазах оглядел Жухлицкого.

— Вот поэтому я и говорю, что не понимаю тебя.

Почему сидишь здесь? Ты молод, умен, ты должен быть среди тех, кто будет делить пирог. Нельзя опаздывать, иначе потеряешь и то, что имеешь сегодня. Придется тебе тогда в драных штанах дожидаться третьего переворота.

И старик захохотал.

— Ага, значит, вы, Франц Давидович, вместе с Мухловниковой отправились за своим куском пирога? — спросил Аркадий Борисович с глубоко скрытой насмешкой.

Он уже почти поверил всему, что так ловко плел старый лис, но когда тот между прочим упомянул о дружбе с его отцом, Аркадий Борисович насторожился — он-то хорошо помнил о попытках Ризера выпихнуть в свое время Жухлицкого—старшего с Чирокана, затеяв штучки с каким-то завещанием покойного зауряд-хорунжего Мясного.

Франц Давидович хохотнул с добродушной старческой хрипотцой, но в то же время блестящие его глазки мимоходом — остро и пронизательно — прошлись по лицу Жухлицкого.

— Шутник ты, Аркадий, весь в отца,— проговорил он, снова доставая из кармана платок.

Тут Аркадию Борисовичу пришло в голову — не издевается ли над ним старый промышленник: сколько он помнил, отец не то чтобы шутить, но даже смеяться—то толком, кажется, не умел.

— Нет, Аркадий,— сказал Ризер, вытирая глаза.— Куда мне, старому и больному человеку, соваться в большую игру. Одного я только хочу — спокойно прожить остаток жизни... Вот еду в Харбин, там в Русско-Азиатском банке у меня есть кое-какие сбережения. В такое время надо быть поближе к своим деньгам... К тому же на приисках некому сейчас

работать — одних забрали на войну, другие сами разбежались. Продуктов нет... Прииски пришлось закрыть.

— Но кто-то, наверно, остался на Ороне?

При упоминании об Ороне, золотой столице Дальней тайги, что-то дрогнуло в лице Ризера.

— Управляющий остался... да с десятков старательских семей,— глухо проговорил он, вздохнул и, поспешно отводя глаза от вопросительного взгляда Жухлицкого, добавил: — Орон я отдал в аренду Мухловниковой.

— Что-о? — Аркадий Борисович вытаращил глаза, фарфоровая ручка хрустнула в его пальцах, и чашка с печальным звоном брызнула осколками по полу.

— Посуда бьется к счастью,— с кривотой усмешкой заметил на это Ризер.

— Мухловниковой? В аренду? Орон?

— Что так на меня смотришь? — рассердился вдруг Ризер.— Может, я должен был его попросту бросить? Или предложить в аренду тебе? А ты бы взял?

Аркадий Борисович вместо ответа встал, крупно шагая, подошел к шкафу и достал графин.

— Смирновской водочки не угодно ли? — хмуро спросил он.

— Нет уж, уволь,— нервно хихикнул Франц Давидович.— Ты бы лучше молочка велел подать горяченького. И курочку в бульоне я бы скушал...

«Ну и хрен с тобой! — злясь неизвестно на что, подумал Жухлицкий.— Курочку захотел, старый пень!»

Он выпил, не закусывая, большую рюмку водки и заходил по кабинету, хрустя каблуками по фарфоровым черепкам.

Франц Давидович сидел с сонно приспущенными веками, ручки смирно сложены на животе, а сам нет-нет да и поглядывал пронизательными глазками на беспокойно вышагивающего Жухлицкого.

Так, в молчании и под ленивый перестук «Универсаль-гонга», прошло минуты две-три.

Аркадий Борисович отошел к окну и остановился, скользя невидящим взглядом по чугунно-серым скалам, которые полуразрушенной крепостью — с остатками башен, контрфорсов и рavelинов — тянулись по той стороне Чирокана.

От злости ли, от водки ли, но что-то вдруг в нем сдвинулось, лопнул какой-то давящий обруч, и наступила знобкая ясность, словно душную комнату освежило бодрящим холодком сквозняка. Если бы Аркадий Борисович не был так замордован неизвестностью и страхами последних месяцев, когда его, как дохлую рыбу, тащило по течению черт знает куда, ему не пришлось бы сегодня зеленым недоумком таращить глаза на Ризера. Подумав об этом, Жухлицкий опять почувствовал закипающую злость. Ризер, конечно, кое в чем прав. Например, в том, что Советы — это сила. Но идти к ним — слуга покорный! Франц Давидович, старый шельмец, давал такой совет, ясно, не без умысла: авось Жухлицкий бросится очертя голову в прожорливую пасть лихолетья и сгинет там. Колчаки, Гамовы, Семеновы — бесспорно, накипь, черносотенцы, поднявшиеся на перебродившей волне косного векового старья. Из всего, что противостоит Советам в Сибири, достойны внимания только Япония и Америка. Но Японию Аркадий Борисович тут же отринул — в своей державе азиатчины предовольно, чтобы еще связываться с иноземной. Другое дело — Америка. К ней Жухлицкий относился с почтением — одно время на Чирокане по договору работали американские инженеры Лэнс и Довгаль, мужики двужильные, в деле сухие, жесткие, без той ненавидимой Аркадием Борисовичем азиатской сырости, из-за которой любая работа делается либо спустя рукава, либо с надрыванием пупа в дурном запале.

Что до приисков Ризера, то тут все ясней ясного. Много ли золота сможет взять Мухловникова с Орона, пока Франц Давидович будет отсиживаться в Харбине,— и сил у нее маловато, да и работать сейчас некому. А вот хищничества большого она, при ее жадности, конечно, не допустит. Отдай же Ризер прииски в аренду кому-нибудь вроде Жухлицкого, он мог бы, возвратившись, очень просто не получить обратно ничего или, на худой конец,

застать свои площади обобранными до последнего золотника. Умно старик поступил, умно, ничего не скажешь!

Аркадий Борисович повеселел, ощутил в себе прежнюю уверенность. Беззаботно смеясь, он обернулся к Ризеру.

— Не желаете ли, кстати, полюбоваться моей драгой?

— Я уже имел сегодня эту честь,— насморочным голосом отозвался Франц Давидович.— Мимо проезжали...

— Но жаль, не увидели вы ее в работе. Зрелище! Одного дыму сколько — в небо не вмещалось! Как из трубы броненосца. А гудок какой был — на двадцать верст в округе слышно!.. Раньше всем гостям показывал ее из этого окна — гордился, и законно гордился, Франц Давидович! «Интерсольранд», новозеландского типа, семифутовые ковши. Восемьдесят четыре тысячи рубликов я заплатил за нее, голубушку, да еще шестьдесят пять тысяч стоил мне ее провоз от Лондона до Чирокана. От Лондона до Чирокана! — путь-то каков, а? Но самое страшное — это когда тащили ее от Баргузина до Чирокана,— через хребты, по бездорожью... Один только паровой котел весит десять тонн! Двадцать пять пар лошадей тянули ее. А ведь еще понтоны, стакер, стакерный канат... Сколько мы лошадей тогда погубили,— кровью, бедные, мочились...

— Баргузинский горный исправник мне говорил тогда, что и люди у тебя гибли,— подал голос Ризер из глубины кресла.

— Двое. Сами виноваты — напились в стельку,— спокойно сказал Жухлицкий.— О чем это я?.. Ах, да! Был у меня там один жеребец по кличке Арапка. Страшенной силы конь. Мы его ставили коренником, чтобы он брал с места. Представьте себе, Франц Давидович: огромные сани, а на них котел, стальная махина такая. И вот Арапка упрется, раскачается и кэ-э-эк рванет! Это ж доисторическая какая-то сцена, торжество голого мяса над железом. Мамонты и зубры!.. Ведь главное — только с места сани сорвать, а там уж остальные лошади подхватывают...

— Этот ваш мамонт и зубр, он ведь еще и водку пил, а? — кисло спросил Ризер.

Жухлицкий захохотал.

— Пил, Франц Давидович, пил! Бутылку водки вольют ему в глотку,— только после этого сани тянул. С пьяных глаз так, бывало, рванет, что ай да ну!.. Я тогда сгоряча, помню, дал слово поставить ему золотые зубы, когда у него свои сотрут...

Ризер хихикнул.

— Ну-ну?

— Не дождался он золотых зубов,— грустно сказал Жухлицкий.— Сдох...

— Надорвался, конечно?

— Кто его знает... Сдох и сдох...

— Сэкономил хозяину несколько золотников металла,— ехидно заметил старик.— Цены нет такому коню!

Жухлицкий добродушно рассмеялся, словно бы не заметив колкости в словах Ризера.

— Ну, посмеялись, пошутили, теперь можно и к делу.— Ризер сделался серьезен и немного печален.— Мы ведь с Мухловниковой приехали к тебе с просьбой... Чтобы ты засвидетельствовал своей подписью факт заключения между нами арендного договора...

— Помилуйте, но почему же именно ко мне? — с веселым изумлением воскликнул Жухлицкий.— Ведь вы должны были слышать, что я, к большому моему сожалению, не пользуюсь особым доверием Дарьи Перфильевны.

— Да-да, она и не хотела к тебе ехать, но...— Ризер сокрушенно развел руками.— К кому прикажешь обращаться? Не к Советам же! Шушейтанов и прочие недостаточно солидны для такого дела, а сказать прямо — просто мелочь. Нет, единственный промышленник, имеющий достаточный авторитет и вес,— это ты. Твоя подпись бесспорна, как казначейский билет.

— Что ж, Франц Давидович, я польщен столь высоким вашим мнением о моей скромной особе.

— Значит, согласен? Спасибо, дорогой Аркадий, спасибо! Я знал, что ты не откажешь. К тому же сам, понимаешь, это ведь не за просто так — ты будешь иметь некоторый, скажем, профит.

— Приходится соглашаться, коль уж обещают профит,— Жухлицкий встал.— А теперь, Франц Давидович, идите помойтесь. У меня как раз баня с утра топится — гость приехал.

— Что за гость? — живо заинтересовался Ризер.

— Э-ээ... а вот это секрет,— весело сказал Жухлицкий.— Познакомлю вас за ужином. Держу пари, он вам будет интересен.

— Хм,— Ризер недоверчиво покачал головой.— Интересен... Нынче, Аркадий, любой интересен — то ли он ножом тебя пырнет, то ли ружье наставит...

ГЛАВА 9

Был на исходе пятый день пути от Дутулура. Медные спицы солнечных лучей полого прошивали тайгу. Пересвистывались в древесной хвое невидимые птахи, порой через тропу сигали бурундуки, а то и белка, шустро взбежав по стволу, разглядывала сверху своими бусинками молчаливых всадников и устало шагающих лошадей.

Зверев ехал по обыкновению впереди и поэтому первым увидел человека, неподвижно подстерегающего за поворотом тропы. Человек был столь странен и дик на вид, что молодой инженер невольно натянул повод и проворно сунул руку за пазуху. Среднего роста, но необыкновенно могучий, слегка сгорбленный, с головой, казавшейся огромной из-за косматых волос и бороды, он напоминал медведя, вставшего на дыбы. Вся одежда — рубаха не рубаха, а какой-то балахон из мешковины длиной до колен.

Человек медленно двинулся навстречу. Когда он подошел совсем близко, Зверев заметил, что половина лица у него словно бы изодрана когтями, но это не сильно заметно за буйной бородой, что бос он и грязен невероятно.

Конь, всхрапнув, испуганно попятился.

— Стой, дьявол! — прошипел Зверев, пытаясь удержать его на месте и не сводя глаз с лесного чудища.

Между тем тот одной рукой ухватился за повод, вторую медленно протянул к Звереву и словно бы с усилием разжал пальцы. На широченной заскорузлой ладони тускло сияла пригоршня золотых крупинок.

— Что тебе нужно? — хрипло и почему-то шепотом спросил Зверев.

Незнакомец некоторое время молчал, набычив голову, горящие его глаза так и буравили из диких зарослей волос. Потом раскрыл рот и судорожно затрясся, силясь что-то сказать. Глядеть на него было тяжело.

— К... к-к... к-купец... продай... — косноязычно и с трудом выговорил он наконец.— П-продай...

— Чего тебе продать? — растерянно спросил Зверев.

— Ш-шш-шелк... б-бархат... К-кажи товар... ш-шелк... шелк,— повторял он, сотрясаясь всем телом и продолжая протягивать золото.— Б-бери... все б-бери... Я д-дочери... на п-приданое...

«Сумасшедший»,— понял инженер и вдруг поймал себя на том, что все еще сжимает рукоятку пистолета. Накатившая неловкость, чувство пронзительной жалости заставили его торопливо выдернуть руку из-за пазухи.

— Отец, я не торгую,— мягко и серьезно сказал он.— Нет у меня ничего, не купец я, понимаешь? Может, хлеба дать тебе?

Человек молча шагнул в сторону и безучастно застыл, сгорбившись еще больше и уронив руки. Глаза его, миг погаснув, пропали за кустистыми бровями. Крупинки золота, проскальзывая между корявыми негнушимися пальцами, одна за другой падали на землю и бесследно тонули в желтой хвое.

— Ты из Чирокана, отец? — Зверев наклонился с седла, преодолевая какую-то смутную жуть. — Пойдем с нами, а?

Старик не шелохнулся, словно и не человек он уже был теперь, а замшелый кряжистый пень, с незапамятных времен стоящий здесь у тропы.

Зверев оглянулся на Очира, пожал плечами и тронул коня. У места, где тропа поворачивала, он обернулся. Старик исчез, лишь причудливые тени мешались там с рваными пятнами вечернего света. Да и человек ли то был? Может, таинственный дух сумеречной этой тайги? Призрак, являющийся усталым путникам? Или бесприютная душа скитальца старателя, убиенного тут в стародавние годы? Вздохнула тайга под порывом налетевшего ветра, ожили тени, горестно и мудро закачали деревья далекими вершинами...

Тайга кончилась вдруг — словно толпа молоденьких лиственниц выбежала на край обрыва и разом остановилась, разглядывая в немом восхищении глубокую скалистую долину и атласную ленту реки, что далеко внизу блистала среди зелени холодными переливами.

Зверев придержал коня. В первый раз за весь долгий путь Очир не остался сзади охранять хвост каравана, а подъехал и стал рядом.

Солнце уже готовилось ускользнуть за щербатые, изъеденные временем гребни дальних гор. Яркий вечерний накал размахнул малиновые крылья мало не на полнеба. Розовый, чуть с дымкой свет заливал долину. Зверев замер: такой красоты он не ждал. Гряды чугуно-серых скал, встающих вдоль берега Чирокана, приводили на память суровые лики сказочных спящих великанов. Казалось, не косые тени от садящегося солнца и не вековые шрамы, избороздившие их, а невыносимая мука от зрелища человеческих мерзостей заставила судорожно исказиться эти каменные лики, испустить однажды тяжелый вздох, смежить устало веки и навсегда отрешиться от суетного мира людского.

Сам поселок Чирокан растянулся вдоль берега. Может, был он грязен, убог, завален дерьмом и дрянью, но расстояние стирало все это. Игрушечно чистенькие и одинаковые домики поблескивали крохотными оконцами, обещая привет и уют под каждой кровлей. Отличались от прочих величиной два чинных двухэтажных дома и несколько аккуратных барачков, стоящих чуть на отшибе. Топились печи, — наверно, хозяйки готовили ужин, бренчали подойниками, окликали непоседливую ребятню. И, дополняя этот домовитый уют, вероятно, мычали во дворах коровы, похрюкивали свиньи, тыча мордами в корыта с сытным пойлом. При виде дымков, пышно встающих в безветренном воздухе, Звереву даже почудился аромат свежее испеченного хлеба.

Мир и благополучие... Не верилось, никак не верилось, что тропы к этому успокоительно тихому поселку идут через холодные каменные перевалы, виляют по мертвым болотам и бесконечной таежной глухомани, и одна из них зовется Тропой смерти; что на пути к нему высится где-то черный крест с жутковатым прошлым, встречаются нахрапистые варнаки с пятазарядками и спятившие старцы, требующие с проезжих шелк и бархат и посыпающие землю золотым песком.

Ближе — на берегу речушки, впадающей сбоку в Чирокан, — виднелись полускрытые зарослями остатки каких-то строений и желтые кучи отвалов. Зверев достал из планшета карту-трехверстку и, сверившись с ней, понял, что это уже лет тридцать как заброшенный Мария-Магдалининский прииск. Если верить карте, от него до поселка было верст пять.

— Ну вот и приехали, — вполголоса проговорил Зверев и сам удивился тому, что получилось это у него почему-то невесело.

Он откашлялся, сильно провел ладонью по бороде, отросшей за время пути, и деловито сказал:

— Поехали, надо успеть до темноты.

Ведя лошадь в поводу, он пошел первым. Тропа круто спускалась наискось вдоль склона. За многие десятилетия ее выбили до каменного целика. Лошади временами оскальзывались, тревожно фыркали. «Придется перековать коней, — подумал Зверев, прислушиваясь к лязгающему топоту копыт. — Совсем ослабли подковы...»

Тропа резко повернула и еще круче пошла под уклон. Склон слева уходил вниз почти отвесно, справа стеной выростали скалы — шершавый серый гранит, иссеченный кварцевыми жилами.

Зверев остановился, достал из седельной сумки геологический молоток с короткой — для дороги — ручкой. Окинул взглядом скалу, привычно примерился и одним сильным ударом отбил кусок породы — кварц, полупрозрачный, желтовато-ржавого цвета, с вкраплениями какого-то темного железистого минерала. С жилами такого кварца обычно и бывает связано золото. Зверев задумчиво взвесил его на ладони, помедлив, бросил в сторону. Обломок зашумел вниз по склону, удаляясь, несколько раз ударился обо что-то, потом все стихло.

— Эй, Платонович, золото находил? — окликнул сзади Очир. В голосе его чувствовалась добродушная усмешка.

— Много, — в тон ему отозвался Зверев. — Вся гора золотая.

«Так и есть, протерозойские или даже архейские граниты, — подумал он. — Древняя страна, ничего не скажешь...»

Снизу поднимался сумрак, все сильнее тянуло знобкой сыростью.

В долину спустились уже затемно. Здесь Зверев снова сел в седло и, отпустив повод, предоставил коню самому держаться в темноте тропы.

Высокий ивняк стоял вплотную к дороге. Где-то недалеко шумела вода на перекатах — виденный давеча сверху ключ Гулакочи, приток Широкана. Уйма комаров тонко и зло ныла возле самого уха. Небо еще было светлое, пепельное, но звезды уже проступили — бледные, робко подрагивающие.

— Шорт побери, — ворчливо сказал сзади Очир, — беда много мошек.

Лошади, пофыркивая, убыстряли шаг. Тропа пошла мягкая — уже не камень, а песок чувствовался под копытами.

Ночь набирала силу. Странный тоскливый вопль донесся вдруг из темноты, и еще один, потом кто-то рывкнул басисто, и пошло-покатилось гулять, удаляясь по распадкам, глухое лесное эхо. Кто-то шархнул в кустах, с треском кинулся прочь. Далеко впереди — должно быть, в конце тропы — блеснули два зеленых огонька и тут же пропали. Перед самым лицом бесшумно пронеслось что-то большое и мягкое. Звереву стало слегка не по себе.

— Очир! — окликнул он больше для того, чтобы подбодрить себя. — Это кто там кричит?

— Гуран, однако, Платонович, — спокойно отозвался Очир. — Зверь сам худой, а голос шибко толстый. Кто не знает, мало-мало может пугать.

Ключ шумел все явственнее. Злее стал писк комаров — с темнотой они все более и более стервенели. Зверев, чертыхаясь вполголоса, то и дело хлопал себя по шее, по лицу. Закурил взятый у Митрофана Даниловича злейший самосад, но помогло мало.

Справа за деревьями всплыла багровая мутная луна. Словно заревом далекого пожара тускло озарило лес. Смутные тени легли на землю, темнота в зарослях и меж деревьями как бы ожила, загустела, обрела зловещую недосказанность. Звезды уже всю роились в вышине.

Тропа миновала кусты и вывела на открытое место. Где-то совсем близко плескалась и бормотала среди камней Гулакочи. Слева и справа от тропы выросли черные полуразвалившиеся срубы Мария-Магдалининского прииска. Поодаль, возле леса, высились заросшие горбы отвалов, похожие на неведомых чудовищ, припавших к земле. Облако в это время закрыло луну, навалился сумрак, все вокруг помрачнело еще больше.

Лошадь под Зверевым всхрапнула, запрядала ушами, уставилась куда-то тревожно. Донесся тошнотворный трупный запах.

Чуть проехав дальше, инженер остановил коня, огляделся. Зловоние становилось невыносимым. Лошадь все время беспокойно переступала ногами — не то порывалась бежать, не то совсем уж выбилась из сил и не могла даже стоять. Сквозь шум Гулакочи доносилось откуда-то рычанье, кто-то неподалеку захрустел, зачавкал.

Шагах в десяти темнела избушка с провалившейся крышей. Над ней на покосившемся невысоком шесте виднелось что-то белое. Безотчетное любопытство побудило Зверева толкнуть коня и подъехать ближе. Луна неторопливо выкатилась из-за облака, и опять все осветилось ее тревожным багровым светом. На макушке шеста скалил зубы человеческий череп с остатками длинных черных волос, свешивающихся с темени. Посреди лба темнела аккуратная круглая дырка. Чуть ниже к шесту были привязаны две руки со скрюченными пальцами — вернее, одни кости, державшиеся, видимо, только на сухожилиях. Свет падал в дверной проем, освещая сгнившие половицы, траву, проросшую сквозь щели, и бесформенную грудку каких-то костей. За стеной вдруг зашуршало, метнулось испуганно. Звереву показалось, что из темного оконного проруба соседней избы кто-то выглянул и тотчас скрылся. Инженера невольно пробрал озноб.

— Ну и местечко... — пробормотал он.

Ощущая спиной неприятный холодок, он отъехал, снова огляделся. Меж срубам там и сям шмыгали неясные тени — не то лисы, не то волки, а может, кто еще.

Очир благодушно попыхивал трубкой, поглядывал по сторонам. Зевнув, сказал:

— Вода есть, трава есть. Однако, хорошее место ты выбрал, Платонович. Мало-мало отъехать — ночевать можно.

— Боже упаси, Очир, какая здесь ночевка! До поселка совсем мало осталось, поедem дальше.

— Можно, — согласился Очир и снова запыхтел трубкой.

Его невозмутимость успокоила Зверева. «И чего, спрашивается, я нервничаю?» — подумал он... Додумать не удалось — у той избы, из которой, как давеча показалось, кто-то выглядывал, стоял человек. Он появился внезапно и совсем бесшумно. Очир хмыкнул, проворно сунул руку под зипун.

Прошла, наверно, минута, не меньше. Человек продолжал стоять там же, неподвижный и безмолвный. «Уж не тот ли сумасшедший старик?» — мелькнула у Зверева мысль. Но нет, пожалуй: старик был широкий, медвежистый, а этот хоть роста такого же, но не столь здоров. Снова заволокло луну облаком, вокруг все потускнело, стало медленно погружаться в полумрак.

Человек шевельнулся и не спеша пошел навстречу. Остановился шагах в трех, смутно различимый, непонятный, ночной. Кашлянув, сказал глуховатым баском:

— Здравствуйте, люди добрые. Вижу, нездешние будете?

— Издалека мы, — чуть помедлив, ответил Зверев. — В Чирокан идем.

— Добре, добре...

— А вы сами из Чирокана?

— Там живу, — охотно отвечал человек и придвинулся ближе. — Закурить не найдете?

— Найдем...

Зверев отсыпал самосад в подставленную ладонь, оторвал клочок газеты.

— Ты уж помоги мне, человеке, — с усмешкой проговорил незнакомец. — Одна у меня рука-то... Вторую германцу подарил... в пятнадцатом году.

— Сейчас, сейчас... — Зверев быстро свернул самокрутку, подал ее.

Чиркнув спичку, мельком скользнул взглядом по его лицу. Незнакомец показался в годах, лицо худощавое, приятное, с пышными черными усами.

— Спасибо, человеке, — он раскурил и несколько раз жадно затянулся. — Диву, поди, даетесь такому месту?

— Удивляемся, — сдержанно сказал Зверев.

— Вы-то, конечно, не знали, а вот иной из наших даже днем здесь проходить опасается. Говорят, какой-то ороchonский бог тут поселился... — Он помолчал, дунул на огонек сигарки. — Темное дело...

— Но вы-то не боитесь, — заметил Зверев.

— Я, вишь, на охоту ходил, да маленько заблудился, а то ни в жизнь бы сюда не зашел.

На охотника человек не походил хотя бы потому, что у него с собой не было ружья. Да и с чего бы охотник стал прятаться в пустой избе, завидев проезжих?

«Действительно, темное дело... — подумал Зверев. — Но, пожалуй, пора ехать дальше».

— Скажите, — спросил он, — вы не знаете Турлая Захара Тарасовича?

Незнакомец ответил не сразу — пыхнул несколько раз сигаркой, вполголоса откашлялся.

— Отчего же не знать, — сказал он и снова кашлянул. — Это я и буду Турлай.

— Как? Вы и есть?.. — Зверев запнулся, помолчал, собираясь с мыслями, потом спрыгнул с коня и протянул руку. — Давайте тогда знакомиться: Алексей Зверев, окружной инженер Западно-Забайкальской горной области.

— Батюшки, неужто! — приглушенно ахнул Турлай. — Вот так встреча! Так вы по нашему докладу приехали? Ждали мы вас, ждали... Как вас по отчеству-то?

— Платонович, Алексей Платонович.

— Вот, Алексей Платонович, посылали мы как-то доклад в Центросибирь...

— Знаю, читал я его...

— Вот и добре. Поверите ли, сил уж у нас нет смотреть на все безобразия. Таежный Совет мы тут создали нынче в марте. Хорошо... А в Баргузине нас не признают, декретов и распоряжений Советской власти нам оттуда не шлют. Жухлицкий как был хозяином тайги, так по сию пору и сидит, спекулирует золотом и пушниной. Порядок в тайге, скажу прямо, архаический. Комиссар горной милиции Кудрин с ним заодно. Порядок это?

Захар Тарасович умолк и, оглядевшись опасливо, придвинулся почти вплотную. Понизив голос до шепота, спросил:

— Еще мы оружие просили у Центросибири... Не знаете, как они там решили?

— Центросибирь вам помочь не смогла. Вы, наверное, знаете: после мятежа чехословаков положение в Сибири складывается трудное.

— Понимаем... — вздохнул Турлай. — Жаль, конечно... Очень намгодились бы винтовки.

— Но у меня есть поручение Василия Матвеевича... Вы знаете его?

— Это Серов, что ли, председатель Верхнеудинского Совета? Как не знать, слышали о нем.

— Серов просил передать вам десять винтовок и патроны к ним.

— Правда?! — вмиг ожившим голосом воскликнул Турлай. — Вот обрадовали так обрадовали! Вот за это спасибо!

Из-за развалин донесся отчаянный визг, послышалась шумная возня. Луна, вышедшая из-за облаков, осветила какой-то рычащий клубок, мелькнувший за дальними срубам.

— Собаки... — сказал, вздохнув, Турлай и покосился в ту сторону. — Почти пять сотен человек ушли в начале лета из тайги, собак своих, конечно, бросили. Вот они и одичали. Даже жалко их другой раз... А запах, чуете, какой?

— Да уж как не чувствовать...

— Вон за теми черными развалюхами стоят два ороchonских гроба. Доводилось видеть когда-нибудь? Это колода такая, выдолбленная внутри, туда, значит, кладут покойника, а потом гроб ставят на ножки высотой аршина в полтора-два. Когда, бывает, набредешь на них, оно, конечно, непривычно поначалу. Но то в тайге. А за каким бесом здесь они появились? И ведь недавно — что интересно. А главное — не пустые они...

— Вот как? Не совсем удачное место для похорон.

— Тут не похороны, тут — другое, — убежденно сказал Турлай. — Гробы сверху прикрытые, но я заглянул в них.

Лежит медвежье мясо, нарубленное кусками прямо вместе со шкурой. Однако прочие все думают, что там мертвяки гниют, вот в чем штука! А второе — гробы сами старые, стало быть, принесены откуда-то пустые, а уж здесь их медвежатиной набили. Вопрос — зачем? Кому понадобилось? И еще эта мертвая голова...

Турлай умолк. Некоторое время они молча смотрели на череп, смутно белеющий над черными стенами дряхлой избы.

Погода, видно, начинала портиться. Луну то и дело заносило облаками. По земле одна за другой скользили тени, вызывая в глубине оцепенелого леса неясные и таинственные движения.

— У нас вот болтают,— проговорил вдруг Турлай,— ороконы, мол, устроили для своего бога. А я так думаю, что ороконы с их богом вместе никаким краем до этого дела касательства не имеют. Тут, Алексей Платонович, другое. Чую, неспроста все, кому-то оно нужно...

— Безобразие! — сердито сказал Зверев.

— Конечно, безобразие,— согласился Турлай.— Рядом поселок, там дети, бабы, а тут — пропастина воняет, голова человечья...

— Так убрать надо! Медвежатину сжечь, голову — закопать.

— Так-то оно так, Алексей Платонович, да больно уж мне хочется узнать, зачем все это делалось. Есть у меня одна думка...

Захар Тарасович оборвал себя и снова посмотрел вокруг. Видно, что-то не на шутку его тревожило.

Все так же неслась в вышине луна, ныряя в облачных сугробах, и бесплотные тени бесконечной чередой продолжали скользить по сонному лику земли. Зверев по привычке отыскивал созвездие Большой Медведицы,— или Семь Старцев, как называет его Очир,— перевел взгляд выше, и — вот она, Полярная, холодное и постоянное сердце северного неба, путеводная звезда скитальцев.

— Ну, идемте в поселок, други,— Турлай бодро взял под уздцы зверевского коня.— Я пойду вперед, поведу вас самой короткой дорогой.

Миновав поляну, тропа снова вторглась в заросли. Высокий кустарник весь ходил ходуном и шелестел под порывами ночного ветерка. Торопливый ропот Гулакочи и шум собачьей свары среди развалин Мария-Магдалининского прииска становились глуше и глуше, пока вовсе не затерялись где-то вдаль. А справа, за темной стеной кустов, нарастал широкий и ровный гул — то был голос уже самого Чирокана, хмурого властелина таежного золота.

Оставшиеся пять верст прошли в молчании. Чавкала под копытами грязь, звякала временами подкова о случайный камень да негромко побрякивали удила.

Поселок, должно быть, давно уже спал. Сейчас он уже не казался чистеньким и аккуратным, как на закате с горы. Дома — темные и молчаливые — то теснились беспорядочно и неряшливо, то, наоборот, словно бы сторонились друг друга нелюдимо. Тоскливо чернели поломанные изгороди, похожие на остатки громадного остова, вросшего глубоко в землю.

Турлай остановился, поджидая Зверева, и сказал, настороженно блеснув по сторонам глазами:

— Ко мне, видно, поедем...

Зверев кивнул.

— У меня оно, конечно, не бог весть как. Один живу, бирюк бирюком...

— Пустое, Захар Тарасович, нам все равно.

— Вот и я думаю...

Захар Тарасович круто свернул в какой-то малоприметный переулочек, с обеих сторон подступали кособокие развалюхи — не то амбары, не то стойла для скота. Ломкий бурьян высился почти до крыш. Лошади, почувствовав, видно, конец пути, пошли бодрее. На частый стук подков лениво откликнулся лишь один пес — брехнул пару раз дряхлым басом из глубины темных дворов и — нос под хвост — вернулся, надо полагать, к своим собачьим снам.

Турлай вошел во двор приземистого длинного дома. Жердевые ворота стояли настежь — они, по всему судя, никогда и не закрывались. Дом показался Звереву заброшенным —

издерганная ветром крыша, трава растет возле самого крыльца, и в слюдяном блеске окон тоже чудится что-то нежилое, остывшее.

— Вот она, наша хата! — весело блеснул зубами Турлай.— В другой половине Иван Карпухин проживает, шесть душ детей да баба — вот и весь его приисковый капитал. А в этой, значит, я, тоже богач еще тот...

Он негромко засмеялся и, повозившись перед дверью, исчез в сенях.

Очир тем временем хозяйственно обошел двор, закрыв попутно ворота, заглянул в низенькие сараюшки, темневшие в дальнем углу.

Двор задами выходил на обрыв, под которым тянулась травяная пойма, дальше — песчаный светлый берег, а за ним угадывался скупно мерцающий темный Чирокан.

Слабый свет тронул стекла, моргнул пару раз, разгорелся. Под окном легло бледное пятно. Стало чуточку веселее.

— Алексей Платоныч! — окликнул шепотом Турлай, выглядывая из сеней.— Вьюк давайте сразу в хату.

Зверев понял и подвел к крыльцу ту лошадь, которая везла оружие. Вдвоем с Очиром они торопливо развьючили и, спотыкаясь обо что-то в темных сенях, внесли в комнату два тяжелых брезентовых свертка, увязанные в несколько рядов веревками.

Турлай тем временем занавешивал мешками окна.

— Сюда, сюда давайте... Алексей Платонович, посвети-ка...

Он передал свечу, прошел за печку и, встав на колени, вынул несколько кирпичей, а за ними — половицу. Открылась узкая дыра.

— Это у меня тут оружейный склад,— глядя снизу вверх, с усмешкой объяснил Турлай.— Берданку и патроны здесь держу да пару лимонок — в Чите у солдат разжился, когда сюда ехал...

Зверев и Очир, присев на корточки, быстро сняли веревки, развернули промасленный брезент и начали подавать винтовки.

— Ах ты, мать моя! — восторгался Турлай, любовно взвешивая на широкой ладони лоснящуюся трехлинейку,— Совсем новенькие ведь, в масле еще... Ай да Серов!

Спасибочко ему наше, выручил, выручил, ничего не скажешь. Ну, теперь нас не укуси, теперь мы и сами с усами...

Когда оружие и патроны уложили в тайник, а половицу водворили на место, сияющий Турлай встал, степенно вытер о голенища сапог замасленную ладонь, но вдруг прыснул и весь зашелся от смеха. Зверев удивленно взглянул на него, обернулся к Очиру — тот невозмутимо раскуривал трубочку — и снова в полнейшем недоумении уставился на бурно веселившегося хозяина. Тот было умолк, но сейчас же глаза его начали пучиться, усы встопорщились и, не удержавшись, он опять захохотал, приседая и хлопая ладонью по коленке.

— Ну, гости дорогие, прямо скажу,— проговорил он наконец, вытирая глаза.— Угощать мне вовсе нечем. Ни крошки в хате нет. Харчуюсь я у Карпухиных, а они сей час, вишь, спят... Брал я краюху хлеба с собой, да съел ее аккуратно перед тем, как вас встретить. Чудовый хозяин, а? Вы, значит, нам подарок дорогой, а мы вам дулю с маком, а? Ха-ха-ха...

Захар Тарасович относился, видимо, к числу тех людей, которые если уж веселятся, то безудержно и от души. Зверев невольно рассмеялся, глядя на него, хотя, сказать честно, было ему совсем не до смеха: в пути пришлось пробыть без малого месяц, и под конец усталость его, миновав всякие границы, перешла в какое-то отупение — окружающее порой виделось ему как бы сквозь оконное стекло, заливаемое зыбучей дождевой водой. Все еще улыбаясь, он оглянулся и не поверил своим глазам — Очир, этот обветренный до черноты кочевник, всегда невозмутимый, как каменные идолы в его родной степи, трясся от беззвучного смеха. Глаза его пропали среди морщин, зажатая в зубах трубка прыгала, рассыпая искры.

— Ну вот и славно,— сказал Турлай, когда все отсмеялись.— Революция — дело веселое. Пушай нынче Жухлицкий плачет, а нам и посмеяться не грех!

— Платонович,— напомнил Очир.— У нас, однако, маленько есть хлеб, мясо вареное...

— Э-э, да вы богаче Жухлицкого! — оживился Турлай. — Охотились по дороге?

— Дня три назад Очир подстрелил козу.

— Добре, давайте сюда ваши харчи, а я пока печку затоплю.

Зверев и Очир вышли во двор. Ветер заметно усилился и налетал частыми порывами. Хлопали и скрипели оторванные доски, надоедливо дребезжало где-то жестяное ведро. Небо совсем заволокло тучами — ни луны, ни звезд.

Откуда-то — видимо, с той стороны Чирокана — долетел еле слышный одинокий тоскливый вой. «Хорошо, что утром нам не в дорогу, — подумал Зверев, зябко поеживаясь. — Скверный завтра будет день...»

Развьючив, внесли в избу сумы. Очир, не торопясь, выложил на стол полкаравая зачерствевшего хлеба, несколько лепешек, куски вареного мяса, соль и кожаный мешочек с зеленым чаем.

Ужинали обстоятельно, не спеша. Очир брал кусок мяса и, прихватив его зубами, ловко отрезал у самых губ, — отточенный охотничий нож мелькал с быстротой молнии. Захар Тарасович нарезал мясо толстыми ломтями, укладывал их на хлеб, солил. Откусив, истово вкушал, запивая изредка чаем. Посмеиваясь, рассказывал о себе.

— Сам я с Киевщины, — говорил он. — Село там есть одно, Медведевка называется, оттуда, значит, я. Семья у нас была большая — три брата, две сестры и отец с матерью, само собой. Из братьев я самый младший. Жили впроголодь. Земли у нас — капелюхом накрыть можно. Вот я и подался до городу искать себе дело... Поработал в одном месте — выгнали за строптивость, из другого — сам ушел, а после подхватило меня и понесло по свету, как траву перекасти-поле. И занесло под конец аж сюда — в, Золотую тайгу, на Чирокан. Разбогатеть, вишь, надумал, в лаковых сапогах до отцовской хаты вернуться... Работаю год, другой, третий и вижу: черта лысого тут разбогатеешь, однако на фарт надежды не теряю. А это, скажу тебе, Платоныч, самое страшное для нашего брата, хуже вина и карт. Скажем, приходит человек в тайгу и имеет думку: поработаю, дескать, накоплю немного и — домой. А хоть раз увидит золото — пропал, считай. Манит оно его, ан в руки не дается. Блеснет в одном месте, в другом, а человек идет и идет за ним, как ночью на огонек, все идет, идет, и нет конца тому пути. Закружило, значит, человека золото, пропащий тот человек... Черт знает, что бы со мной стало, да началась война с германцем. Взяли нас из тайги на фронт. Вот там-то, в окопах, я в прозрел, прямо скажу. Прокламации, бывало, читаешь, умных людей послушаешь, да и свой брат солдат кое-что добавит — вот глаза помаленьку и раскрываются. Да-а... Ну, как остался я без руки, меня, конечно, списали вчистую. Поехал к себе в Медведевку. Смотрю, плохи дела, еще хуже, чем раньше. Один брат на фронте, другой до кровавых мозолей на земле бьется, а из нужды никак не выбьется. Отец, конечно, сильно постарел, какой из него теперь работник? Ну, женился я — хоть и с одной рукой, а все ж мужик, по военному времени в цене. Пожил год с бабой да и говорю ей: поеду, мол, в Сибирь, в тайгу. Коль будет все ладно — тебя выпишу к себе, а нет — вернусь так. Не успел сюда приехать — революция, царя сбросили...

Звереву есть не хотелось. После первой кружки обжигающего чая он, привалившись к стене, незаметно впал в дремоту. Он слышал, как Турлай с Очиром еще говорили что-то о лошадях, потом несколько раз выходили, внесли седла, брэнча стремянами, по открыть хотя бы одни глаз у него просто не было сил.

— Платонович, — раздался над самым ухом голос Очира. — Платонович!

— А?.. Да-да, я сейчас, сейчас... — пробормотал он, сиюсь разлепить веки, и не смог.

— Алексей Платоныч, — позвал издали Турлай. — Эк, уходило-то тебя... Иди-ка приляг.

Зверев все же превозмог себя, встряхнулся, с минуту моргал на слабенький огонек свечи и пришел-таки в чувство. Рядом стоял Очир, прихлебывая чай. Неизменный свой зипун он уже снял, деревянная кобура маузера висела у него чуть ли не до колен. Зверев фыркнул.

— Убрал бы... Ведь до смерти можешь напугать со сна...

На придвинутой к печке широкой лавке разостлали потники, бросили сверху шубу, в изголовье положили седло. Царское ложе!

— Платоныч! — окликнул Турлай, когда все улеглись, задув свечу.— Тебе, поди, завтра надо наведаться к Жухлицкому?

— Да...

— Запомни, Аркаша — тварина еще та...— Турлай беспокойно заворочался, помолчал.— Ухо с ним надо держать остро, уж мы-то его тут знаем... Хитрей сатаны мужик. И душ загубленных на совести его ох как немало.

— Понимаю,— тихо сказал Зверев, следя сонными глазами за тем, как мельтешат по стенам тусклые отблески догорающих в печи головешек.

— И еще остеречь хочу — не скажи ему ненароком, что видел меня на Магдалининском. Там, чую, неладное творится, и Жухлицкий к тому прямое касательство имеет.

— Понимаю...

После этого наступила тишина. Багровые сполохи еще некоторое время, замирая, подрагивали на стенах, пока не погасли совсем. В избе похолодало. Подвывал в трубе ветер, грозя изгнать последнее тепло, и начинающийся дождь робко пока постукивал в окна.

Впервые за последние пять месяцев Турлай ощущал чувство успокоенности. Отныне, получив в свое распоряжение боевое оружие, Таежный Совет представлял собой реальную и авторитетную силу, с которой придется всерьез считаться хозяевам золотых промыслов.

ГЛАВА 10

По случаю приезда неожиданных гостей в доме хозяина Чирокана готовились к праздничному ужину. Большую гостиную, в которой с самой зимы оставался какой-то могильный холодок, для придания жилого духа как следует протопили звонкими поленьями. Дюжие казаки вынесли во двор пыльные медвежьи шкуры и там нещадно взбудрили их палками, отчего те свирепо взъерошились и едва не стали рычать. Вынули из шкафов льдистый хрусталь и певучий фарфор, достали слежавшиеся полотняные скатерти и салфетки. Не пожалели и свечей — на большой стол поставили три шестисвечника, да еще четыре — по углам комнаты.

Помолодевшая Пафнутьевна колобком каталась из гостиной во двор, со двора на кухню, а оттуда — в погреба. Жарили и шкварили, как на маланьину свадьбу. Отощавший за весну и лето житель Чирокана за пять домов начинал водить носом и слатывать слюну. Голодные детишки в отцовских картузах и драных мамкиных платках толкались у ворот, попискивали под окнами, облизываясь, копали щелки в высоченном заборе.

Тем временем Жухлицкий, Ризер и Ганскау уединились в кабинете хозяина дома. Аркадий Борисович познакомил своих гостей и все время, пока те для начала осторожно прощупывали друг друга, ограничивался односложными фразами и ничего не значащими междометиями. Ризер грел в ладонях бокал с шампанским и, как всегда в подобных случаях, прикидывался добродушным простаком. Ганскау же курил папиросу за папиросой, остро шурился сквозь дым и говорил не спеша, взвешивая каждое слово.

Но вот капитан решительно вскинул голову, и голос его сразу стал сух и официален.

— Господа, Временное правительство автономной Сибири уполномочило меня встретиться с наиболее влиятельными из здравомыслящих граждан Сибири с тем, чтобы в конфиденциальной беседе разъяснить его цели и политику, а также обратиться к ним с некоторыми предложениями делового и патриотического характера.

«Держится вполне уверенно,— отметил про себя Жухлицкий.— Видимо, некая сила за ним все же стоит».

— Господа! — чеканил между тем Ганскау.— Прежде всего, наше Временное правительство, представляющее партию социалистов-революционеров, является противником реставрации монархии в любой ее форме. Наша цель — полнейшее отделение

Сибири от Европейской России и создание демократической республики на основе частного предпринимательства.

Простоватое выражение постепенно сошло с лица Ризера — он слушал уже с явной заинтересованностью, хотя и не без некоторого сомнения.

— Господа, мы с вами деловые люди, поэтому будем говорить прямо. Обстановка, сложившаяся в последние месяцы в Сибири и на Дальнем Востоке, дьявольски сложна и серьезна. Как вы знаете, мятеж чехословацкого корпуса в мае привел к упразднению Советов в Челябинске, Новониколаевске, Мариинске, Омске и ряде других мест, где восстановлены прежние учреждения местной власти. В июне чехословаки взяли Красноярск, Ачинск, а ныне успешно продвигаются к Иркутску. Если Иркутск падет, в чем я нисколько не сомневаюсь, большевики, вероятно, постараются задержать их в районе байкальских туннелей, но это им вряд ли удастся. Судьба Верхнеудинска и Читы предрешена. Добавлю, что в конце июня восстали и те чехословацкие части, которые были во Владивостоке. Находящиеся там военные корабли и десантные части японцев и англичан поддержали их. Местный Совет низложен. Пребывавшее до того в Харбине наше Временное правительство тотчас выехало во Владивосток.

Советы в Сибири накануне падения.

Тут капитан отпил шампанского, закурил и строго оглядел своих собеседников. В интересах того важного и довольно—таки щекотливого дела, с которым он был послан к сибирским миллионщикам, Ганскау вовсе не собирался вселять в них безмятежную уверенность в завтрашнем дне.

— Да, господа, Советы в Сибири накануне падения, но... только внешне, господа, только внешне! Становая жила их далеко не перебита. Обольщаться не следует ни в коем случае. Самоуспокоенность сейчас вредна, более того — губельна! Чехословаки — фактор сугубо временный, это люди на колесах: сегодня они здесь, а завтра сядут в свои теплушки и — поминай как звали. Большевики же, господа, отсидевшись по лесам, с еще большим ожесточением вернутся дорезать тех, кого не успели пустить в расход раньше!

Трудно сказать, произвели слова капитана желаемый эффект или нет,— Ризер, сложив на животе толстенькие ручки, благодушно кивал время от времени, словно ему сообщали нечто очень приятное, а Аркадий же Борисович слушал хоть и весьма внимательно, но как бы только из вежливости.

— Большевиков, господа, голыми руками не возьмешь,— жестко заявил Ганскау.— Они сильны, дерутся фанатично, надо отдать им должное, и число их сторонников уменьшается отнюдь не катастрофически. Вот вам факты!

Капитан встал и, твердо вышагивая по кабинету, бросал короткие энергичные фразы, словно докладывал на военном совете:

— Декабрь семнадцатого года. Иркутск — восстание юнкеров. Подавлено... Забайкалье — атаман Семенов берет Борзю и Оловянную, но в марте Лазо разбивает его под Даурией и вынуждает отступить в Маньчжурию...

Январь—февраль восемнадцатого года. Красноярский уезд, Камень, Ишим, Тобольск, Омск — всюду вооруженные выступления. Безжалостно подавлены... Март. Амурская область, Благовещенск — на борьбу с Советами поднялся атаман Гамов. Разбит и ушел в Сахалин, на китайский берег Амура... Апрель. Опять Забайкалье — атаман Семенов вторично берет Оловянную и движется на Читу.

Снова разбит и снова бежит в Маньчжурию... Май. Приморье, станции Пограничная и Гродеково — в борьбу вступают отряды полковника Орлова и главы уссурийского казачества атамана Калмыкова. Увы, фортуна к ним оказалась не более благосклонной, чем к вышеупомянутым двум атаманам... Полагаю, господа, все ясно?

Ганскау стоял посреди комнаты, засунув руки в карманы брюк, не спеша покачивался с пятки на носок.

— Ясно—то ясно,— брюзгливо отозвался Ризер.— Не ясно только, на что вы—то надеетесь, господа Временное правительство?

Жухлицкий молчал, нервно поигрывая пальцами.

Ганскау понимающе усмехнулся: толстосумы приуныли, однако окончательно запугивать их в его расчет не входило.

— На что надеемся? — Капитан помолчал, словно пребывая в некоторой нерешительности. — Хорошо, я кое-что вам открою. Но попрошу учесть — все это сугубо между нами. Не для разглашения, боже упаси!

Он боком присел на подлокотник и, несколько наклоняясь вперед, заговорил хоть и не понижая голоса, но с тем оттенком глубокой доверительности, который один уже стоит нелегального шепота:

— Господа, высадка наших союзников во Владивостоке — это не половина и даже не четверть дела. Это, господа, лишь самое начало больших событий мирового ранга.

Я сегодня уже имел честь говорить Аркадию Борисовичу о том, что американцы заключили с нами концессию на разработку естественных богатств Сибири. Аналогичные предложения имеются от Японии и других наших союзников. Вы, конечно, понимаете: заключая с нами подобные экономического характера договоры, которые в наш век связывают гораздо крепче, чем ветхозаветные клятвы на крови, союзники наши тем самым втягиваются в настоящую, серьезную войну против Советов. Надо быть слепым, чтобы не видеть этого...

Золотопромышленники переглянулись и дальнейшее выслушали с неподдельным вниманием.

— Господа, прекрасно известный вам Никита Тимофеевич Ожогин является ныне финансово-экономическим советником нашего правительства, поэтому данные предложения исходят главным образом от него. Генеральная мысль такова: антибольшевистский фронт в Сибири и на Дальнем Востоке слишком разношерстен, отсюда — распыление сил и средств. Солидные деловые люди не могут позволить себе финансировать деятельность всех и вся — то есть и Гамова, и Семенова, и Калмыкова, и Колчака.

Из этих несомненно искренне преданных нашей общей идее сил требуется выбрать наиболее respectable и соответствующую западным понятиям о демократии. Таковыми к востоку от Урала являемся мы, и никто больше.

Ну, попробуйте на минуту вообразить себе, господа, какого-нибудь нашего полудикого атамана беседующим на светском рауте с дипломатическим представителем Запада. Чего можно дожидаться от эдакого предводителя дикой дивизии, кроме матов и рассуждений о способах разрубания противника до пояса? Именно поэтому Никита Тимофеевич Ожогин призывает авангард делового мира Сибири примкнуть к Временному правительству автономной Сибири. Я понимаю: вы люди, умеющие считать деньги и не любящие ими рисковать. Во-первых, вам нужны гарантии. Поэтому я говорю прямо: наши предложения подкреплены мощью и авторитетом крупнейших держав мира, что прямо вытекает из вышесказанного. Во-вторых, что вы выигрываете из сотрудничества с нами? После того, как союзники распространят свое влияние вплоть до Урала, а это неизбежно, сюда устремятся иностранные капиталисты. Чтобы выжить, не дать себя подмять, местные деловые люди должны быть объединены и близки к правительственным кругам. Всего этого достигнете тем, что поддержите нас сейчас, в этот рекреационный период. В свою очередь, и мы заинтересованы: кроме финансовой поддержки с вашей стороны, мы будем иметь и политическую выгоду — поддержка деловых кругов Сибири придаст нам вес в глазах союзников и сделает их более сговорчивыми при заключении соответствующих договоров. Господа, я взываю к вашему благоразумию! Можно, конечно, попробовать пересидеть это страшное время, стиснув зубы и вцепившись в свой мешок с деньгами. Но в таком случае никто не даст гарантию, что завтра вы не лишитесь мешка вместе с руками!

— Какой ужас, — пробормотал Франц Давидович с отчетливо ощутимой иронией.

Как ни странно, Ганскау на это лишь усмехнулся добродушно и подлил всем шампанского.

Жухлицкий задумался. Можно было по-разному оценивать сказанное капитаном, но заинтересованность Японии, Англии и Америки в богатствах Сибири отрицать невозможно. Как знать, может, Сибири действительно суждена некая самостоятельность?.. Да, тут есть над чем поломать голову. Время и в самом деле такое, что если пойти с нужной карты, в конечном счете можно иметь баснословный выигрыш. А риск? Что ж, риск был и в самом сегодняшнем его положении, положении золотопромышленника, живущего на территории, в той или иной мере контролируемой Советами... Убедительно прозвучала и ссылка на Ожогина. Жухлицкий чуть усмехнулся: «финансово-экономический советник правительства»,— ишь какого титула удостоился старый лис!.. Впрочем, спешить не стоит. Надо дать капитану уклончивый ответ, а там видно будет. Подумав так, Аркадий Борисович поднялся.

— ...И особое место в нашей программе занимает пункт о предоставлении Владивостоку режима порто-франко,— внушительно говорил Ганскау Ризеру.— Это ли не доказывает заботу правительства о процветании частного предпринимательства?..

— Николай Николаевич, прошу прощения! — перебил его Жухлицкий.— Предмет нашей беседы столь увлекателен, что можно проговорить до рассвета. А между тем нас ожидает скромный ужин. Заранее приношу свои извинения — чем богаты, тем и рады!..

* * *

Аркадий Борисович давно уже не чувствовал себя так легко и свободно, как в этот вечер. Одетый под молодца старателя — огненная шелковая рубаха, атласные шаровары, кушак длиной аршинов в семь,— он являл за столом образец гостеприимного хозяина, такого таежного хлебосола. Рядом с ним — будто и впрямь хозяйка — сидела Сашенька в платье из тканной золотом парчи,— на бархатистых щечках темный румянец; моргнет невзначай — ресницы так и брызжут черными стрелами.

У Дарьи Перфильевны одежды, кроме той, в чем приехала, с собой не оказалось. Пришлось ей с великими усилиями натягивать Сашенькин сарафан. А вот на ноги она ничего подходящего так и не смогла подобрать,— осталась в дорожных сапогах. Сапоги отдали почистить казаку, а тот перестарался — густо смазал их, болван, дегтем. И теперь Дарья Перфильевна сидела за столом, втянув живот аж до хребта и благоухая, как тележная ось. Могучая грудь золотопромышленницы так распирала тесный сарафан, что старик Ризер, пока не пообвык немного, все косился на Дарью Перфильевну с некоторым смятением.

Капитан Ганскау, военный человек, со своей потрепанной гимнастеркой не расстался, в ней и вышел к столу. Отдохнувший, побритый, он выглядел немного лучше, чем утром, хотя голодный блеск не совсем исчез из его глаз. Увидев стол, белоснежный, уставленный снедью, залитый ярким светом восемнадцати свечей, он на миг замер, нервно дернул головой и лишь после этого пошел знакомиться и с армейским шиком расшаркиваться перед дамами.

Что и говорить, стол был богат. Салаты, грибки соленые, сохатиные губы с моченой брусничкой, олени языки горячие и холодные, медвежьи лапы и медвежий окорок, зайчатина, тушенная в бруснике, холодцы разные. Мясо вареное, жареное, печеное на углях по-охотничьи и тушенное с кедровыми орешками. Таймень вареный и жареный, уха из хариусков, соленые сырки из озера Баунт, по вкусу не уступающие лучшему байкальскому омулю, икра сига, кетовая, паюсная, зернистая... Пламя свечей играло и дробилось в разноцветных графинах с голубичными, черничными, малиновыми настойками. Довоенная смирновская водка в граненых бутылках стояла рядом с ямайским ромом, мадерой, французскими коньяками и шампанскими.

Аркадий Борисович, хозяин всего этого великолепия, провозглашал тосты один за другим: за гостей и — отдельно — за дам, за Колчака и Семенова, за Америку и Японию, за Русско-Азиатский банк и — с улыбкой обратись в сторону Ганскау — за главу Временного правительства автономной Сибири господина Дербера.

Францу Давидовичу, сколь он ни отнекивался, пришлось—таки выпить под курочку в бульоне, поданную ему в особицу, пару рюмок смирновской. Он раздумячился, захмелел, но держаться оттого стал с осторожностью двойной.

— Идея автономной Сибири далеко не нова,— говорил ему между тем Ганскау, держа в руке наполненную рюмку.— Но именно нам... господину Дерберу принадлежит мысль строить ее по образцу и подобию Северо—Американских штатов... Сибирский промышленник не может остаться равнодушным к такому... такой... Словом, не может—с!

— Конечно, конечно! — поддакнул Ризер, постреливая замаслившимися глазками в сторону Дарьи Перфильевны; Жухлицкий как раз что—то говорил, нагибаясь к самому ее уху, а она смешливо косила в ответ горячим глазом.

— Сибирь — золотое дно,— с хмельным упорством гнул свое капитан.— Но... рабочие руки... где их взять? Наш мужик ленив... бун—н—нтовать — это он может!.. Пороть? Изрядно порото, а толку—с? Бесполезно, господа... это в крови... Мы заселим Сибирь... черт возьми!.., н—нем—цами... фр—р—ранцузами, алг...англичанами! Пусть едут — земли хватит! Объединенные Штаты Сибири — к—како—во—с?!

— Да—да,— торопливо соглашался Ризер.

Аркадий Борисович поймал его взгляд, брошенный на Мухловничиху. «Ишь заиграл, хомяк! — усмехнувшись про себя, подумал он.— Старый и больной. А сам небось женьшень да панты пудами жрет. Я тебе покажу старого и больного!» Он тут же наполнил водкой самую вместительную рюмку и, протягивая ее Францу Давидовичу, провозгласил:

— За легендарный золотой Орон! Чтоб он и дальше процветал под крылом нашей прекрасной Дарьи Перфильевны!

— Какой там — легендарный... — промямлил Ризер, нехотя принимая рюмку.— Где ему до вашего Чирокана...

— Франц Давидович, положи руку на сердце, сколько вы за все годы взяли металла с Оронских приисков?— доверительно наклонясь к Ризеру, но достаточно громко спросил Жухлицкий.— Говорят, тонн семь—восемь наберется, а?

За столом разом наступило молчание. Дарья Перфильевна даже как—то с лица спала при этих словах. У капитана мигом протрезвели глаза. Только Сашенька продолжала улыбаться как ни в чем не бывало.

Ризер мигом поперхнулся и машинально вылил в себя водку. Жухлицкий тут же наполнил ему рюмку снова и, взмахнув рукой, рявкнул:

— Пей до дна! Пей до дна!

Капитан, явно намеревавшийся что—то спросить, замер с раскрытым ртом, помедлил и тоже хрипло скомандовал:

— Пей до дна!

Ризер, так и не успевший опомниться, выпил и эту рюмку. Поперхнулся, сморщился и слепо зашарил вилкой над столом.

— Господа офиц... Виноват! Дамы и господа!— Ганскау, пошатываясь, встал.— Будучи послан с благороднейшей и... труднейшей мис—с—сией... посетив прииски Еннисейской губернии... Бодайбо... претерпев в пути тяготы и опасности н—немыслимые... будучи сердечно принятым нашим дорогим... многоув—важаемым Жулх... Аркадием Борисовичем... э—э... Словом, за его здоровье, дамы и господа!

За столом опять стало шумно. Все потянулись чокаться с Аркадием Борисовичем, заговорили враз, смеясь и перебивая друг друга. Вдруг стало весело, хорошо и уютно. Сашенька откуда—то извлекла цыганскую утеху — гитару.

Аркадий Борисович, встав и тряхнув смоляными кудрями, приготовился грянуть в пол подметками хромовых своих сапог, но Франц Давидович остановил его. Поймав за кушак, он усадил Жухлицкого рядом.

— Вот ты говоришь, Аркадий, да и все говорят: Орон, Орон, а ведь никто же его не знает,— с пьяной грустью сказал Ризер.— Уезжаю вот... и не верится...

Ганскау — истинный офицер, судя по ухваткам,— чертом вертелся перед женщинами: в одной руке гитара, в другой — рюмка.

— Старинный гусарский р—романс! — объявил он, выговаривая слегка в нос, и ударил по струнам.

— ...Аркадий, дорогой мой,— говорил Ризер, печально покачивая головой.— Сейчас вот вспоминаю прожитую жизнь, и... понимаешь, не верится: неужели это был я... неужели все это было со мной... Совсем разные люди — я сейчас и тот... те... тогда...

Ганскау, заломив бровь, терзал гитару.

...В среднем возрасте, солидный, остроумен и речист,
только на руку нечист.

— Помилуйте, Франц Давидович, какие ваши годы,— утешал Жухлицкий.

Ароматный дым сигары и коньяк, напиток старый,
унесли его мечты—ы—ы от житейской суеты.

Ганскау подавал себя умело, с блеском. Замыгнанная его гимнастерка уже не имела сейчас ровным счетом никакого значения — все заслонили томные, печальные глаза на истрадавшемся его лице.

Если ты меня не любишь и сегодня не прибудешь,
завтра рано поутру—у—у...

— ...Я служил тогда приказчиком в ювелирном магазине Глюка и Дюмо... в Чите...— Франц Давидович усмехнулся растроганно и прищурил глаза, словно бы вглядывался куда-то в даль невообразимую.— Молодой, бойкий... и неглуп... А недалеко от нас имелось заведение,— тут тебе и кабак, и бардак, и кабинеты отдельные... Госпожа Халатникова, помнится, хозяйкой была... Н—не помню... ну, бог с ней... Туда и старатели захаживали, и варнаки разные, и перекупщики, контрабандисты... В карты играли до утра, порой и ножи в ход пускали... Но мадам Халатникова с полицией дружила, иначе в ее деле и нельзя... Днем у нее кормили дешево, я все время там обедал и ужинал. И вот однажды слышу разговор за соседним столом... Пьян он был сильно... Но я поверил, сам не знаю, почему, но поверил. Сразу!..

И лихая колесница понесла его, как птица,
по булыжной мостово—ой вдоль по улице Тверской.

Тут капитан ловко сделал паузу и подхватил со стола бокал.

— Дамы и господа, прошу...

Дарья Перфильевна отвечала глубоким грудным смехом. Сашенькин сарафан на ней успел уже сдать по швам в нескольких местах.

— ...Две недели я его поил,— продолжал Ризер.— Под конец и сам уж начал спиваться. И все—таки он рассказал... А я к тому времени дошел до того, что готов был пытаться его, если б понадобилось!— заявил он с пьяной откровенностью.— Сам сейчас удивляюсь, почему я в него так вцепился... Рассказал, все рассказал, а как же... Помню, ночью... он сидит, вспоминает... а я записываю...

...Укатил к себе домой, и с тех пор к ней ни ногой!

«А ведь старик—то побаивается будущего,— подумал вдруг Жухлицкий.— Не зря его потянуло на прошлое. Боится, боится!»

— ...Та зима у меня прошла в сплошных хлопотах.

В канцелярии окружного ревизора частных золотых промыслов Забайкальской области на меня пальцами показывали: с ума—де сошел,— даль, глушь, даже варнаки оттуда бегут, про золото в тех краях и слышать не слышали... Но отвод я получил. Нанял людей, продуктами запасся... Денег не хватало... Перед Глюком и Дюмо, поверишь ли, на коленях стоял. Дали—таки они займы — под людоедские проценты, но дали... И вот весной, едва только прошел лед, отплыли мы на плоту вниз по Витиму... Ах, боже мой, боже мой, Аркадий, многое я перевидел в грешной своей жизни, но тот день... те дни стоят до сей поры перед глазами. И не забуду я этого до смерти...

И что—то вдруг появилось в его лице, голосе такое, отчего потускнели и уплыли вдаль огоньки свечей, шаткий от вина голос Гансау, грудное воркованье Мухловниковой и звонкий Сашенькин смех,— воочию, как бы сквозь разрыв в тумане, видел Жухлицкий стекленеющие от быстроты струи Витима, небо, холодное и синее, и взбитые облака снеговой белизны, и лучистое неяркое солнце в вышине, и неуклюжий, крепко сколоченный плот, исчезающий в слепящей речной дали...

Витим был так пугающе могуч и широк, столь стремителен был его бег, что казался он одушевленным. И могло ли, могло ли показаться, померещиться иное, если день за днем тянулась по берегам все та же пустынная и тихая тайга, если безжизненны были и нагие камни береговых скал, встающих от воды до неба, если от восхода до заката глаз, утомленный блеском водной ряби, не наткался ни на людское жилье, ни на логово зверя и если один только Витим, неукротимый, полный неистраченных сил и свирепой жизни, не замирая ни на миг, несся с победным ревом сквозь это царство немоты и оцепенения, будя, будоража его и расталкивая стальными—блещущими плечами тяжкие громады хребтов.

Ризер пролеживал целыми днями, бездумно глядя на проплывающие берега, на речные струи, на чуждое своей холодной синевой небо с застывшими на нем облаками. Все, на что бы ни обращался взгляд, подавляло своим размахом, безлюдьем и чем—то еще, что против воли навевало мысли о суетности, тщетности, скоротечности земного бытия. Он впервые видел такую нескончаемую массу воды, стремящуюся сквозь такие же нескончаемые леса и хребты, бесконечно сменяющие друг друга. Разве можно было сравнивать эту величавую дикую воду с тихой Ингодой или сонным озером Кенон в окрестностях Читы, а тамошние лысые сопки с вот этими горами, в каждой из которых чудился исполинский дремлющий зверь. Как давний полузабытый сон приходили на память слова бродяги из читинского кабака о золоте в ключе Орон, что течет в далекой полуночной стране тунгусов, и не оставалось уже прежней веры в них. Страшно становилось от одной мысли, что придется искать среди бесконечной мешанины лесов и гор какую—то речушку, жить там и добывать золото. Какое там золото,— дай бог хоть живым выбраться обратно!

Вяло удивлялся порой, глядя на своих работников, крепких бородатых мужиков из ссыльных поселенцев, бесхитростных, привычных к любому труду. Только от великой нужды согласились они податься черт знает куда с этим толстеньким вертлявым человечком. Они хозяйственно похаживали по плоту, словно по собственному заднему двору, гоняли чай, усевшись кружком вокруг костра, разложенного на земляном пятачке посреди плота. Позевывая, мочились в воду. Что—то строгали и рубили, ловили на «мышьяк» тупорылых саженных тайменей, а после, почмокивая и поахивая, хлебали уху. «Ах, едрена кошка, благодать—то, благодать—то...— говорили меж собой.— И рыбы тебе, и лесу... Вот где жить—то...» Не в пример Ризеру, они несколько не сомневались в золоте. Они видели, что велика и щедра полуночная земля, что и погибель, и любое мыслимое богатство можно найти здесь в любом месте. Удивлялись про себя: зачем надо плыть все дальше и дальше? Чем плоше, к примеру, вот это место, где сейчас проплываем, чем лежащие дальше? Поди, и здесь можно добыть золото, коли копнуть поглубже...

Ризер отворачивался с беззвучным воем и едва не сучил ногами от отчаяния: такой же дикарской верой в богатство дальних земель опьянил, заморочил его тот проклятый варнак. «Гляди, гляди,— едва удерживая падающую на стол хмельную головушку, кричал варнак,

хихикал и тыкал пальцем в бегущего по стене таракана (дело было дома у Ризера, в неопрятной и заваленной хламом комнате).— Вот такие самородки я там горстями собирал, — ей-богу, не брешу!»

— ...Веришь ли, Аркадий, я бы повернул тогда назад, да плот против течения не погонишь. Хочешь не хочешь, а плыви дальше...

К вечеру восьмого дня показались на пологом берегу по правую руку развалины огромных рубленых строений,— о них тоже говорил тот варнак: «Место то нехорошее... Одни толкуют, что казачий острог, мол, в старину там стоял, а другие сказывают — дом тунгусского бога и крепость ихняя...»

К берегу причалили чуть ниже развалин,— не хотелось, ох как не хотелось Ризеру располагаться на ночь так близко к ним, но место уж больно удобное.

Пока мужики разводили костер, заготовливали впрок дрова, он, еле двигая до немоты затекшими ногами, направился к развалинам. На всякий случай прихватил ружье.

Тишина стояла неземная. На всем вокруг лежала печать забвения, тлена, дряхлой старины — серые стволы лиственниц словно осыпаны холодным пеплом, трава под ногами, казалось, готова — только тронь пальцем — рассыпаться тонким зеленым прахом, и даже Витим смирял буйный свой нрав и не тек, а как бы крался мимо этого места. Розоватый вечерний свет лишь углублял панихидное уныние.

Ризер медленно обошел вокруг развалин, не решаясь пока углубляться в них. Дом тунгусского бога... Похоже, что когда-то это была все-таки крепость. Трухлявые замшелые стены все еще высоки, местами угадывались остатки как бы сторожевых башен, широкие проломы в стенах, возможно, служили в свое время воротами. В пазах между бревнами щетинилась чахлая травка, ползали какие-то жучки...

Он некоторое время стоял, озираясь и прислушиваясь (тишина, только у плота перекликались мужики), потом взял ружье и осторожно шагнул в пролом. Шагнул и тут же почему-то подумал, что не следовало, пожалуй, этого делать. Нет, страшного внутри ничего не оказалось — громоздились все те же трухлявые, выбеленные дождями и временем бревенчатые развалины, росла блеклая сорная трава. Только глухо как-то вдруг стало, словно ни с того ни с сего заложило уши, и свет как бы померк, стал неживым.

Поколебавшись, Ризер двинулся вперед. Некоторое время он бродил среди развалин, нашел под стеной ржавый граненый ствол кремневого ружья, через десяток шагов набрел на разбитый старательский лоток и ножные кандалы. Он стоял, пытаясь разобрать полустертые знаки, выбитые на браслете кандалов, когда почувствовал на себе чей-то взгляд. Вмиг обезумев от страха, он с диким криком рванулся с места, за что-то зашпунулся и, уже падая, успел подумать: «Пропал... конец мне...»

Однако уходил миг за мигом, а на него никто не нападал, и вокруг стояла все та же глухая тишина. Ризер приоткрыл один глаз, другой, затем приподнял голову, огляделся. Никого поблизости не было; ружье его лежало рядом. Он встал и снова всем нутром, всей кожей своей ощутил тот же взгляд. Еле сдерживая раздражающий горло крик, он повел головой и увидел... Возвышаясь над кучей истлевшего тряпья, под которым белели кости, на Ризера насмешливо глядел голый череп.

Прошло, наверно, не менее минуты, прежде чем Ризер с шумом перевел дыхание, вытер рукавом пот и, отчаянно труся, решился сделать несколько шагов, чтобы получше рассмотреть мертвого стража таежных развалин. Кем он был при жизни, этот навсегда успокоившийся тут человек,— беглым каторжником, неудачливым старателем или просто варнаком, охочим до темного фарта? И был ли он убит, от голода ли умер или болезнь его доконала? И сколько уже долгих лет сидит он здесь, привалившись к дряхлеющей вместе с ним стене, вытянув вперед ноги и ухмыляясь вечным водам Витима?.. Додумать Ризер не успел — ему вдруг показалось, что скелет слабо шевельнулся. Стараясь не поворачиваться спиной, Ризер перевалился через трухлявую стену и рысцой ударился прочь...

Уже лет двадцать с лишним спустя Ризеру как-то привелось побывать в отделении Русского географического общества в Чите,— он хотел увидеть некоторые путевые записки

князя Петра Алексеевича Кропоткина, прошедшего в 1866 году с экспедицией от Ленских приисков до Читы. Непоседливый князь взялся тогда на средства тамошних золотопромышленников разведать скотопрогонный тракт через нехоженые и немеряные пространства северных земель, но главным образом вел различные ученые наблюдения,— Ризеру стало известно, что он открыл и в своих дневниках описал места проявления золота. Среди множества пыльных бумаг, выданных консерватором музея Восточно-Сибирского отдела Географического общества, ему случайно попались списки со старинных грамот Сибирского приказа времен еще царя Алексея Михайловича. В них—то Ризер и вычитал, что в 1638 году казачий атаман Максимко Перфильев, будучи на государственной службе на Лене—реке, отправил служилого казака Онциферова вверх по Витиму — «приводить тунгусов под царскую высокую руку и иметь с них ясак». Пришед на Витим—реку, Онциферов под Витимским порогом, возле устья Муки—реки, встретил тунгуса и взял его в аманаты³. «Тунгусы,— читал далее Ризер,— под государственной рукой быть не похотели и бой открыли. Казаки их побили и ясак взяли два сорок соболей». От тунгусов Онциферов узнал, что где—то выше по Витиму живет улусами князь Батога, избы у него великие и рубленые, много скота и мягкой рухляди.

— ...И подумал я тогда про эти развалины — кто знает, может, здесь—то и стоял улус князя Батоги... А может, это казаки срубили острог... Дело, Аркадий, темное, давнее. В тайге иной раз и не на такое набредают... Но то все случилось много позже, а в тот вечер я долго сидел у костра...

Да, не до сна ему было в ту ночь, как, впрочем, и во все другие, пока плыли по великой таежной реке. Нежданно для себя самого он обнаружил вдруг, что посещение жутковатого обиталища сидящего скелета всколыхнуло в нем почти угасшие надежды. Кандалы, старательский лоток — нет, все это очутилось тут неспроста...

Вокруг тлеющей нодьи⁴ похрапывали мужики. Положив морды на лапы, вполуха дремали две зверовые собаки. Время от времени слышно было, как в полутьме поодаль возятся и кричат караульщики: о здешних местах шла прочная худая слава, а варначьи же тропы издавна пролегли вдоль рек.

Тот читинский бродяга, помнится, толковал о порогах, что лежат в одном дне пути от развалин вниз по Витиму. А верстах в семидесяти ниже тех порогов с правой стороны в Витим впадает ключ Орон, тот самый, золотой, заветный. «В устье его скала приметная стоит,— объяснял бродяга.— Огромная, белая... верхушка у нее вроде маковки на церквах». — «А как те пороги узнать?» — допытывался Ризер. Бродяга в ответ глумливо захохотал, будто залаял. «Не пужайся, друг—золотнишник... гав—гав... Ты их с чем другим не спутаешь... Узнаешь сразу... На всю жизнь запомнишь, гав—гав!»

Сильно смущали Ризера эти неведомые пороги, что запоминаются на всю жизнь. Он вспоминал, и в синем скупом пламени нодьи вновь перед ним прыгало и кривлялось пьяное лицо варнака, а в ночном шуме реки слышался лающий смех...

Пороги возвестили о себе нарастающим ревом. Еще издали заметили: оба берега встают черными стенами, и впереди та же черная стена — река, видно, круто сворачивала,— а в темной горловине на всей шири взъерошенной побелевшей реки что—то бьется предсмертно, мечется, ревет в сотни плоток, и словно бы дымится река, как в крещенские морозы. Но недосуг было долго разглядывать,— побледневшие мужики, торопливо перекрестившись, схватились за шесты. Едва успели приготовиться, как плот, с каждым мигом разгоняя все шибче, втянуло в горловину меж скал. Мелко заморосило, пахнуло в лицо холодом, и все подавил собой тяжкий гул. Плот замер, дернулся и вдруг разом как бы ушел из—под ног,— кипящая вода ударила через весь плот.

3 Аманат — заложник (*устар.*).

4 Нодья — охотничий костер из двух бревен.

Стоя на четвереньках и намертво вцепившись в какие-то веревки, оглохший, мокрый Ризер видел слепо вытаращенными глазами только одно — плот, то и дело уходя под воду, неудержимо несется на скалу, а она надвигается, нависает, заслоняет собой весь белый свет. И на краткий миг невозможное предстало взору: вся эта каменная громада, двинувшись вдруг с места и неся по облакам, в страшной высоте, черную изморозь вершинных деревьев, стала падать навстречу. Конец! Ризер закрыл глаза.

«Бей вправо!» — отчаянно завизжали сзади.

Когда Ризер открыл глаза, черной стены перед ним уже не было, — течение, отпрянув от скалы, увлекало их на середину реки, — прямо туда, где, вспоров бушующую толщу воды, в пене и брызгах грозно щерилась темная гряда. Как замороженный, забыв обо всем, уставился Ризер на хищный каменный оскал. Плот перекосило, вздернуло на дыбы.

«Бей влева—а...»

Что-то ударило снизу, хрустнуло, промелькнула у самых глаз необъятная темная глыбища, — и гряда осталась позади. Плот снова неся на отвесные скалы, но теперь уже левого берега...

В себя он пришел, когда плыли по странно тихой воде. Неистовый рев, который, казалось, заполнял недавно весь мир, с каждым мигом делался глуше, как уходящая за горизонт гроза.

Ризер сидел на середине плота. Ошалело моргая, вертел головой, отплевывался и не мог никак отплеваться — все мерещилась на губах ледяная шипучая пена.

Изот Кушнарев, среди мужиков самый старший по возрасту, с грохотом бросил шест и размашисто перекрестился.

«Пронесло... слава тебе, господи!»

Он вытер подолом рубахи мокрое лицо, покосился на мелко подрагивающего Ризера и хмуро усмехнулся: «Ну, мил-человек, по гроб жизни не видел бы я тебя с твоим окаянным золотом!..»

Однако ни Кушнарев с мужиками, ни тем паче Ризер не знали тогда, как небывало им повезло. Лишь много позже, когда на круто набирающие силу Оронские прииски гоняли десятки плотов за навигацию и почти половина из них обыкновенно разбивалась на этих порогах, — вот только тогда Ризер сполна изведаль запоздалый страх, и по ночам на него опять и опять падала та самая черная скала, несущая по облакам, в страшной высоте, черную изморозь вершинных деревьев...

Незадолго до обеда другого дня вдали из речного марева встала скала в устье Орона. Она и вправду была приметна, — сияя белизной, церковной колокольной поднималась над темной зеленью горбатого мыса.

Всей своей ширью, быстро и ровно шел Витим среди тишины летнего дня. Окрестные горы округлыми сизыми волнами спускались к его берегам. Безлюдье, вековая сонная оцепенелость, лишь слепящие блики пляшут на воде...

Едва плот, обогнув мыс, вышел в створ Орона, с прибрежного песка оторопело вскочил кто-то. Подумали сначала — медведь, а потом разобрались — человек. Он застыл раскорячкой, пялясь на надвигающийся из-под солнца плот, потом едва не на четвереньках от поспешности ввинтился в прибрежные заросли и пропал бесследно.

«Да-а, господин купец, — покрутив головой, сказал дядя Изот. — Видать, у твоего золотишка-то уже есть хозяин...»

— ...Да, Аркадий, это было самое страшное, — сказал Ризер с грустной и обращенной внутрь себя улыбкой. — Оказывается, Орон уже долгие годы служил чем-то вроде банка для многих поколений беглых. Они запасались там золотом на дальнейший путь в Россию. Мне пришлось добывать его с боем...

Ризер не вдавался в подробности. Он не стал вспоминать о том, как стоял на коленях перед своими мужиками и униженно, со слезами, едва не целуя их сапоги, просил постоять за его дело, обещал им золотые горы; как трое его людей погибли в схватке с беглыми; как ему пришлось потом вступить в переговоры с варнаками и выпустить их со всем, что они успели

настараться; как, уже вернувшись в Читу, он жестоко надул своих мужиков,— ему были нужны деньги, много денег, чтобы рассчитаться с долгами и по-настоящему начать дело. И уж конечно, он умолчал о том, чего и сам старался никогда не вспоминать,— как после долгих мытарств дядя Изот поймал его на читинской улице и принародно плюнул в лицо... Страхом и унижением начиналось его миллионное дело. Страхом же оно и кончалось. А унижение... О, унижения ему еще предстоят. Никому не дано провидеть свое будущее, и это благо, иначе Франц Давидович узрел бы замызганный номер харбинской гостиницы и себя самого, стоящего на табурете, с головой, продетой в петлю. Нет, не знает пока Ризер страшный свой конец, не знает и на многое еще надеется... Тупая боль мягко, вкрадчиво сжала сердце, отпустила и вернулась снова.

— Франц Давидович, вам плохо? — встревожился Жухлицкий, увидев, как вмиг побелело его лицо.

— Сейчас... пройдет,— хрипло сказал Ризер, закрывая глаза.— Это... это так. Трудно, знаешь, Аркадий, уезжать... Ведь вся... вся жизнь здесь...

ГЛАВА 11

Почти год, как безвозвратно ушло веселье из большого дома Жухлицкого,— сел Аркадий Борисович, как в осаду: ни сам никуда, ни к себе никого (старатели, разные артельщики и прочий люд, конечно, не в счет). Пафнутьевна переживала это по-своему: нет гостей — нет в доме праздника, нет тех хлопот и суеты, окунаясь в которые стряпуха начинала чувствовать себя лицом значительным и даже как бы одним из первых в доме.

Лет двадцать назад со своим мужем, которого все звали просто Савкой, попала она в Золотую тайгу. Богатства большого не нажили, но без куска хлеба тоже не сидели. Но потом случилась беда — деда Савку, тогда еще жилистого работающего мужика, придавило в шурфе. Убить, правда, не убило, но покалечило крепко. От старательства пришлось отказаться. Так и попали они в число челяди дома Жухлицких в Баргузине — дед Савка сторожем при амбарах, а Пафнутьевна стряпухой. Пафнутьевна смолоду готовила отменно — научилась, живучи сначала у господ в Иркутске, а потом в Чите у купеческого брата Бутина. Правда, старший Жухлицкий до еды был охотник невеликий,— болен нутром, а потому обходился все больше сухариками да жиденьким бульоном; и гостей принимал редко когда, но старанье Пафнутьевны заметил и мастерство ее ценил. После смерти отца Аркадий Борисович забрал стряпуху с мужем к себе на Чирокан. И уж тут ее талант развернулся по-настоящему. Аркадий Борисович, мужчина здоровый, любящий поесть и выпить и хлебосол на всю тайгу известный, часто говаривал: «Ну, голубушка Пафнутьевна, будут сегодня люди, покажи себя!» И Пафнутьевна показывала. Ах, какие яства она готовила! Какими, черт возьми, пирогами, окороками, домашними колбасами, напитками и разными сладкими заедками потчевала она горных исправников, богачей золотопромышленников, господ ревизоров из Читы и Иркутска, гостей из самого Петербурга и даже из заморских стран — Америки, Англии, Бельгии! Что говорить: немалой считалось честью погостевать в хлебосольном доме Аркадия Борисовича и отведать чудо-стряпни Пафнутьевны... И каково же после этого жить в притихшем, настороженном доме, слыша, как уныло побрехивают по вечерам собаки да все ходит и ходит у себя наверху без сна Аркадий Борисович...

И вдруг — гости! Ожила, помолодела Пафнутьевна, воспряла духом. Веселая суета, как встарь, поднялась на кухне. Три проворные девки под строгим присмотром Пафнутьевны резали и крошили, тушили и варили. Сама же Пафнутьевна взялась за самое что ни на есть главное — она готовила тесто для кулебяки по-варшавски. Да, дело это было и впрямь тонкое, деликатное. Три четверти фунта дрожжей тщательно растирались с тремя ложками сахара, пока не получалось что-то вроде жидкой патоки. Затем на трех стаканах теплого молока замешивалось крутое тесто, строго отмерялась соль. А самое трудное — требовалось постепенно, маленькими кусочками вмесить в это тесто целых три фунта сливочного масла.

Раскрасневшаяся Пуфнутьевна, засучив рукава, мяла тесто, раскатывала его, снова терпеливо скатывала в колобок и еще успевала разговаривать с примостившимися на конце стола дедом Савкой и Васькой Разгильдяевым. Купецкий Сын и дед Савка играли в дурачка; проигравшего били картами по носу. Рядом стоял штоф водки, выданный игрокам раздобрившейся Пафнутьевной. Купецкий Сын время от времени жмурился, крутил головой, втягивая жилковатым носом сладкий кухонный чай.

— У-у... — страстно мычал он. — А-аа... ну-у...

— А мы его по пупам, твоего короля, по пупам! — азартно хихикал дед Савка, обнажая беззубые десны. — Во как, во как!

— Да будете вы, идола, слушать дальше или нет? — сердилась Пафнутьевна, налегая в сердцах на тесто.

— А мы, матушка, того... — поспешно отвечал дед Савка. — Того-этого...

— Так, значит, вот, — продолжала Пафнутьевна. — Пошла я третьего дня по воду. А рано-рано еще, солнышко краешек самый кажет. Подхожу я это к реке — батюшки! — она и плывет!

— Ну-у? — дед Савка как замахнулся картой, так и замер. — Так и плывет?

— Кто плывет-то? — с усилием ворочая языком, спросил Купецкий Сын, прослушавший начало рассказа. — Баба, что ль? Голая, а? Гы-ы...

— Дурак ты, — спокойно сказала Пафнутьевна. — Русалка плывет. Волосы золотые так и плывут поверх воды, так и плывут. И гребень на виду.

— Гребень? — опять не понял Купецкий Сын. — Какой гребень? Как у петуха?

— Тю-ю! — засмеялась Пафнутьевна. — Сказал! Вот уж истинно: ни тити-мити, ни боже мой!

— Ты играй, играй, — спохватился дед Савка. — Тебе ходить.

Купецкий Сын проиграл и на этот раз. Дед Савка радостно захихикал, взял пухлую колоду засаленных карт и со смачным хеканьем, с оттяжкой принялся бить Ваську по носу.

— Легче, легче, — гнусаво ныл Купецкий Сын. — Изверг, креста на тебе нет.

Девки побросали ухваты, поварешки и, радостно визжа, столпились вокруг.

— Ой, что делают, что делают! — вскрикивала Пафнутьевна, кудахтала от смеха и вытирала слезы цветастым оборчатый передником.

— Ну, будя с тебя! — сжалился наконец дед Савка и разлил по стаканчикам водку. — На-ко, попей, горемычный, да утешься.

Васька, шмыгая припухшим носом, выпил, помотал башкой и снова начал сдавать карты.

Пафнутьевна между тем внесла все масло в тесто, и вышло оно пухлое, как здоровенькое дитя, пышное, золотистое да на вид легкое. Загляденье!

Купецкий Сын засопел, заурчал, глотая слюни.

— Э-эх, мать честная, и едят же люди... Дед, налей еще по одной.

— Глаза б мои на вас не глядели! — больше по привычке запричитала Пафнутьевна. — Да когда ж вы ею, проклятой, нальетесь по самые уши? Знать уж, не бросите окаянную, пока не ляжете повдоль лавки!

— Тш... Пафнутьевна, — урезонивал ее Васька, поднимая растопыренную грязную пятерню. — Тш... Не бого-буль... хуль... хульствуй!

— Чаю бы лучше попили, — сказала уже с порога Пафнутьевна. — С монпасеей!..

— Чай — не водка, много не выпьешь, — кротко заметил дед Савка, выпил и умиротворенно вздохнул. — Ох, как будто господь по душе босиком прошел!

Помедлив, он снова взялся за штоф.

— Слышь, Васька, что я тебе скажу... — он поманил к себе пальцем.

— Ну?

— Наш-то, слышь, опять за старое взялся. Видать, назад все поворачивается, как при царе было.

— То ись? — Васька вытаращил глаза. — А что?

— А то... Хозяин—то опять стал в холодную запереть, вот оно как.
— Да ну? Кого?
— Казаки сказывали, двоих, мол, восточников да одного орокона—охотника.
— Ах ты...— Васька незатейливо выругался.— Ништо его, душегуба, не берет! Любая власть по ему.

— Да уж так оно, видно, и есть,— согласился дед Савка.— Деньги, они, брат,— сила!
— Э—эх,— тоскливо выдохнул Купецкий Сын.— А ведь и я бы мог, да, видать, нет во мне той оси.

— Какой еще оси, Вася?
— Ну, вроде как у телеги. Сломалась, положим, ось — и колеса набок, понял? Так и во мне.

Васька с отвращением выцедил водку, передернулся, понюхал корочку.

— Страшно мне, дед, понимаешь? Как подумаю, что, мол, встану раз и всем скажу, кто я есть на самом—то деле...— Васька, пошатываясь, встал, выпятил живот.— Встану и скажу: вот он, мол, я—то, глядите! — так, веришь ли, коленки начинают подгибаться и никакой в них силы не остается. И в груди так и сосет, так и сосет. Эх, не поймешь ты! — с отчаянием вскричал Васька.

— Верно, не пойму я,— смиренно помаргивая, согласился дед Савка.— Да ты сядь, Вася, сядь, миленький.

Появилась запыхавшаяся Пафнутьевна, шикнула на девок, и тотчас духовитые горячие пироги на подносах, огромные миски, накрытые чистыми полотенцами, объемистые гусятницы с выпуклыми крышками друг за другом поплыли из кухни.

Тихо, тоскливо стало вдруг в кухне. За окном густела синь.

— Ты погоди, Вася,— ласково проговорил дед Савка.— Вот придет Пафнутьевна, тожно и нам немного перепадет.— Дед кряхтя полез из—за стола.— Ох—хо—хо, пойти ворота запереть...

Оставшись один, Васька некоторое время сидел, пригорюнясь на свечку. Спыхватившись, воровато оглянулся, выпил дедову стопку, налил еще, выпил, издал звук, схожий с коротким собачьим брехом, пошарил глазами, ища, чем бы закусить. Внимание его привлекло тесто для кулебяки по—варшавски.

— Б—баргузинский мужичок вырос на морозе,— с хитрецей произнес Васька и погрозил тесту пальцем.— Л—летом ходит за сохой, а зимой в об—бозе... Вот старатели идут...— Он с трудом поднялся и стал медленно обходить стол; его сильно пошатывало на все стороны.— В—вот старатели идут,— упрямо повторил он, нависая над тестом,— золото считают... б—баргузинских любят баб... а мужики н—не знают...

Тут он попытался погрузить в тесто пятерню, по промахнулся и едва не упал.

— Вон ты как! — по лицу Васьки прошла лукавая ухмылка.— Н—ну тожно я тебя иначе...

Он расставил пошире ноги, вцепился обеими руками в край стола и, хищно пригнувшись, тщательно нацелился зубами на тесто.

— ...И в—ваших нет! — Васька ткнулся лицом в тесто.

— Ой!— вскричала сзади вошедшая девка.— Дядь Вась, что это ты делаешь—то?

— Изыди вон! — невнятно проговорил Купецкий Сын и медленно повернулся к ней.

Девка завизжала и выскочила из кухни.

— Ничего, вкусна пища,— одобрил Васька.

Дед Савка как вошел, так и прирос сапогами к полу с вытаращенными глазами и с поднятой рукой — хотел, видать, перекреститься, да не донес до лба сложенные в щепоть пальцы.

— Ос—споди...— выдавил он наконец из себя.— Никак ты живой, Василий? Бож—же мой, а я уж думал, что у тебя вся мозга наружу вылезла...

— М—м... иди попробуй тесто,— облизывая пальцы, промычал Васька.— Царская пища! Дед Савка так и подпрыгнул.

— Ах, варнак! — взвизгнул он.— Каторжная твоя душа, что выдумал! Да ведь Пафнутьевна за это тесто нас с тобой живьем съест! Лахарик несчастный!

Старик резво подбежал к столу, кое-как привел в порядок разрытое тесто и, как муравей дохлую муху, потащил обмякшего, хихикающего Ваську в темный угол за печкой.

— Ах, ах, вот несчастье-то,— по-бабьи причитал он.— Тут шуба лежит, ложись-ка да спи, чтобы Пафнутьевна тебя не увидела... Ах, варнак, как есть варнак...

Часа через два принес черт Жухлицкого. Ступив через порог, Аркадий Борисович остановился, наострил уши, прищурился и повел глазами. В кухне в этот час случилась одна девка,— заметив хозяина, она бестолково засуетилась, роняя ложки и вилки. Аркадий Борисович милостиво махнул рукой, сделал шаг и снова стал, прислушиваясь. Оглядел темные углы — так и есть: справа, между печью и стеной, кто-то лежал. Жухлицкий подошел, нагнулся, вглядываясь, и невольно содрогнулся, да и было от чего — на полу в полумраке запечья смутно виднелась совершенно нелюдская харя — вся в каких-то жутких белых струпьях и шишках. Аркадия Борисовича в первый миг даже оторопь взяла.

— Эт-т-то что за сволочь здесь валяется? — невольно делая шаг назад, спросил он.

Девка хихикнула в своем углу, побрякивая кастрюлями.

— Ну? — повысил голос Аркадий Борисович.— Тебя спрашивают, кобыла гладкая!

— Ой, да Купецкий Сын это,— затараторила девка, всплескивая руками.— Набрался винища да возьми и залезь прямо мордой в тесто да давай его жрать. Так сырым его жрать, так и жрать... перемазался весь, чавкает, как чушка... Ой, смеху-то!.. Уж Пафнутьевна так серчала, так серчала... А он завалился и спать, и спать себе без задних ног!..

— Тесто выбросить свиньям! Ступай скажи казакам, чтобы пришли выкинуть отсюда эту тварь!.. Хотя постой, я его сам сейчас.

Аркадий Борисович пинками привел Купецкого Сына в какое-то подобие чувства, мощной дланью ухватил его за ворот, и только Васькины подошвы мелькнули на пороге.

С грохотом скатившись с крыльца, Купецкий Сын окончательно пришел в себя. В темноте над головой гремел хозяйский бас:

— Раскидайка! Соболь! Кусь его! Взы! Ату! Лю-лю-лю!.. Вжикнуло по проволоке кольцо, брякнули цепи,— налетели псы, задыхаясь от ярости, и пошли катать Ваську, полосовать на нем одежонку.

— Ой-ой-ой! — заорал Купецкий Сын благим матом.— Спасите, люди добрые!

На шум выскочил из сторожки дед Савка. Закричал не хуже Васьки, втерся в кучу малу, пихаясь ногами и прикладом берданки, отогнал собак. Подслеповато моргая, разглядел на крыльце хозяина.

— Эх, Аркадий Борисович,— сказал укоризненно.— Нехорошо так-то. Живого человека едва собакам не скормил...

— Молчи, старый пень! — лениво отозвался сверху Жухлицкий.— Гляжу, много понимать стал!.. А Ваську вон со двора!

Распорядившись таким образом, Аркадий Борисович ушел в дом продолжать веселье.

Ахая и причитая, дед Савка помог Ваське подняться и, бережно придерживая, повел в сторожку.

— Эж отделали-то тебя! — поражался старик, усаживая Ваську на лавку.— Мыслимое ли дело — такие волкодавы! Хорошо, без злобы они тебя рвали. Вконец озверел хозяин!

Купецкий Сын всхлипывал, сморкался, жалостливо разглядывал исцарапанные руки; сморщив лицо и охая, ощупывал бока.

— И одежонку всю кончали! — удивленным басом сказал он вдруг.— Шкуру-то ладно — заживет, а одежонку-то, поди, уж не зачинить теперь.

— Что уж тут зачинять, Вася,— вздохнул дед Савка.— Помойся-ка да ложись спать, ужо утром какую ни на есть одежонку схлопочем.

Дед полил теплой воды из чумазого медного чайника,— Васька смыл с лица тесто, сопя от боли, повыбирал засохшие комки из усов и бороды.

Уложив Ваську на лавку, дед погасил свечу и сел у окошка. Скоро он начал позевывать, ронять бессильно голову, а немного погодя сипло присвистнул пару раз и пошел выводить носом рулады и трели.

А Ваське не спалось. Что-то огромное и жаркое мучительно ворочалось в груди, силилось вырваться. Купецкий Сын дрожал, как в лихорадке, облизывал сухие губы, негромко рычал, сдерживая рвущийся из груди вой.

С отчаяния Васька принялся вспоминать молитвы на сон грядущий. «Ослаби, остави, прости, боже,— бормотал он, извлекая из закоулков памяти полузабытые слова,— прегрешения наши, вольные и невольные, яже в слове и в деле, яже в ведении и в неведении, яже во дни и в нощи, яже во уме и в помышлении... вся нам прости, яко благ и человеколюбец... Ненавидящих и обидящих нас прости, господи... Благотворящим благосотвори... Братьям и сродникам нашим даруй яже ко спасению прощения и жизнь вечную...»

Нет, не помогала молитва, и покой не шел к нему.

Удивительное дело — что, казалось бы, случилось особенного? Разве мало его били? Не люлюкали и не тыкали пальцами? И не приходилось ли после того Ваське кривляться и паясничать, веселя своих же обидчиков? «Ваське, ему ништо,— смеясь, говорили старатели. — Эй, Купецкий Сын, представь комедь,— подвигай ушами! Видал? Гы-ы...» А какие жестокие шутки, и не по злобе, а единственно от скуки придумывали порой старатели! Другой бы, кажись, схватил топор да порешил мучителей и сам бы загинал. А Васька — нет. Все знали — не обидчив Васька, Васька все стерпит. И сам он привык к этому. А вот поди ж ты...

Ужас от никчемно прожитой жизни не в первый раз приходил к Ваське. Больше всего он боялся этих пустынных ночных часов, когда отходили хмель и пьяная беспечность и впереди разверзалась как бы черная яма. Безнадежность, пустота... Эх, так и наложил бы на себя руки. Одно удерживало — опять-таки выпивка, а если не было ее под боком — то желание дожить до утра, до новой опять же выпивки. Но сегодня что-то непонятное, незнакомое росло во взбаламученной душе Купецкого Сына. В душевной темноте сторожки снова и снова вставал перед глазами Жухлицкий, хмельной, сытый, и рывал его глумливый голос, науськивая собак. И еще одно почему-то всплывало из глубин памяти: ясный весенний день на Иерусалимском кладбище в Иркутске; приземистая часовня за кустами черемухи, увешанной плакучими белыми соцветиями; сам он, испуганный, маленький, и мать во вдовьем черном платье, никнувшая над могильной плитой; пышные облака, торжественно плывущие в вышине... Величавая безмятежность в небе, тихая печаль на земле. «...Со святыми упокой, Христе, душу раба твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная...» Два видения наплывали друг на друга, словно в чистой воде таежного родника расходилась грязь. Боль рождалась от всего этого, боль и что-то еще, чего Васька не понимал и понять не пытался.

Купецкий Сын приподнялся, прислушался.

Храпел и посвистывал дед Савка, шумела за окошком непогода. Ваське не лежалось. Он встал, ощупью обулся и, осторожно приоткрыв дверь, выскользнул наружу. Ветер сразу запустил холодные свои лапы в прорехи, капли нешибкого дождя покатались за ворот. Поеживаясь, Васька сделал два-три шага, и тотчас, набегая, загремела цепь. Купецкий Сын отскочил, прижался к забору. Смутно видимая в темноте одна из давешних собачиц зарычала, безуспешно пытаясь дотянуться до него. Негромко гавкнув пару раз и поворчав, примолкла, но уходить, видно, не собиралась. Стоило Ваське шевельнуться, она начинала предостерегающе рычать. Купецкий Сын оказался в ловушке — он стоял на единственном крохотном пятачке, где его не могли достать клыки свирепой твари. Ни вернуться обратно в сторожку, ни до ворот дойти...

Дождь усиливался, косые его струи, подхваченные ветром, секли нещадно. Васька приплясывал, кутался в свои лохмотья и, ощеряясь по-волчьи, косился на освещенные окна на втором этаже хозяйского дома — там, в гостиной, продолжался пир.

Время шло, и Купецкому Сыну становилось невмоготу. Зловредный псище так и не отходил от Васьки. Видно, даже собаке была до чертиков скучна караульная служба в ненастную эту ночь. Изредка она шумно отряхивала со своей шубы дождевую влагу, с прискуливанием зевала,— клыки ее жутковато проблескивали сквозь тьму.

«Эдак и замерзнуть недолго,— с тоской подумал Васька.— Эх, была не была, мое достоинство при мне, а фамилия Разгильдяев!» Он сделал крохотный шаг, прижимаясь спиной к забору. Замер. Пес издал неясный звук,— что-то вроде хихиканья.

— Шарик, Шарик... Ты же хороший, умный... — лстиво приговаривал Васька, крадась, как тать в ночи.— Ты уж пропусти меня, господин собачка, ладно? А я тебе в другой раз гостинец принесу... Сиди, миленький, отдыхай... не изволь беспокоиться по пустякам...

Вот наконец и ворота. Купецкий Сын протянул руку, нащупал засов. Тяжелая кованая задвижка не поддавалась. Пес громыхнул цепью. Ваську прошиб пот. С усилием отчаяния навалился он — засов нехотя пошел с места. Предчувствуя всем хребтом остроту безжалостных клыков, Васька рванул калитку и без памяти вывалился на улицу.

Только отмахнув пару сотен саженей, Васька опомнился и перешел на шаг. Тихо и уныло было вокруг. Смутно различимые дома, черные заборы и прочие ветхие строения — все словно съезжилось под холодным ночным дождем. И ни звука кругом — только шелест падающей воды. Васька шел торопливо, втянув голову в плечи и крест-накрест обхватив себя руками. Он даже не задумывался, куда идет,— шел лишь бы идти. И только очутившись перед темным длинным домом, спохватился, глянул вокруг осмысленными глазами, узнавая это место. Некоторое время он стоял в нерешительности, потом, пробормотав: «Перст божий», — перелез через жердовые ворота.

На стук отозвались не сразу. Васька топтался на расшатанном крыльце, нетерпеливо поглядывал по сторонам. «А может, того... не надо бы сюда?» — мелькнула мысль, но тут в сенях послышались осторожные шаги.

— Кто? — глуховато спросили из-за двери.

— Это я... Васька Разгильдяев. По делу я...

За дверью помедлили, потом брякнула задвижка.

— Входи,— знакомый голос Турлай был хрипловат и не слишком ласков.— Что, дня, что ли, не хватает?

— Так, видишь, того... — бормотал Васька, пробираясь вслед за хозяином.— Невтерпеж мне... Душа горит...

Войдя в комнату, Турлай вздул свечу, предупредил:

— Говори потише, люди у меня.

В избе крепко пахло конской сбруей. У печки и у стены спали два человека.

— Кто это у тебя, Захар Тарасыч? — шепотом спросил Купецкий Сын.

— Приезжие... Ну, что хотел-то?

— С жалобой я до тебя, Захар Тарасыч, как ты есть у нас новая власть. Кровопивец Жухлицкий нынче рвал меня собаками у себя во дворе...

Турлай оглядел Ваську, покачал головой:

— Ловко они тебя...

— Только ты уж не серчай, что среди ночи побеспокоил,— Васька шмыгнул носом.— Может, в другое время я ничего, глядишь, не скажу... А сейчас обида во мне. Живого человека собаками... это как понять-то, а? Не-ет, брат, нынче не старое время, не вдруг-то запугаешь людей, а? Турлай вздохнул, непонятно глядя на Ваську прищуренными глазами.

— Вот я и говорю... — Васька заторопился, глотая слова.— А еще в подвале у него ороchon и двое восточников... Дед Савка сам видел их... Голодом морит, про золото пытается... И еще говорит, что власть, мол, к старому переменится... Ты мне скажи, может такое быть, а?

— Погоди, погоди, никто тебя не гонит,— Турлай оживился и, навалившись грудью на стол, приблизил к Ваське озабоченное лицо.— Про тех, что в подвале, это точно, не брешешь?

— Вот те крест,— Васька перекрестился.— Дед Савка своими глазами их видел.

— Ну, Аркадий Борисыч, язви ты в душу, теперь ты не отвертись! — Турлай пристукнул кулаком по столу, но тотчас спохватился и с опаской глянул на спящих,— Самоуправство и нарушение революционной законности!

За это мы его прижмем, и крепко прижмем! Прими, Василий, благодарность от Таежного Совета. Классовая сознательность в тебе, выходит, просыпается, это хорошо.

Васька кашлянул, заморгал покрасневшими веками.

— Только, Захар Тарасыч, того... не говори, что это я сказал... — попросил он.

— Это как же так? — нахмурился Турлай.— Только я обрадовался, что в тебе заговорила сознательность рабочего человека, а ты уж и в кусты? Труса празднуешь? Эх, нехорошо, нехорошо, Василий!

— Так ведь того... — Васька потупился, зябко повел плечами.— Сам знаешь, сколько я натерпелся в жизни-то... Небось научишься опаске... А Жухлицкий, он ведь такой... шутить не любит, скор на расправу...

— Ну, господь с тобой,— недовольно сказал Турлай.— Вижу, не созрел ты еще до революционных наших дел... Что еще? Говори, не стесняйся.

Васька нерешительно облизал сухие губы, глазки у него беспокойно забегали, ускользая от сурового вопрошающего взгляда председателя Таежного Совета.

— Да вроде того... — промямлил он.— Того-этого... нечего мне больше говорить-то. Все как будто сказал...

— Н-ну, ладно,— Турлай, вздохнув, поднялся.— Все так все. Возьми-ка в сенях старую борчатку да ложись вон у печки. Если что надумаешь, утром скажешь...

Но ничего больше Купецкий Сын говорить не стал. Едва дождавшись серенького ненастного рассвета, он тихонько встал и, прихватив хозяйскую борчатку («После как-нибудь занесу, Турлаю-то она сейчас ни к чему, а мне сгодится...»), крадучись покинул избу. Выйдя на улицу, он зашагал деловито и споро — ночные страхи кончились, и Васька теперь знал, куда идти и что делать.

На окраине он стукнул в окошко вросшей в землю кособоким избушки. Хозяин, безответный, тихий мужичок Кузьма Кушаков, открыл тотчас. Узнав Ваську, засуетился, захихикал.

— Василь Галактионыч, благодетель ты наш,— приговаривал он, распахивая перед ним дверь.— Гостюшка желанный!..

Вот ведь как оно вдруг повернулось: непутевый, затурканный Васька — здравствуйте! — для кого-то оказался благодетелем, Галактионычем!.. Его мигом стало не узнать — в избу он вошел фертом: бороденка кверху, без спросу одолженная борчатка молодецки наброшена на плечи, поступь важная, медлительная.

— Василиса, глянь, кто пришел! — шумел Кузьма.— Попотчуй дорогого гостя!

Из-за ситцевой занавески вышла Василиса, посмотрела на Купецкого Сына и взялась за щеки.

— Охти-мнешеньки, кто ж так тебя разделал, Василий Галактионыч?

— Это — ништо. Ты бы на супротивников моих поглядела, те куда страшней меня разделаны,— браво отвечал Купецкий Сын, опускаясь на лавку и оглядывая Василису замаслившимися глазками.

Баба она была еще видная из себя — лицо смуглое, чернобровое, сама в теле. Раньше она хаживала в «мамках». Старатели — целая артель или одиночки, собравшись человек по десять — двадцать,— нанимали расторопную бабенку стирать, стряпать, обшивать. Их-то и называли «мамками», а старателей, при них состоящих,— «сынками». Иные «мамки» были куда как проворны — не только варили-штопали, но и поторговывали самогоном, за золотишко оделяли любовью изголодавшихся по бабам старателей, а под конец выходили замуж за кого-нибудь из своих «сынков» и при немалых деньгах укатывали в «жилуху». Да, находились и такие шустрячки. Василиса же была баба бесхитростная, жила так: есть — хорошо, нету — тоже неплохо. Горемык и неудачников жалела. И дожалелась: обезлюдели

прииски, оскудела тайга, и осталась Василиса при тихом, пришибленном Кузьме Кушакове, который и в лучшие—то времена еле пробавлялся заготовкой дров, сена и рыбной ловлей.

К золотому делу Кузьма сноровки не имел, только и радости, что иногда сдаст случайно намытое, «подъемное», золото.

Васька для приличия посидел, солидно кашлянул и, подмигнув,— Василисе:

— Того—этого, там чего—нибудь не осталось?

— Есть маленько, есть,— Василиса метнулась за печку и тотчас вынесла берестяной туюсок. — Ну—ну! — Кузьма, смеясь, покрутил головой.— Я и то думал, куда она зелье спрятала. Все ведь обшарил, а в туюсок заглянуть ума не хватило.

— Баба, она хитра и коварна есть как змея,— важно изрек Купецкий Сын, поднимая палец.— Об этом и в библии сказано... Ну, друг Кузьма, примем помолясь! — Перекрестился истово и поднес ко рту грязную фарфоровую чашечку с отбитым краем; выпив, крикнул, понюхал корочку.

Выпили и Кузьма с Василисой. Разлили еще по разу, и спирт кончился.

— Нету, что ли? — спросил Купецкий Сын, заглядывая в туюсок.— Вот беда—то... Ладно, завтра еще принесу, ждите.

— И мучки бы немножко,— попросила Василиса, умильно поглядывая на Ваську.— А уж я б тогда такими шаньгами угостила!..

— Можно и мучки,— согласился Васька, обшаривая глазами стол.— А пожевать у тебя, хозяйка, есть что? Мне ить в тайгу идти...

Уже изрядно захмелевший Кузьма подвигал бровями и, глядя в стол, с усилием произнес:

— Ж—жарь, Василиса, рыбу.

— Так вся, родимый, вся,— пригорюнясь, отвечала та.

— Вот всю и жарь!

— Так нету ее, нету...

— Нету? — Кузьма рассердился и стукнул кулаком по столу.— Повешу!..

— За что, родимый?

— 3—за шею!

Чуть побурчав еще, Кузьма начал клевать носом, засыпать прямо за столом. Жалостливо причитая, Василиса отвела его за занавеску и уложила спать.

Купецкий Сын махнул рукой, поднялся из—за стола.

— А ну вас! Даже угостить толком не можете человека. Вот вчерась в гостях у Жухлицкого я такую штуку ел! Вроде сырого теста, ан не то, совсем даже не то. Пища — я те дам!..

— Ты уж не сердчай, Василий Галактионч,— упрашивала Василиса, выходя следом за ним в сени.— Сам знаешь, Кузьма—то у меня сла—а—бенький... А исть сейчас вовсе нечего...

— Ладно, ладно, не вой,— Купецкий Сын потрепал бабу по пышному плечу, притянул к себе.— Даст бог, принесу мучицы и кой—чего еще...

— П равда, Василий Галактионч? — обрадовалась Василиса.— Ты уж не забывай нас...

Купецкий Сын меж тем подталкивал бабу к куче тряпья в темном углу сеней.

— Ой, что это ты выдумал!..— зашептала Василиса, однако послушно отступая шаг за шагом.— А вдруг да мой выйдет?..

Купецкий Сын молча повалил ее на мягкий ворох, и в тот же миг пронзительный визг потряс ветхие сени, так что сверху посыпалась соломенная труха. Какой—то пес вывернулся из—под Василисы, на бегу тяпнул Ваську за ногу и черной молнией шаркнул в дверь.

— Василиса! — невнятно донеслось из избы.— Чтой—то ты собаку забижаешь?

Купецкий Сын, ошалело вертя головой, пень пнем сидел на полу. Василиса всхлипывая и беззвучно хохоча, тянула его за рукав.

— Господи, вот страху!.. Ступай, Василий Галактионч... Заходи, буду ждать...

— Тьфу! — стуча зубами, выдавил из себя Васька, встал, болезненно охнул.— Всех собак в Чирокане порешу!

Выйдя на улицу, он сердито огляделся. Да, захирел Чирокан. То ли было в прежние—то годы! Скажем, в такое вот время народу на улицах уже полно. Тянулись обозы, скакали верховые, перекликались бабы, мычали коровы, гуляки, еще с вечера засевшие за столы, только—только начинали расходиться. Столица Золотой тайги, сказать по правде, ночей и не знала: вечер здесь как бы сразу переходил в утро. А сейчас? Улицы безлюдны. Тишина. Во дворах ни души. Только кое—где беличьими хвостами встают столбы дыма. А в отдаленье, выше по реке, мертво и черно застыла драга... Васька вздохнул, запахнулся плотнее в борчатку,— знобкой сыростью тянуло с реки,— и прихрамывая зашагал в сторону от поселка.

Углубившись в тайгу, Купецкий Сын пошел с опаской,— то и дело, прячась за деревьями, воровски глядел назад, прислушивался. Но молчалива и пустынна была тайга, только ветер высоко над головой монотонно шипел в хвое... И Васька, успокоившись, шел дальше.

Уж близ полудня Купецкий Сын, изрядно попетляв по тайге, дошел до вершины угрюмого скалистого распадка. Здесь он в последний раз оглянулся и круто свернул за выступающую углом скалу. Перед ним чернел вход в старую, заброшенную штольню, жиденько дымил небольшой костер. Купецкий Сын остановился, посвистел. Немного спустя в темном зеве штольни что—то шевельнулось и раздался ответный свист.

ГЛАВА 12

Еще года три—четыре назад появление нового человека на улицах Чирокана осталось бы незамеченным вовсе, ибо столица Золотой тайги перевидела на своем веку немало разношерстного люда. Изможденные каторжники в кандалах, исправники с лающими голосами, бедовые варнаки, пьяные и трезвые старатели, горные инженеры, красавицы в мехах, тороватые на вид купцы, алчные промышленники, хитроглазые спиртоносы, прижимистые и себе на уме крестьяне, хмурые мастеровые — все они метельным хороводом прошумели, промелькнули здесь, среди кривобоких развалюх, наскоро срубленных казарм, добротных домов, амбаров, и схлынули, как полая вода, после которой остаются по берегам измочаленные стволы, ломаные коряги, сухая ветошь... Было, все было, а теперь вот едва не весь Чирокан из подслеповатых окон, из—за заборов, а то и прямо выскакивая на улицу, пялил глаза на долговязого молодого человека в потрепанном мундирчике горного инженера, вышагивающего по главной улице поселка.

Побреживали псы, чуя незнакомого человека. Встречные — и стар, и млад — останавливались и, чуть ступив в сторону, здоровались, а после продолжительно глядели вслед. Звереву было не по себе в перекрестье десятков глаз, хоть и понимал он то тревожное и жгучее любопытство, что одолевало этих людей: чем, добром или злом, обернется приезд незнакомца в таежный край?

Алексей и сам с интересом поглядывал на встречных, отмечая невеселость и землистые лица взрослых, бледность детишек, глазастеньких от худобы... Избы пребывали в ветхости и разоре. Заборы, пристройки во многих местах разломаны — видно, пошли на дрова. Не менее половины домов пустовало, и они производили тягостное впечатление: что—то от черепа было в них, глядящих на мир пустыми глазницами выбитых окон.

И однако жизнь, хоть и не ахти какая, влачилась извечным своим порядком. Топились печи, хозяйки выносили помои, мужики кололи дрова. Кое—где во дворах виднелись смиренные, понурые лошаденки, простуженно мычали коровы, костлявые, с подлысевшей шкурой. Даже свинью с поросенком увидел Зверев,— угловатая, с беспородным длинным рылом, она лежала, привалившись к забору, подставив лучам утреннего солнца пыльное брюхо со множеством длинных тощих сосков. Обилие их приводило единственного поросенка в страшное возбуждение. Не зная, какой из сосков предпочесть, он хватался то за один, то за другой, визжа и суетясь. Зверев невольно рассмеялся.

— Ну, брат, по хваткам ты настоящий промышленник.

Поднимаясь по каменистому переулку к дому Жухлицкого, Алексей вспомнил утренний, за скудным завтраком, разговор с Турлаем. Председатель Таежного Совета поведал о ночном разговоре с Купецким Сыном и под конец, прихлебывая жиденький чай, заметил: «Осмелел что-то наш Аркаша. В последнее-то время норовил все руками Кудрина обстрипывать делишки, а теперь, гляди-ка, сам взялся. С чего бы это вдруг?»

«Возможно, рассчитывает, что на задержание китайцев как иностранных подданных Совет посмотрит сквозь пальцы»,— предположил Зверев.

«Ну, коли так, то напрасно,— решительно сказал Турлай.— Трудящегося человека, будь он турок, немец или китаец, мы в обиду не дадим. На то и революция наша зовется пролетарской».

К Жухлицкому он не пошел.

«Попозже приду, надо кое-что приготовить,— таинственно усмехаясь, объяснил он.— А ты, Платоныч, до меня разговор про арестантов не заводи. Аркашу, его треба скрасть, иначе не возьмешь...»

Жухлицкий еще спал, когда ему доложили о приходе горного инженера. Пир в честь гостей закончился под утро, поэтому до Аркадия Борисовича не сразу дошло, о ком ему говорят.

— Инженер? Какой еще инженер? — зевая, спросил он и вдруг, вспомнив, разом подхватился с постели.

— Язви их в душу, точно сговорились все! — чертыхался он сквозь зубы, не попадая в рукава халата.— Скажи, сейчас буду,— отрывисто буркнул он казаку.

Хмуро поглядывая на себя в зеркало, Аркадий Борисович растер лицо одеколоном, причесался, энергично подвигал бровями. Да, на здоровье обижаться не приходилось: и выпил он накануне крепко, и поспал каких-нибудь три часа, а смотри — лицо свежее. Взгляд снисходительно тяжел и чуть рассеян, как и приличествует такому человеку. К месту, а главное — ко времени был и атласный стеганный халат, малиновый, с золотом, с золотым же витым поясом и кистями. Аркадий Борисович остался собой доволен и, посвистывая, уверенным шагом направился в гостиную.

Когда Жухлицкий, яркий и величественный, словно индийский раджа, вырос в распахнувшихся как бы само собой дверях, Зверев успел подумать только: «Явление Христа народу!» — а в следующий миг раскатистый бас хозяина безраздельно заполнил гостиную.

— С прибытием, дорогой и уважаемый гость! — провозгласил он, подступая с радушно раскрытой ладонью.

Зверев поднялся ему навстречу, чуть помедлив, подал руку. Роста они оказались одинакового, но Жухлицкий — плотнее, шире в плечах.

«Молод и несолиден для серьезного дела»,— отметил про себя Аркадий Борисович и, сердечно улыбаясь, представился:

— Жухлицкий.

— Окружной инженер Зверев.

Жухлицкий издал звук, словно ему что-то попало в дыхательное горло. Улыбка еще некоторое время держалась на его лице, а затем слиняла.

— Боже! — хрипло проговорил он, делая шаг назад.— Так это вы и есть?

— Да, я и есть,— заверил инженер и пристально посмотрел на Жухлицкого.— Вижу, вы меня не ждали.

— А я вас представлял себе совсем другим,— тихо, словно про себя, сказал Жухлицкий.— Ваш предшественник был значительно старше.

— Молодость — единственный из всех человеческих недостатков, который изживается непременно,— усмехнулся Алексей.— Впрочем, может, я нехстати?

— Что вы, напротив! Прошу в кабинет,— Аркадий Борисович овладел собой совершенно, и радужная улыбка снова вошла на его лице.

— Признаться, ваш приезд — полнейшая для нас неожиданность,— он остановился в дверях, пропуская гостя вперед.— В такое, знаете ли, время...

— Что поделаешь, служба...

В кабинете Зверев подал Жухлицкому свои документы, подождал, пока тот просмотрит их.

«Провалиться бы этому Ганскау! — злился Жухлицкий, делая вид, будто внимательно просматривает бумаги.— Сбил с толку: человек Колчака, человек Дербера! Вот тебе и человек! Видно, Бурундук дело предлагал...»

— Да,— вздохнул он, возвращая документы.— Похвастаться нам нечем. Прииски закрыты, работы почти не ведутся...— Он сокрушенно развел руками, спохватился:— Что ж это мы стоим-то! Садитесь, садитесь, Алексей Платонович! ...Позвольте... э-э... один вопросик,— осторожно проговорил Жухлицкий, когда уселись в кресла.

— Извольте.

— Вы... марксист? — и торопливо добавил: — Поверьте, это не праздное любопытство.

— Понимаю,— сухо сказал Зверев.— Хоть это и не относится к делу, но... извольте: я не марксист.

— Прекрасно! Очень не хотелось бы предвзятости с вашей стороны,— извиняющимся тоном пояснил Жухлицкий.— Как промышленник, предприниматель, я не одобряю политику новой власти. Эксплуататор!— Аркадий Борисович горьковато хохотнул.— Помилуйте, да какой же я эксплуататор? Одно дело, скажем, конфетная фабрика Неганова или Торговый дом «Виневич и Давидович» в Верхнеудинске или пуще того — огромные заводы на Урале и в Петербурге. Но золотые промыслы в тайге — о, это уже совсем, совсем другое. Вы не хуже меня знаете, как это происходило. Золото мы сдавали в Иркутске, причем по цене ниже его курсовой стоимости, получая при этом отнюдь не деньги, а для начала всего лишь ассигновки. Дальше золото в слитках везли в Петербург на Монетный двор. И тут уж воля твоя — либо жди почти год, пока придет из столицы полный расчет, либо, если тебе нужны «живые» деньги, учитывай ассигновки у местных дисконтеров — с большим, понятно, для себя убытком. Прибавьте к этому еще отчисления Кабинету Его Величества, обыкновенные налоги на содержание стражи, зимовий, дорог, попудные и подесятинные платы... Хорошо! — воскликнул хозяин Чирокана, предупреждая возражение Зверева.— Понимаю вас — что, мол, за промышленник, если он не жалуется; как говорят картежники: «Плачь больше — карта слезу любит». Но вот вам свежий пример. В последние три-четыре года в связи с войной вздорожали предметы первой необходимости, из-за чего нам пришлось увеличить плату за золото до четырех и пяти рублей за золотник. А казна по-прежнему платила промышленнику немногим больше четырех рублей,— четыре тридцать пять, если уж быть совсем точным. Вот вам и эксплуататор, вот вам и барыши!

Ничего нового Жухлицкий не открыл, но Зверев выслушал его с терпением. Даже вздохнул сочувственно, когда тот закончил.

— Да... Однако чем объяснить ваше упорное молчание в ответ на все мои запросы?

— Алексей Платонович, побойтесь бога! — воскликнул Жухлицкий с дружелюбной укоризной.— Ведь я уже имел честь писать вам об этом. Право, других объяснений у меня нет.

— Допустим. А как тогда прикажете понимать весьма... м-мм... странный характер ваших отчетных сведений?

Жухлицкий улыбнулся грустно и понимающе, немного подумал.

— Видите ли... я пошел на это сознательно, вынужден был пойти.

— Как, на прямой подлог? Ну, знаете ли...

— Да-а...— Жухлицкий вздохнул.— Я уже упоминал о вздорожании продуктов, это раз. Второе — я потратил весьма значительную сумму на так называемый «заем свободы», объявленный правительством Керенского на продолжение войны до победного конца. Как патриот и гражданин я, согласитесь, не мог поступить иначе. Далее — очень много рабочих за последние год-два покинули тайгу. Желая им помочь, особенно многодетным семьям, я не считался с затратами,— подчеркнул он.— В результате всего этого обнаружилось, что концы с концами у меня не сходятся. Выход был один, и я пошел, как вы изволили выразиться, на

прямой подлог. Давая данные вам и налоговой инспекции, я несколько округлил цифры в выгодную для себя сторону. Я мог бы сделать это гораздо тоньше, однако же сделал намеренно грубо,— как бы сознаваясь в содеянном. Почему — надеюсь, понимаете.

«Ну и bestия! — ошарашенно подумал Зверев.— Патриот, филантроп... вот и возьми его теперь».

— Н-ну... хорошо,— Зверев кашлянул, осознавая с горечью, что молод, неопытен он против такого тертого и сильного противника.— Разрешите, Аркадий Борисович, взглянуть на ваши золотозаписные книги.

— О, разумеется, разумеется!

Жухлицкий с готовностью встал и, доставая из кармана халата связку ключей, отошел к массивному железному шкафу в углу комнаты.

— Пересаживайтесь на мое место, здесь удобнее,— предложил он, выложив на стол кипу шнуровых книг с печатями.— А я, с вашего позволения, покину вас на некоторое время.

Доброжелательно улыбнувшись, он раскланялся и вышел.

Какая-то тоскливая истома навалилась на Зверева, едва он остался один. Все тело охватила вялость. Не хотелось ни думать, ни двигаться. «Щенок я против Жухлицкого,— шевелились мысли, ленивые, как водоросли в глубине темных, медленных вод.— Да и на что он мне? Много их, таких жухлицких...» Он рассеянно, непослушной рукой полистал книги. Велись они умело, аккуратно,— впрочем, иначе и не могло быть: в золотом деле Жухлицкий съел собаку, в чем в свое время сполна убедился еще самый дотошный из предшественников Зверева на посту окружного инженера — статский советник Кульчинский.

Среди книг попало несколько исписанных листков: какие-то расчеты, ничего не значащие заметки на память.

Алексей без особого интереса пробежал глазами: «Погасить недоимку в пособие государственному казначейству по окладным листам на содержание горно-полицейской стражи... Прииск Святой Нины 120 пог. сажен... 2000 рублей Бляхеру... Дело о розыске человеческих костей близ тропы на Селакар...» — и тому подобное. Бумага была добротная, снежно-белая, с тисненными знаками фабрик то князя Паскевича, то наследников Сумкина. Чуждо выглядели затесавшиеся сюда же два грубых серых листа, покрытые корявыми, но разборчивыми буквами. Бездумно, все еще пребывая в мыслях о Жухлицком, Зверев глядел на них, пока они не стали складываться в слова и приобретать какой-то смысл. «Постой-ка, что это такое?» Зверев встрепенулся, тряхнул досадливо головой и стал торопливо читать.

*Его высокоблагородию господину горному
исправнику частных золотых приисков
Баргузинской округи управляющего золотыми
промыслами купца Жухлицкого
иркутского мещанина Ивана Севрюгина*

ДОНЕСЕНИЕ

Из числа находящихся в работе на Богомдарованном прииске промышленника Жухлицкого поселенец Нерчинского округа Татауровской волости Улетуевского селения Николай Иванов в 27-е число ноября сего года волею божьей помер. Тело Иванова через три дня после смерти предано земле. О чем Вашему Высокоблагородию имею честь донести и представить билет поселенца Иванова за № 241, опись оставшемуся имуществу после смерти и расчет о заслуге его.

Управляющий *Иван Севрюгин*.

ОПИСЬ

имуществу, оставшемуся после смерти поселенца Нерчинского округа Татауровской волости Улетуевского селения Николая Иванова

Шапка суконная с триковым околлом, ветхая 40 коп.

Рукавицы барановые, ветхие 10 коп.

Куртик крестьянского сукна, ветхий 5 коп.
Азям верблюзей шерсти, ветхий 20 коп.
Подвертки суконные, ветхие 5 коп.
Шаровары дабовые синие, ветхие 25 коп.
Кушак бумажный, ветхий 10 коп.
Полушубок киргизский, ветхий 50 коп.
Шилья сапожные, наперсток 5 коп.
Огниво брацкой работы, подпорченное 5 коп.
Итого 1 руб. 75 коп.

При описи находились красноярский мещанин Давид Андреев, крестьянин Нерчинского округа Татаурской волости Карп Овсянников, иркутский мещанин Андриан Щипицын, управляющий Богомдарованным прииском Иван Севрюгин.

На втором листе сверху было крупно написано: «Расчет с поселенцем Татауровской волости Улетуевского селения Николаем Ивановым». Ниже лист был разделен чертой на две половины. Слева стояло: «Выдано на Чироканской резиденции», а справа — «Заслуги» и «Поступил конюхом сентября 1-го дня».

Покойный Николай Иванов получил в задаток 30 рублей деньгами, а сверх того за три месяца материально: рубаху сарпинковую (по цене 1 руб. 50 коп.), шаровары дабовые (1 руб. 40 коп.), бродни (1 руб. 80 коп.), сукно крестьянское (75 коп.),— оно, видно, и пошло на подвертки суконные, ветхие,— плис черный, вареги шерстяные, чай кирпичный большого размера, масло скоромное, шубу киргизскую (6 руб. 50 коп.) — видимо, это она в том же ноябре месяце, но уже превратившись в «полушубок киргизский, ветхий», была оценена после смерти Иванова в 50 коп.,— и прочую мелочь. Всего — 66 руб. 02 коп.

Из левого столбца Зверев узнал, что Иванов в сентябре проработал 30 дней, заслуга — 10 руб.; в октябре проработал 26 дней, болел 5 дней, заслуга — 8 руб. 70 коп.; в ноябре проболел 26 дней, а на двадцать седьмой «волею божьей помер», заслуг — естественно, нет.

Посмертный итог поселенца Николая Иванова, подведенный внизу под жирной чертой, был деловито краток: «Остался должен 47 руб. 32 коп.».

Отложив листки в сторону, Зверев задумался. История в общем—то обычная. В качестве окружного инженера ему приходилось не раз участвовать в расследованиях несчастных случаев на рудниках, приисках, угольных копях. Людей заваливало под землей, убивали в пьяных драках, они угорали в забоях, умирали от болезней,— ко всему этому Зверев как-то незаметно привык, как к неизбежному злу, акты подписывал, сохраняя служебное хладнокровие. Но сегодня было иначе: не безликий имярек, а человек возник перед ним — Николай Иванов, небольшой, тщедушный, с натруженными руками, привычными к земле, к лошадям, к шилу и дратве. В печально помаргивающих глазах — немой укор: «Я — человек, я — брат ваш, люди! За какую вину осудили вы меня на такую беспросветную жизнь? Где же ваша любовь к ближнему, доброта ваша, совесть?»

Зверев вскочил, беспокойно зашагал по кабинету. Самое страшное виделось ему в том, что не было здесь никакого несчастного случая,— судьба самая обычная: рождение в нищете, жизнь в нужде, безвременная смерть в убожестве.

— «Азям верблюзей шерсти, ветхий»,— прошептал Зверев, вспоминая золототканый халат Жухлицкого, и скрипнул зубами. Идиот прекраснодушный! Ведь хватило же ума рассуждать перед Серовым об интересах России, о служении народу. Пустые слова! А сколько их в свое время прозвучало в петербургских гостиных под восторженное аханье большеглазых институток. За расплывчатыми образами страдающего народа, неблагополучного государства не удосуживались разглядеть такого вот Николая Иванова, чахоточного рабочего перед фабрикой Торнтонна, полуслепую дворничиху у подъезда собственного дома. Сочувствие простиралось на всех и на вся, а значит — ни на кого и ни на что. Наверно, жандармы, расстреливавшие рабочих на Лене в двенадцатом году, тоже радели

о пользе отчизны... Серов, кажется, слушал его тогда с сожалеющей усмешкой... Стыд и позор!

Зверев вернулся за стол и, чтобы успокоиться, снова взялся за шнуровые книги.

Жухлицкий (он уже успел переодеться), войдя в кабинет, к неудовлетворению своему сразу обнаружил что-то новое в сутуло склоненной фигуре окружного инженера. Положим, Аркадий Борисович, даром что немало лет прожил в тайге, мог еще спутать волчий след с собачьим, но вот что касается людей, то тут он не ошибался никогда. Он увидел за столом отнюдь не вялого, утомленного дорогой молодого человека, которого оставил здесь с полчаса назад, а совсем иную личность, в коей угадывалось что-то от взведенного курка. Инженер встретил его весьма решительным взглядом глубоко посаженных серых глаз. «Ай-яй-яй, что-то ты мне, братец, не нравишься,— подумал Жухлицкий.— Это какая же муха тебя укусила? Ну, ничего, тебя-то я уж как-нибудь обломаю».

— Что ж, шнуровые книги у вас содержатся в образцовом порядке,— сухо сказал Зверев.

Аркадий Борисович в ответ только руками развел: как же, мол, иначе, на том и стоим.

— У вас сейчас работаются три прииска,— продолжал окружной.— Надо бы их посетить.

— Н-ну... воля ваша,— согласился Аркадий Борисович, пожимая плечами.— Должен только предупредить: ничего достойного внимания вы там не увидите. Маленькие артели, кустарщина...

Окружной промолчал, с непонятым каким-то выражением разглядывая Аркадия Борисовича.

— Впрочем, воля ваша,— задумчиво повторил Жухлицкий и заторопился: — А сейчас, милостивый государь, прошу к столу. Побеседуем...

Зверев помедлил, окинул хозяина все тем же непонятым взглядом и поднялся.

— Ну что ж...— он одернул китель и решительно повернулся к Жухлицкому.— Извольте.

В гостиной находилось небольшое и довольно-таки любопытное общество: некто сухощавый, в полувоенном, с неприятной улыбкой-оскалом (его Аркадий Борисович представил как Николая Николаевича Зоргагена, своего дальнего родственника); добродушный, живой толстяк с весело бегающими глазками; дородная властная красавица и еще одна женщина — молодая, улыбающаяся мило и ласково-беспечно.

Зверев сдержанно раскланялся с мужчинами, приложился к ручкам дам, а той, что была помоложе, при этом еще против воли улыбнулся сердечно.

Присутствие нового человека сковывало — разговор долго не становился общим. Николай Николаевич Зоргаген вполголоса разговаривал с Ризером. Сашенька хихикала о чем-то с Дарьей Перфильевной, изредка поглядывая с любопытством на не улыбочивое лицо молодого инженера. Весел и общителен был один Аркадий Борисович. Он шутил и сам смеялся своим шуткам, разливал домашнюю наливочку, с ненавязчивой заботливостью подкладывая закуски сидящему рядом Звереву.

— Признайтесь, вас давеча слегка покорило, когда я открыл свои, так сказать, крапленые карты,— смеясь говорил Жухлицкий.— Что поделаешь, наш брат промышленник, как бы ни тщился порадеть о пользе отечества или ближних, должен и о себе подумать. Отсюда и ухищрения всевозможные. А вообще же, скажу вам, дорогой Алексей Платонович, такого мошенничества, как в золотом деле, поискать да поискать!

Бархатный голос золотопромышленника, дружелюбный и располагающий, постепенно завладевал вниманием гостей.

— Никогда не забуду — тому уж лет побольше десяти, как покойный отец отправил меня осмотреть один прииск на предмет покупки. Приезжаю — хозяин встречает, Пороosenков по фамилии. Потирает руки, за стол приглашает, а сам так и лебезит: «Ах-ах, подумать только — у почтенного Борис Борисыча сынок такой орел! Большой человек, мол, растет, надежда сибирской золотопромышленности!» Я молодой тогда был, уши-то и развесил. Допоздна засиделись мы с ним. А ночью сквозь сон слышу, где-то вроде стреляют. Я этому и внимания

не придал: мало ли зачем на прииске могут стрелять — сторожа, скажем, или другой кто... Наутро отправились мы опробовать выработки. Поросенков подводит к шурфу: «Если угодно, можем начать отсюда. Я велю взять с забоя пробу и промыть на твоих глазах». — «Извольте», — говорю. Хорошо, взяли пробу, начали промывку. Смотрю — хорошее идет золото. Поросенков тут же стоит, подпер щечку рукой, вздыхает. Ладно, опробовали мы таким манером еще пару шурфов, Поросенков и говорит: «А теперь из забоя в орте⁵ возьмем пробу». Взяли — неплоха и эта проба. Я тут же отписал отцу: так, мол, и так, дело верное, можно вершить купчую. Ну, отец понадеялся на меня, а после что вышло — надул, оказалось, меня господин Поросенков, самым бессовестным образом надул. Он, сукин сын, — это я узнал уж потом, — «посолил» забои в тех шурфах и в орте, понимаете? Берется ружье, заряжается патроном, в коем вместо дробы — шлиховое золото, потом стреляют по забоя, и земля на некоторую глубину оказывается изрядно нашпигованной золотом. Простейшее дело, на приисках давно известное, а вот, поди ж ты, попался я на нем... Ох и расвирепел же отец, помню. Вон, говорит, мерзавец, катись управляющим на свой поросячий прииск и, пока не покроешь убыток да еще с процентами, не смей возвращаться домой! Вот тогда-то, спасибо все же Поросенкову, я немного и научился вести дело.

— Спору нет, Поросенков шельмец был еще тот, — жирненьким баском заметил Ризер. — Да только хитрость его того... выворотная.

— Простите, не понял, Франц Давидович, — повернулся к нему Жухлицкий.

— Чего ж тут, Аркадий, не понимать, — отвечал старик, соединяя кончики пальцев и возводя очи горе. — Есть простота, идущая от хитрости, а есть хитрость, идущая от простоты. Вот у Поросенкова вся его хитрость шла от простоты. Помню, отпуская своим рабочим провизию по цене вдвое против стоимости, а золота при этом терял никак не меньше тридцати процентов. Умно? Народ-то тоже не дурак, мошенничать он и сам умеет.

— Совершенно справедливо, — подхватил Аркадий Борисович. — Мошенничать народ у нас умеет. Как-то на Богомдарованном прииске разговорился я с одним старым старателем. «Слышал я, — говорю, — что есть доки, что кайлит он, скажем, песок, вдруг — самородок. Так он ударит по нему кайлой, и тот прямиком в рот ему отскакивает. Стой рядом — и не заметишь». — «Верно, — отвечает он мне. — Вот я сейчас при тебе мою песок, а попадись самородок, так ты, хозяин, и не углядишь, как я его замою». Пospорили мы с ним. Нагрел он полный лоток песку, и я забросил туда свой золотой перстень. Начал он мыть, а я слежу во все глаза. Ну, как водится, возьмет он иногда скребок, помешает в лотке, рядом его опять положит и дальше моет. Подходит дело к концу. Перстня моего что-то пока не видно. Вот уже серый шлик пошел, чуть погода на самом дне лотка черный шлик остался. А перстня нет, что ты будешь делать! «Где же он?» — спрашиваю. Старатель смеется: «Замыл я его, хозяин, замыл», — «Ладно, — говорю. — Твоя взяла. Однако ж расскажи, как это у тебя получается». Он тогда берет свой скребок, переворачивает, — и с обратной стороны, гляжу, в дерево перстень вонзился. Видно, когда он последний раз шуровал в лотке, скребком-то и ударил по перстню — он и воткнулся. Уж чего вроде проще, а вот не вдруг догадаешься.

Аркадий Борисович достал из серебряного ведерка, набитого колотым льдом, бутылку шампанского, лихо хлопнул пробкой. Разливая, усмехнулся:

— Отец мой рассказывал, что лет тридцать — сорок назад иные промышленники выпивали на приисках с разными чиновными визитерами по три тысячи штук шампанского за лето. В газетах в ту пору писали, что ежели граф Воронцов, главный производитель вин из крымского винограда, пустит в Сибирь весь столетний запас своего производства, то господа сибирские промышленнички выпьют его в один год. Нынче уже не то, бедный пошел промышленник, широты в нем нет былой.

— Я вот хочу спросить вас, господин окружной инженер... — снова заговорил Ризер.

— Господин Зверев, — мягко напомнил Жухлицкий.

5 Орт — горизонтальная подземная горная выработка, отходящая от штольни.

— А... да-да, уж вы меня, старика, простите великодушно, запомню,— Ризер благожелательно посмотрел на Зверева.— Скажите, господин Зверев, как человек, более нас сведущий,— что, господа большевики действительно вознамерились царство божье на грешной земле устроить или это не более как рекламная вывеска их политической фракции?

— Одичали мы тут, Алексей Платонович,— с извиняющейся улыбкой добавил Жухлицкий.— Отстали от всего на свете.

— Я не состою в этой партии, но как беспристрастный свидетель могу сказать: народ им верит.

— Нет, нет, не в том дело, верит ли им народ,— Ризер озабоченно пожевал губами.— Верят ли они сами в задуманное, вот что важно...

— Полагаю, что верят, иначе не шли бы в свое время в ссылку и на каторгу, не сидели, сохраняя твердость духа, по два десятка лет в каменных мешках Петропавловской крепости.

Жухлицкий посмотрел на Зверева с некоторым удивлением, а взгляд его сумрачного родственника сделался откровенно злым.

— Видите ли, почему я это спросил...— Ризер чуть помолчал, как бы пребывая в нерешительности.— Вынашивать некую мечту и даже более того — быть гонимым, переносить страдания во имя этой мечты порой куда легче, чем претворить ее в жизнь... Вспомним также и о путях в ад, кои вымощены благими намерениями... Как я докапываюсь своим умишком, большевики утверждают, что весь нынешний всероссийский разгром они затеяли во имя народа, несчастного—де и обездоленного. Пусть будет так — я охотно готов допустить, что сами они, эти красные пастыри,— люди честные и бескорыстные. Однако же что есть народ?

Франц Давидович со скорбной усмешкой и в то же время с выражением какого-то непонятого торжества окинул взором сидящих за столом.

— Да, что есть народ? — повторил он.— Поверьте старику, что за свою жизнь я не встретил—таки ни одного человека, которому со спокойной душой мог доверить хотя бы четвертную ассигнацию. А людей я перевидел ох как много и с каждым разом все больше и больше убеждался в справедливости давнего изречения: «Не делай никому хорошо — и тебе не будет плохо».

Это признание было встречено слушателями по-разному. На лице Аркадия Борисовича изобразилось веселое изумление. Сашенька сочувственно вздохнула. Дарья Перфильевна нахмурилась и едва заметно кивнула, очевидно соглашаясь со сказанным. А Николай Николаевич, новоявленный родственник Жухлицкого, одобрительно осклабился. Зверев же, не совсем еще разобравшись, куда клонит словоохотливый промышленник, постарался сохранить полнейшую невозмутимость.

— Каждый человек подвержен хотя бы одной из мерзостей мира...— убежденно продолжал Ризер.

— А то и всем сразу,— ввернул родственник Жухлицкого.

— Ну, это уж вы хватили через край, дорогой Николай Николаевич,— не согласился Франц Давидович.— Все—то мерзости мира ни один человек в себе не вместит, будь он хоть семи пядей во лбу... Да, так вот я и спрашиваю вас, господин Зверев: большевики—то ваши о сущности человеческой подумали? Натуру его учли, суть коей в том, чтобы взять побольше, дать поменьше?

Франц Давидович выжидательно посмотрел на окружного инженера.

— Продолжайте, продолжайте, господин Ризер,— вежливо сказал Зверев.

— Человек не вор только в одном случае: если ему не воровать — выгодно. Хоть это—то ныне власть предрержащие учитывают?... Вот вам, кстати, маленький пример. Был у меня на Ороне лет уж десять назад случай такой. Примечая, золото начало явно утекать на сторону. Что ж, дело понятное: спиртоносы появились, а коль так — никакая стража, никакие тебе кордоны не помогут. Старатель и спиртонос, как мартовские кошки, всегда лазейку друг к другу отыщут. Однако старателя винить не приходится: живет он без никакой утехи, работает до седьмого пота,— как не захотеть ему иной раз душу потешить с устатка? Думаю, надо

дать ему поблажку — ведь и собаку добрый хозяин прогуливает, а тут все же человек... На другой год заказываю большую партию спирта и после работы каждому — шкалик, понятно, по цене самой мизерной. Старатель мой выпивает, ужинает и — спать, а на другой день работает с большой охотой, поскольку знает, что вечером опять получит свой законный шкалик. Покрутились спиртоносы вокруг Орона, видят — наживы великой тут не будет, и переметнулись выдаивать другие прииски. Вот так мне удалось отвадить их тогда... Я что хочу сказать: многого я добился бы, надумай грозить людям или, того смешней, взывать к их совести и рассудку? А вот сделал так, что воровать стало невыгодно, и — старатель перестал воровать. Разве сие не поучительно?

— Куда как поучительно,— прищурилась Дарья Перфильевна.— Ваш старатель перестал, зато наш принялся красть вдвойне — спиртоносы—то от вас к нам пожаловали.

— Это все — дела давно минувших дней,— поспешил вмешаться Аркадий Борисович, испугавшись, что Дарья Перфильевна возьмется вдруг вспоминать старые обиды, а это было бы сейчас совсем некстати.— Вы, Франц Давидович, говорили что-то о натуре человека...

— О склонности его к мерзостям,— подхватил Николай Николаевич Зоргаген.

— Вот именно,— Ризер охотно вернулся к началу разговора.— Допустим, можно ли избавить человека от раболепия? Чинопочитания? Не знаю, не уверен... Теперь подумайте, что произойдет, когда на место прежнего начальства повсеместно будут посажены, так сказать, люди из народа,— а именно это и предполагают сделать большевики, не так ли? — отнесся Ризер к Звереву и, не дождавшись ответа, продолжил:— А произойдет то, что человек, вознесенный из грязи в князи, обернется жесточайшим сатрапом, ибо развращающее свойство власти усугубится еще и невежеством ее носителя. Вообразите себе — тысячи полуграмотных и невежественных сатрапчиков! Россия, с трудом обращенная Петром Великим лицом к Европе, отпрянет назад, в степную дикость Золотой Орды. Произойдет всеобщее и неудержимое обнажение пороков—с, их буйный разгул. Нет, не знаю, как вас, а меня такое повергает в трепет!..

Выложив все это непререкаемым тоном библейского пророка, Франц Давидович с аппетитом захрустел сдобными сухариками, обмакивая их в горячее молоко.

Алексей первоначально не испытывал особого интереса к излагаемой Ризером материи, и до последнего момента у него не возникало желания ввязываться в какой-либо спор. Однако слова о «невежественных сатрапчиках» задели его. Он вспомнил болезненно-утомленное лицо Серова, по-детски самозабвенный смех Турлая и, с трудом подавив раздражение, сказал:

— Смею заметить, мрачноватая у вас мудрость, господин Ризер.

— Отнюдь,— живо возразил золотопромышленник.— То, что я набросал перед вами, это всего лишь призрак возможного, но маловероятного. В действительности же, скорее, будет совсем, совсем иначе.

— Слава богу, вы нас возвращаете к жизни, Франц Давидович,— добродушно засмеялся Жухлицкий.— Мы было совсем приготовились безропотно умереть.

— Народный бунт — это стихия, слепая и неуправляемая,— тут Ризер зябко передернул плечами, ибо на миг перед его мысленным взором промелькнуло жуткое варево Витимских порогов.— Стихия, не способная к созиданию. Она может только разрушать!.. Помяните мое слово: когда в России не останется камня на камне,— а так оно и будет,— новые власти призовут нас, деловых людей, и вновь провозгласят право частного предпринимательства... Ага, вижу, вам угодно возразить, что происходящее ныне — это—де не бунт, а революция, не так ли?

Ризер почти ласково глядел на Зверева и ждал ответа.

— Ну, отчего же...— Алексей пожал плечами.— В словах ли дело — бунт, переворот, революция... Вы говорите — стихия. Что ж, если б в городах бушевали некие новые луддиты, а по российским просторам гуляли мужицкие вожди вроде Разина или Пугачева, тогда, может быть, это и была бы стихия. Однако суть вся в том, что во главе новой России стоят ныне умнейшие и образованнейшие люди, и первый среди них — Ленин, автор

блистательных философских и экономических трактатов, которые сделали бы честь любому мыслителю...

— Этот Ленин ваш — германский шпион, — брякнул вдруг свояк Жухлицкого, уставясь на Зверева с откровенной ненавистью.

Алексею на миг стало почти весело.

— Помилуйте! — воскликнул он. — Мы же с вами все-таки люди культурные, не к лицу нам уподобляться каким-нибудь гостинодворцам, черносотенцам. Вы что, не знаете, кто такой Ленин? Что его брат, Александр Ульянов, был в свое время казнен в Шлиссельбургской крепости?

— Дорого же обошелся дому Романовых сей молодой человек, — хихикнул Ризер.

— Вы полагаете, что все деяния Ленина — в какой-то мере месть за казненного брата? — повернулся к нему Зверев. — Напрасно! Руководствуясь одними лишь мстительными чувствами, всероссийскую революцию не совершишь. Нет, не кровная месть движет в таких случаях людьми, а духовное родство, преемственность мысли. Почему мы вот уже почти две тысячи лет помним братьев Гракхов?..⁶

— Оно и видно, что вы кончали классическую гимназию, — покривил губы Николай Николаевич. — Цицерон, Вольтер, а там и до Маркса рукой подать...

— Но ведь и вы обучались не в церковноприходской школе, — улыбнулся Алексей. — Мы с вами, кажется, одинаково принадлежали к привилегированной части русского населения?

— Именно потому нам и удивительна горячность, с которой вы защищаете большевиков, — заметил Ризер.

— Да-да, Алексей Платонович, — подхватил Аркадий Борисович. — Отчего же вы не марксист при таком-то настрое ума? Как-то оно не вяжется...

— Как вам объяснить... — Зверев усмехнулся откровенно иронически. — Я не большой любитель показывать кукиш в кармане, потому скажу прямо: большевики сейчас победители, а велика ли доблесть примкнуть к победителям?

— Ну, насчет победителей вы чуть-чуть погодили бы, — мрачно возразил свояк Жухлицкого. — Весьма немалая часть России еще не сложила оружия. Да и за граница не сказала пока последнего слова.

— Кстати, о за границе, — тем же тоном продолжал Зверев. — Почему мое стремление по справедливости оценить деяния большевиков представляется вам достойным удивления, а вот вмешательство иностранцев во внутренние дела — чем-то само собой разумеющимся?

— Союзники испытывают благородное чувство сострадания к русскому народу, ввергнутому в братоубийственную резню, — пробурчал свояк.

— А помимо сострадания к русскому народу, других специальных интересов союзники совсем, что ли, не имеют?..

Получить ответ Звереву не пришлось — во дворе поднялся собачий гам, послышались возбужденные голоса, затем суматоха переместилась в дом и стала приближаться. Можно было подумать, что надвигается подгулявшая компания — невнятно бубнил мужчина, его перебивало взволнованное старушечье кудахтанье, а в ответ кто-то добродушно похихатывал и отпускал неразборчивые, но явно успокоительные словечки.

Аркадий Борисович изумленно поднял бровь. Тут обе створки двери распахнулись, и в гостиную, почти волоча на себе вцепившуюся Пафнутьевну, вступил Захар Турлай. За его плечом маячило багровое, растерянное лицо казака.

— Мир честной компании! — весело сказал Турлай.

— А, товарищ председатель Таежного Совета! — вполне естественно просиял Жухлицкий. — Прощу за стол!

⁶ Гракхи — братья Тиберий и Гай, политические деятели Древнего Рима, народные трибуны. Боролись против крупных аристократических землевладельцев за проведение аграрных реформ в интересах италийского крестьянства и погибли в этой борьбе.

— Большое спасибо, гражданин Жухлицкий,— ослепительно улыбался Турлай.— Рад бы, но только что поснидал. В другой раз как-нибудь.

— А будет ли этот другой раз? У вас ведь кругом дела, кругом заботы, и все о нас, грешных,— Аркадий Борисович сочувственно покачал головой.— Поберегли бы себя, а то ведь и надорваться недолго.

— Э, о чем речь! — Турлай махнул рукой.— Тут, я вижу, сидят люди, которые куда больше меня работали, а на здоровье, кажись, не жалуются. Скажем, вот Дарья Перфильевна или тот же Франц Давидович... Прощения просим, а вы кто будете? — Турлай с самой сердечной улыбкой посмотрел на Ганскау.— Ей-богу, сразу вижу — хороший человек, однако ж, поскольку я нынче вроде как власть здешняя, приходится спрашивать. Иной раз даже самому неудобно бывает...

Турлай смущенно кашлянул в кулак.

— О, простите великодушно! — смеясь, вскричал Жухлицкий.— Забыл представить — это же родственник мой, далекий, правда, по родственник... Впрочем, вот его бумаги,— и Аркадий Борисович передал Турлаю документы.

— Николай Николаевич Зоргаген,— громко прочитал Турлай, без особого интереса разглядывая бумагу, удостоверяющую, что «податель сего является уполномоченным Всероссийского мехового общества, командированным для изучения на месте возможностей клеточного разведения сибирской выдры и баргузинского соболя», после чего возвратил ее владельцу, уважительно заметив при этом:— Стало быть, заступничек-то ваш Никола-угодник? Славно, славно... А я ведь, Аркадий Борисыч, но делу к тебе....

— Рад помочь, если смогу,— с готовностью отозвался Жухлицкий.

— Подвалишко твой желательно бы посмотреть...

— А что смотреть? — Аркадий Борисович усмехнулся, пожал плечами.— Кроме мышей, там ничего интересного.

— А мыши те не двуногие? — сощурился Турлай.

— Эх, председатель, председатель! — огорченно вздохнул Жухлицкий.— Не хотел я при женщинах... Думал, догадаешься позвать меня за дверь да наедине и расспросишь. Ну, коль уж на то пошло, скажу все, как есть. Верные у тебя сведения — сидят у меня в подвале трое...

— Ага! — Турлай мгновенно преобразился: в голосе звякнул металл, лицо отвердело и взгляд стал колюч.— По какому праву гражданин Жухлицкий лишает людей свободы?

— Как?! Разве нужно иметь какое-то право? Ай-яй-яй, выходит, я попал в скверную историю! Боже мой, что же мне теперь будет? — Аркадий Борисович разыграл изумление и страх и сделал это откровенно нагло.

Вместо того чтобы разозлиться, Турлай неожиданно засмеялся.

— Самоуправство это, Аркадий Борисович, самоуправство. Как говорят у нас на Украине: что попови можно, то дьякови — зась! Придется карать по всей строгости революционных законов.

— Неужели меня арестуют? — продолжал скоморошничать Жухлицкий.— Нет, не верю!

— Поверишь,— добродушно пообещал председатель Таежного Совета. Он подошел к окну и, сдвинув занавес, сделал кому-то знак рукой.

Жухлицкий вдруг сделался серьезен, голова его заносчиво откинулась, и он вновь стал самим собой — полновластным и уверенным в себе хозяином Золотой тайги, обладателем десятиллионного состояния.

— Итак, финал этой маленькой комедии, кажется, близок,— обратился он к сидящим за столом.— Как хозяин дома я прошу прощения за причиненное беспокойство.

— Пустое, Аркадий Борисович,— отозвался Ризер.— Кому как, а мне не скучно.

Дом между тем наполнился громоханьем множества сапог. Пришедшие помедлили за дверью, коротко посоветовались, затем в гостиную друг за другом вошли пятеро вооруженных людей — присковые рабочие из самых что ни на есть неудачников. В раскрытую дверь было видно, что примерно столько же осталось в коридоре.

Ризер выпучил глаза, лицо его приобрело лиловый оттенок. Сашенька хлопала длинными ресницами и глядела на происходящее с безбоязненным любопытством, а Дарья Перфильевна улыбалась со скрытым злорадством. Меховщик Зоргаген, он же капитан Ганскау, сразу поскучнел, и взгляд его стал пустым и отрешенным. Только очень хорошо изучившие его люди знали, что подобное наружное спокойствие обычно соответствовало предельной внутренней собранности железного функционера, готовности в любой миг перейти к дерзким до наглости и отчаянно смелым действиям. Однако выдержка и на сей раз не изменила бравому капитану — он остался сидеть на месте, попивая вино.

То, что почувствовал в первый момент Жухлицкий, не было страхом — годы, прожитые в Золотой тайге, приучили его ко многому. Доводилось отстреливаться, напоровшись на варначью засаду; и с ножами кидались на него; и поджечь грозились не раз. Но не удавалось запугать лихого миллионщика. Не испугался он и сейчас, узрив перед собой пятерых приисковых рабочих с оружием, но пронзившее его ощущение было хуже всякого страха. Аркадию Борисовичу вдруг все стало безразлично. Исчезли вмиг цель, виды на будущее. Незачем стало жить. Наверно, подобное чувство испытывает человек, заставший на месте родного дома и богатств, собранных за долгие годы, мертвое пепелище. И дело не в этих вооруженных голодранцах. Слава богу, у Аркадия Борисовича и золота хватало, и люди, готовые на все, имелись под рукой. Иное подкосило хозяина Чирокана: он понял, что вместе с этими пятью рабочими в его дом самолично, не спросив, по-хозяйски вошел Октябрьский государственный переворот. Вошли новые времена. «Орочонский бог! — сверкнуло в голове. — Выходит, подлинный — то инспектор вовсе не этот юный инженеришка».

— Значит, с козырей изволите ходить, товарищ председатель? — Жухлицкий сумрачно оглядел Турлая, вооруженных винтовками рабочих, потом перевел взгляд на Зверева. — Поскольку до сей поры у этих людей подобного оружия не было, появление такового я вынужден связывать с вашим приездом, господин... виноват, товарищ окружной инженер. Да, недооценил я вас, недооценил!

Зверев оставил эти слова без ответа.

— Что ж, Аркадий Борисович, веди нас в свой личный острог, — буднично проговорил Турлай. — Будем одним амнистию делать, а другим — наоборот.

Жухлицкий поднялся, налил себе шампанского и, держа в руке бокал, внушительно сказал:

— Мне не хотелось бы говорить это при дамах, но как законопослушный гражданин Российской республики считаю обязанным заявить следующее. У меня в подвале сейчас трое. Эти люди при свидетелях сознались, что на прииске Полуночно-Спорном они зарезали десять человек, находившихся в сонном состоянии, и еще одного где-то в тайге. Итого — одиннадцать убиенных душ. Выпьем за их упокой! — Произнеся этот не совсем обычный тост, Аркадий Борисович торжественно осушил бокал и с сожалением добавил: — Как видите, никакой амнистии не выйдет.

Турлай на миг опешил. Ничего подобного он, разумеется, не ожидал. Получалось, Купецкий Сын надул его самым свинским образом.

Те вооруженные рабочие, что оставались до этого в коридоре, как-то незаметно оказались в гостиной.

— Постой, постой... — медленно заговорил председатель Таежного Совета. — На Полуночно-Спорном? Кого ж это там?

— Полагаю, что убитые — дикая старательская артель. Китайцы.

— Больно уж темное дело, ох темное, — произнес Турлай, покачивая головой.

— А вы можете сегодня же съездить туда и убедиться в справедливости моих слов, — любезно предложил Жухлицкий. — Все десять лежат на месте — на нарах в одной из землянок.

— Да кто ж их видел, убитых-то? — Турлай как будто еще надеялся на что-то.

— Видели мои люди. Прикажете позвать их сюда? — небрежно осведомился Жухлицкий.

Помрачневший Турлай собрался что-то ответить, но в этот момент порывисто и шумно вошел еще один человек — чрезвычайно бойкий, небольшого росточка, широкоплечий, в коротком кожане, с револьвером на поясе и винтовкой за плечом. Это был вызванный Жухлицким из Баргузина комиссар горной милиции Епифан Савельич Кудрин. Он появился до удивления вовремя, и в этом факте Аркадий Борисович усмотрел знак того, что прежнее везение снова возвращается к нему.

— Мое почтение! — громко объявил Кудрин и с протянутой для рукопожатия ладонью прямоком направился к Жухлицкому.— Прибыл по поводу вашего заявления, Аркадий Борисович. Страшное, страшное дело! Не будем терять время, начнем! Где убийцы, где убитые?

Кудрин присел к столу и живо выудил из полевой сумки кипу бумаг.

Турлай пригладил усы и шагнул вперед.

— Гражданин комиссар! Как председатель здешнего Таежного Совета настаиваю на участии в расследовании.

— А, и вы здесь, гражданин Турлай! — удивился Кудрин, будто только сейчас увидев его.— Я подчиняюсь баргузинским органам, а там о вашем самозваном Совете не знают и знать не желают. Больше того — возможно, вас еще привлекут к ответу за самочинное создание органа власти!

Комиссар милиции, топорща усики, говорил задиристо и веско. Турлай побагровел.

— У вас в Баргузине верховодят меньшевики. Дай срок, Центросибирь и Верхнеудинск возьмут их за шкирку!..

Аркадия Борисовича никак не устраивало участие Турлая в расследовании, ибо в этом случае почти неизбежно всплыли бы пуды исчезнувшего золота и то, что убитые по тайному договору работали на него.

— Гражданин председатель! — Жухлицкий решил аккуратненько помочь Кудрину.— Это ведь сугубо внутривнутрипартийные ваши дела — деление на меньшевиков, большевиков и так далее. Они не должны касаться процесса отправления правосудия.

Аркадий Борисович сделал верный ход, однако упустил из виду Зверева, за что и поплатился немедленно.

— Насколько я понимаю, вы — комиссар Кудрин? — самым благожелательным тоном заговорил Алексей.— Здравствуйте. Я — Зверев, окружной инженер Западно-Забайкальской горной области.

— Батюшки, вот не знал! — Кудрин, роняя бумаги, вскочил, всплеснул руками, поклонился.— Честь имею! Много о вас наслышан, но видеть не доводилось...

— Если не ошибаюсь, горная милиция в некотором роде подчиняется также и мне?

— Точно так, точно так...

— Тогда я порекомендовал бы не отказываться от предложения председателя Таежного Совета.

— Согласен, принимаю к исполнению ваше пожелание...

Аркадий Борисович смутился, но только на миг.

— Поскольку Полуночно-Спорный прииск принадлежит мне, позвольте в интересах дела предложить посильное содействие.

— Это уж само собой,— с готовностью отозвался Кудрин.

— Что ж тогда мешкать? — поднялся Жухлицкий.— Едем немедленно на Полуночно-Спорный. Или сначала допросите убийц?

— Это всегда успеется,— авторитетно сказал Кудрин, собирая бумаги.— Едем на место преступления, посмотрим, изучим следы, и вообще...

Зверев не мог знать подоплеку преступления, а потому свое участие в расследовании не считал обязательным. Сейчас его интересовало одно — состояние отчетности и дел на работающих приисках.

Пока Аркадий Борисович громовым голосом вызывал кого-то и отдавал приказания готовить лошадей и собираться, а вооруженные старатели, явно обескураженные, мало-помалу покидали гостиную, Зверев отозвал в сторонку Дарью Перфильевну.

— Полагаю, Жухлицкий в ближайшие дни будет занят, поэтому я хотел бы посетить ваши прииски.

— Ой, да милости просим! — деланно обрадовалась Мухловникова. — И то сказать, что вам сейчас делать здесь? Кудрин, поди, на цельную неделю допросы да писанину разведет. Его ведь хлебом не корми — дай только людей постращать... Жухлицкий-то вон уж к покойникам своим ехать наострился. Знать, пора и нам в дорогу.

— Ризер тоже с вами? — любопытствовал Зверев.

— Нет. Отсюда мы с ним врозь... Однако, едем, что ль?

Когда Алексей, договорившись с Мухловниковой встретиться через полчаса, направлялся к себе на квартиру, его догнал Турлай.

— Похоже, вывернулся Аркаша, вывернулся... — пробурчал он, подумал и добавил: — А хотя, как оно еще повернется...

ГЛАВА 13

Купецкий Сын, обещая Василисе принести мучки и кое-чего еще, рассчитывал сделать это лишь завтра к обеду или даже к вечеру. Однако обстоятельства сложились так, что уже незадолго до рассвета другого дня он, крадучись, приближался к окраине Чирокана.

Не решаясь сразу расстаться с безопасным пологом тайги и выйти на открытое место, Васька долго мыкался под черной стеной леса, прислушивался, усиленно пялился в темноту, вздрагивал от случайного скрипа дерева, хруста сучка под своей же ногой или долетавшего издали вздорного лая пса, должно быть увидевшего во сне что-то не то.

Ночь была так себе: на небе — вперемежку чернота облаков и прогалы со звездами; неподалеку — бормотанье реки, нескончаемое и однообразное и оттого временами как бы пропадающее напрочь; в вершинной хвое — шепелявый посвист ветра.

Да, ночь выдалась самая обычная, однако Васька отчаянно трусил. Но трусь не трусь, а идти все равно надо, и Купецкий Сын, еле слышно поскуливая от страха, засеменил к смутно угадываемым избам Чирокана. Через каждые двадцать — тридцать сажений он замирал на месте, пугливо вертел головой, после чего делал следующую перебежку. За спиной у Васьки круглилась довольно большая ноша, придававшая его сутулой фигурке страховидную злодейскую горбатость. Однако Купецкий Сын меньше всего догадывался о том, что ненароком мог бы вогнать в дрожь какого-нибудь доброго человека, а напротив — вывернись сейчас кто навстречу, у Васьки, наверно, вмиг бы душа рассталась с телом. Но, слава богу, на его пути любителей шастать по ночам пока не попадалось.

Наконец Купецкий Сын добрался до первых заброшенных развалюх на краю поселка, и тут его наостренные уши уловили приближающийся откуда-то сзади топот множества копыт. Васька обмер, прикипел подошвами к земле, потом бестолково засуетился, словно бы норовя метнуться сразу во все стороны. Уже стали слышны звяканье уздечек, покашливание и приглушенные голоса людей. Купецкий Сын на отнимающихся ногах кое-как уковылял с дороги и повалился в какие-то пропахшие псиной чертополохи под остатками разломанного забора. «Узнали... выследили... — звенело в голове. — Смерть, смерть пришла...»

Лошади шли быстрым шагом, устало пофыркивая. Едва различимые всадники, покачиваясь, проплывали по звездам, черные, безмолвные, непомерно большие. «Пронеси, пронеси...» — беззвучно молил Васька, но тут двое, чуть поотстав от прочих, придержали коней, начали прикуривать.

— Ох и дух же там был! Досель мерещится, будто бы руки воняют, — огонек спички осветил лицо говорившего, и Купецкий Сын со страхом узнал Митьку Баргузина.

— Десять мертвецов в одной землянке, да еще столько дней пролежать — тут будет дух, — весело пропищал второй, вгоняя бедного Ваську в еще больший трепет, — то был Рабанжи.

— Хорошо, шурф оказался глубокий, а то покопай-ка на десятерых-то могилу. — Митька сплюнул и тронул с места. — Откуль там такая прорва мух набралась?

— А кровищи видел сколько набежало? — Лошади перешли на рысь, и голос Рабанжи стал удаляться. — На запах крови мухота как на сахар прет...

— Хлопотное дело — десятерых-то сразу...

— Не говори...

Если бы Рабанжи с Митькой специально задались целью запугать Ваську до икоты, они не достигли бы большего. Такого ужаса Купецкий Сын не испытывал с тех давних пор, когда увидел в пламени костра поднимающегося покойника. Поминутно озираясь и прижимаясь к заборам, словно тать в ночи, он прокрался к хибарке Кушаковых. Постучал в переплет окна, подождал и, подгоняемый страхом, забарабанил кулаком.

— Василь Галактионыч... — отворяя дверь, очумело бормотал не совсем еще проснувшийся Кузьма. — Ох-ох, в этакую рань... Вот не ждали!..

Василиса, в одной нижней рубаше, проворно вздула свечу и счастливо засмеялась, когда увидела Ваську с тугим мешком за плечами.

Купецкий Сын, бледный, оскаленный, с остекленевшими глазами, огородным пугалом стоял некоторое время посреди избы, расставив руки и мелко дрожа. Потом пришел в себя, живо скинул мешок, освободил его горловину, перетянутую сложенными в петлю веревочными лямками. В полумраке закопченной избенки особенно, аж ослепительно белой показалась превосходная крупчатка довоенного еще, должно быть, помола. Василиса ахнула, привычным движением взялась за щеки.

— Гос-споди, вот благодать-то! — прошептала она.

Купецкий Сын по локоть погрузил свою грязную лапу в муку, пошарил и извлек большую бутылку спирта, затем вторую.

— Истинно благодать, — сказал тут и Кузьма.

Васька, не поднимаясь с колен, поспешно вытянул зубами пробку и глотнул прямо из горлышка. Побагровел, вытаращился, белой от муки рукой начал делать отчаянные знаки. Пока Кузьма недоуменно промаргивался, догадливая Василиса мигом зачерпнула и подала воды. Васька припал к ковшу. Напившись, заперхал и обессиленно сел прямо на пол.

— Н-ну, такие, доложу вам, дела! — пробормотал он, зажмуриваясь и крутя головой. — В тайге-то десятерыхбведь порешили... Рядком в землянке поклали... Кровищи — хоть ведрами выноси...

Однако ожидаемого Васькой эффекта не вышло. — Разве десятерых? — отозвался Кузьма. — Слышно, пятнадцать их...

— И не пятнадцать вовсе, а двадцать пять! — затараторила Василиса. — Весь Чирокан говорит...

— Брешут! — уязвленно сказал Васька. — Мы с Жухлицким сами считали. И в шурфу их при мне закопали.

— Кто ж их ухайдокал-то, Вася? — робко спросила Василиса.

— Ну, об этом, конечно, не всем положено знать, — туманно отвечал Купецкий Сын, нисколько не предполагая, что тем самым, а также заявлением, что вместе с Жухлицким считал покойников, он навлекает на себя немалую беду.

— А может, это и не люди вовсе сотворили? — задумчиво проговорил Кузьма. — Может, это сам Штольник покарал их за какую-нибудь шкodu, а?

— Тю-ю! — Васька хохотнул. — Никакого Штольника нет вовсе.

— Как же нет, Василь Галактионыч? — заморгала Василиса. — Все ж говорят... А которые и видели...

— Враки, бабушкины сказки! — отрезал Васька. — Это я вам говорю. Мое достоинство при мне, а фамилия Разгильдяев!..

После этого Васька вскочил на ноги, вопросительно поглядел на хозяев и, прочитав на их лицах молчаливое согласие, подал команду начать пир.

Пока мужики сидели за столом, понемногу попивая спирт, Василиса, тоже время от времени прикладываясь к чарке, проворно взялась застряпню.

Шустрая, как все приисковые бабы, она очень скоро выставила первые готовые шаньги, горячие и на удивление пышные. Но и то сказать: прямо—таки грех было бы из такой—то муки испечь какую—нибудь пакошь.

— Живем! — восклицал Васька, уплетая шаньги.— Держитесь за меня — не пропадете!.. Я ить за что люблю—то вас? При фарте Васька или нет — вы все одно ко мне со всем душевным уважением. Это по мне, это я люблю! А у иных прочих оно как бывает? Деньги есть — Иван Петрович, денег нет — паршива сволочь! Это — люди?— спрашиваю вас. Нет, не люди. Это шавки... л—ли—доблюзы!..

— Василь Галактионыч, а пошто Жухлицкий с тобой так—то — в гости к себе зазывает, вчера вот, говоришь, тесто с тобой ел, а нынче покойников вместе глядели. Пошто так—то?

Василиса еще подложила ему горячую шаньгу и поглядела преданными глазами.

— Ну—у...— отозвался на это Кузьма и глубокомысленно нахмурился.— Оно, надо думать, каким—то боком они вроде как бы сродственники будут... Не совсем, конечно,— тут же поправился он,— однако ж и не чужие...

После столь замысловатого объяснения, потребовавшего, должно быть, немалой умственной работы, Кузьма счел полезным выпить.

— Не—а, не то, совсем даже не то! — закричал Купецкий Сын.— Если знать хотите, в моей персоне ба—альшу—щая тайна сокрыта. Жухлицкий о том знает, потому со мной всегда обходительно. Не—ет, на—ко, куси! — Васька как—то по—особому похабно выставил перед собой большой палец, соответствующим образом просунув его между двумя другими, и пошевелил им глумливо и отвергающе.— Это пусть другие его по голяшке хлопают, а я — нет! Мое достоинство при мне, а фамилия — Разгильдяев! И не иначе!

— Василь Галактионыч,— жеманно пропела раскрасневшаяся у плиты Василиса.— А ты не слышал, говорят, к Турлаю анжинер какой—то приехал, худущий да длиннющий...

— Знаю, толковал с ним,— небрежно ответствовал Васька, смутно припоминая, что прошлой ночью видел у Турлая каких—то приезжих.— Привез мне это самое.., как его... срочный депеш, во!.. Ну, про это тоже пока помолчим...

— Знамо дело,— согласилась Василиса.— Не всем знать, верно, Кузя?

— М—мое дело телячье — обмарался и в стайку,— отозвался тот.

Готовые шаньги высились уже солидной горкой. Теперь можно было и хозяйке сесть к столу и принять участие в этом не то очень уж позднем ужине, не то слишком раннем завтраке.

Василиса, придя в совсем хорошее настроение от съеденного и выпитого, безбожно льстила Купецкому Сыну и делала это с обезоруживающей искренностью. Кузьма поддакивал ей все менее и менее повинующимся голосом. Васька пребывал наверху блаженства. Недавние страхи были забыты, мир вокруг стал прекрасен, добр и уютен. Купецкий Сын, на манер булавы воздев над собой ополовиненную бутыль, заблеял козлиным голосом:

Чай не пьем без сухарей,
Не живем без сдобного.
Говорят, объедки жрем,—
Ничего подобного!..

Кузьма вскинул отяжелевшую голову, поморгал и прокричал невпопад:

Ух, у нас на Чирокане
Всякий разный пища:

Утром чай, в обед чаек,
Вечером — чаище!..

Словом, пошло–понеслось веселье в старых добрых чироканских традициях, слегка уже подзабытых из–за угасания прежней бравоности приисковой жизни.

К восходу солнца Кузьма уже лыка не вязал — только и мог, что мычать да тарашиться бессмысленно. На развезях был и Купецкий Сын. Наконец Василиса уволокла их по одному за занавеску. При этом Купецкий Сын порывался обнять ее, хихикал, норовил заплетающимся языком говорить сладкие двусмысленности, но как только очутился на семейной деревянной кровати, тотчас успокоился и заснул, крепко облапив похрапывающего Кузьму.

Василиса на часок прикорнула на сундуке, потом вскочила и, по извечной бабьей привычке, принялась шустрить по дому, хлопотать во дворе. Хотя ни коровы, ни свиней, ни кур у них не было, однако хозяйство есть хозяйство, и дело всегда найдется. Уже ближе к обеду она надумала сбегать к соседке — попросить в долг немного постного масла. Как водится, хозяйки разговорились, посудачили о своих и чужих мужьях, поплакались на жизнь, поговорили всласть о кошмарном убийстве на Полуночно–Спорном, и вот тут–то Василиса и похвасталась, что ее–де ухажер, всем известный Васька Разгильдяев, водит тайную дружбу с самим Аркадием Борисовичем Жухлицким и в любое время получает у него какие хочешь продукты и сколько угодно спирта.

Словом, Василиса выложила все без утайки. Правда, Купецкий Сын ходит за продуктами крадучи, но уж коли он у Жухлицкого числится в приятелях, то небольшой слушок о его фортуне не может ему повредить. Так рассудила Василиса, но не так оно получилось на деле.

Соседка усомнилась сначала, но от Василисы так вкусно пахивало винцом, к тому же она принесла попотчевать пару свежих шанег, так что хочешь не хочешь, а приходилось словам ее верить.

Едва дождавшись ухода Василисы, соседка поспешила к своим товаркам. Новость вспорхнула и почти мигом облетела весь Чирокан, потеснив даже были–небылицы о десяти зарезанных старателях. Часам к трем пополудни она достигла ушей Аркадия Борисовича.

Жухлицкий вместе с другими вернулся с Полуночно–Спорного перед рассветом, чему и случился невольным свидетелем дрожавший в чертополохе Купецкий Сын. Поспав несколько часов, Аркадий Борисович с аппетитом сел завтракать в компании с Елифаном Савельевичем Кудриным.

Комиссар горной милиции выглядел неважно. Лицо у него было какого–то сыромятного оттенка, глаза воспаленные, рука, когда он подносил ко рту рюмку водки, мелко дрожала. Увиденное на Полуночно–Спорном подействовало на него тяжело — вернувшись, он ни на минуту не мог сомкнуть глаз.

Аркадий Борисович вспомнил, как Кудрин наотрез отказался войти первым в землянку с убитыми и насмелился спуститься туда лишь вслед за Рабанжи и Митькой. А чуть побыв там, выскочил с посиневшим лицом, любого мертвеца краше, отбежал на десяток шагов и с полчаса мучился рвотой так, что казалось — еще немного, и мужика вывернет наизнанку. Толку с него, конечно, не было никакого. Осматривать убитых и делать соответствующую бумагу пришлось Жухлицкому и Турлаю, у Кудрина же едва хватило сил поставить на ней свою закорючку. После этого трупы спустили в глубокий шурф, завалили землей и на том пошабашили. Словом, можно было самим и не ездить, а послать, скажем, того же Рабанжи с казаками, но порядок есть порядок, а в таком деле — особенно.

Видя, что комиссар милиции вытягивает третью рюмку подряд, Аркадий Борисович счел нужным заметить:

– Сейчас предстоит допрос Чихамо и тех двоих, которые с ним. Вчера ты еще мог корчить из себя институтку, но сегодня должен хорошенько все запоминать и записывать. Это первое. Второе: с нами будет Турлай, и если кто из китайцев заикнется при нем, что была,

мол, с Жухлицким тайная договоренность о золотодобыче на Полуночно–Спорном, тому моментально затыкай плотку, уразумел? И что бы там ни говорил Турлай, не вздумай забрать их от меня в Баргузин.

– Вы, Аркадий Борисович, за меня не бойтесь, Кудрин понимает, Кудрин сделает.

– Ну–ну... — неопределенно отозвался Жухлицкий.

Дознание, в общем–то, прошло так, как и рассчитывал Жухлицкий. Снова, подвывая, нес околесицу рехнувшийся Чихамо. Плакался и бессвязно лепетал его напарник. Находившийся в здравом рассудке Дандей говорил вполне толковые вещи, но он многого не знал и знать не мог. И все же Аркадий Борисович не учел одного: полусумасшедшего или, тем паче, окончательно сумасшедшего, уж если он что втемяшит себе в прохудившуюся головушку, спихнуть с его дурацкой позиции ох как тяжело. Сколь ни рывкал, ни обрывал Кудрин, едва китайцы, скуля, начинали бормотать что–то о золоте и мертвом Ян Тули, они продолжали с тупым упорством гнуть свою линию. Их разрозненных всхлипов и косноязычных причитаний оказалось достаточно, чтобы Турлай заподозрил неладное, и это, разумеется, не могло укрыться от зоркого глаза Жухлицкого.

Выбравшись из подвала, все трое остановились под стеной дома, с удовольствием ощущая тепло солнечных лучей и приятную прохладу чуть веющего ветерка. Турлай и Кудрин закурили, а некурящий Жухлицкий рассеянно поглядывал по сторонам и был явно не расположен начинать разговор первым.

– Дело ясное, что дело темное,— Турлай слизнул с губ махорочные крошки и выплюнул их с крайне недовольным выражением лица.— Не знаю, как с теми двумя, а вот охотника–то надо бы отпустить. Вины за ним я не вижу.

– Это так скоро не делается,— авторитетно возразил Кудрин.

– А Дандей–то здесь при чем? — настаивал председатель Таежного Совета.

– Орочон пойдет свидетелем. А то, глядишь, и до соучастника дорастет...

– Комиссар милиции прав,— вмешался Жухлицкий.— Убийство одиннадцати человек сразу — это не шутка. Такого у нас в тайге не было даже в самый разгул варначества.

– Ну, нехай буде гречка,— подумав, согласился Турлай.— Только замечаньце есть у меня. Арестованные содержатся под землей, в холодном и сыром помещении. Этак они отдадут богу душу. Надо бы обеспечить им более человеческие условия, особенно охотнику Дандею как наименее виноватому.

– Ишь чего захотел: человеческие условия! — окрысился Кудрин.— Будь моя воля, я б их сегодня же живьем в землю закопал!

– Так–таки и закопал бы? — прищурился Турлай.— Сегодня же? И бедного Дандея тоже?

– И Дандея тоже! — упрямо заявил Кудрин.— Лучше пятерых невиновных прихлопнуть, чем упустить одного виновного.

– Ну–у!— Турлай искренне изумился.— Який храбрый — як берковы штаны. Где ж ты такой жандармской арифметике обучался?

– Это уж вы, Епифан Савельич, немножко того... погорячились,— мягко упрекнул зарепортованного Кудрина Жухлицкий.— Председатель прав. Надо, конечно, позаботиться об арестантах. Вот только куда бы их поместить?

– Неужто не стало в Чирокане пустых домов? — сказал Турлай.

– Дома–то есть, — размышлял вслух Аркадий Борисович.— вот только сбежать из них — пара пустяков...

– Не сбегут они, некуда им сбежать... Да и незачем,— Турлай со скучающим видом оглядел обширный двор и вдруг, как бы невзначай, спросил: — О каком это золоте они толковали?

– Вот–вот, из–за него–то они, бедняги, и спятили,— засмеялся Жухлицкий.— Не то у них золото украли, не то они сами у кого–то стащили. Мертвеца еще приплели сюда же... Что с них возьмешь: сумасшедшие — они и есть сумасшедшие...

— Так-то оно так, да одно неладно: убитые. За здорово живешь одиннадцать человек не убивают. Тут замешано золото... много золота. А где оно?

— Ороchon же говорит, что затопили в реке,— вмешался Кудрин.

— Утопить-то утопили, да не все,— попыхивая цигаркой, сказал Турлай.— Третью утопили, но никак не больше. Куда ж подевалось остальное? В свинец обратилось? Или покойный Ян Тули пришел с того света да унес его?

— Э, гражданин председатель, оставим лучше эти гадания!— Жухлицкий безнадежно махнул рукой.— А то как бы самим не спятить из-за этого проклятого золота.

— Ох и хитрый ты мужик, Аркадий Борисович,— засмеялся Турлай.— Сказал тоже: проклятое золото!.. Нет, гражданин Жухлицкий, золото золоту рознь. Если им владеешь ты или такие, как вот эти спятившие, тогда — да, оно проклятое, это верно. А вот если золотом владеет народ, республика,— тут уж оно никак проклятым быть не может.

Турлай попрощался с язвительной учтивостью и направился к воротам. Жухлицкий, все еще сохраняя на лице притворную беспечность, глядел ему вслед. «Догадывается, однорукий пес,— лихорадочно соображал он.— Дураку понятно, что с золотом дело нечисто... Свое бы расследование не затеял...»

И тут вдруг перед Аркадием Борисовичем словно сверкнула молния: ведь если Чихамо не притворяется — а так оно и есть,— то кто-то же его ограбил! И вместо того, чтобы сразу бросить все на поиски грабителей, он, Жухлицкий, потратил, растранижил поистине драгоценные дни на возню с гостями и недоумком Кудриным! Потерянное время грозило обернуться двояко: или грабители успели уже покинуть Золотую тайгу и, следовательно, оказаться за пределами досягаемости; или до них прежде Жухлицкого доберется Турлай и реквизирует пуды золота на нужды своей мировой революции. Ороchonский бог! Как могло случиться, что он, незаурядного ума человек, допустил такую прямо-таки вопиющую глупость? Аркадий Борисович выругался сквозь зубы.

— Ась? — тотчас встрепенулся Кудрин.— Что вы сказали?

— Иди-ка ты к... Хотя — нет, никуда не ходи! Ты мне скоро понадобится.

Молниеносно приняв какое-то решение, Аркадий Борисович торопливо взбежал к себе наверх. Прежде всего он извлек из сейфа свою гордость — подробнейшую сводную карту Золотой тайги. Карту эту он составил собственноручно на громадном материале всех исследователей, когда-либо работавших в Золотой тайге и смежных с нею районах, а также собственных глазомерных топографических съемок. Второй такой карты, столь же подробной и насыщенной специальными сведениями, не существовало. На ней были обозначены все мало-мальски интересные проявления россыпного и рудного золота, серебра, платины, меди, железа, свинца, асбеста, каменного угля, строительного сырья, драгоценных и полудрагоценных камней, термальные источники, районы распространения тех или иных горных пород, зимовья, заброшенные штольни, известные и тайные тропы, перевалы, солонцы, склады и лабазы. Бесценная карта!

Когда-то, и не столь уж давно, Аркадий Борисович взирал на нее как на изображение своих вотчинных владений, своего королевства. Вспомнив о тех временах, Жухлицкий лишь коротко вздохнул.

Раскрыв приобретенную еще в Марбурге готовальню с богатейшим набором инструментов, он достал измерительный циркуль и задумался. Вот он — злополучный прииск Полуночно-Спорный. Тут все это и произошло — кто-то, превосходящий хитростью самого тертого-перетертого Чихамо, выследил его и подменил золото на свинец... Аркадий Борисович раздраженно фыркнул. Получалась чушь. За каким чертом понадобилось неизвестным злоумышленникам столь замысловатым образом украшать обыкновенное, хоть и очень крупное воровство? Это же совершенно никчемный, ненужный труд — достать где-то такую уйму дробы (три пуда!), доставить к тайнику Чихамо и аккуратно пересыпать в кожаные мешочки, предварительно изъяв оттуда золото. Более идиотского занятия и не придумаешь! Куда проще побросать мешочки в один большой мешок, взвалить его на спину и удариться рысцой через тайгу...

«Стоп!»— Аркадий Борисович притормозил свое галопирующее воображение. Словно бы голос свыше подсказывал, прямо—таки нашептывал ему, что грабителей не могло быть несколько — грабитель был один. Аркадий Борисович представил себе человека, пробирающегося через таежные хляби, в стороне от троп и жилья, несущего на себе около полцентнера груза, и недоверчиво покачал головой: получалось слишком уж мудрено... Тогда, стало быть, этот алхимик, обращающий золото в свинец, шел по тропам, заходил на заимки, ночевал в зимовьях? Но тогда его непременно бы где—то увидели, встретили, и Аркадий Борисович через своих людей, разбросанных по всем ключевым местам Золотой тайги, что—нибудь бы да знал о нем...

Итак, оставалось единственное допущение: золото все еще хранится где—то в тайге — там, куда его перепрятал человек — несомненно, здешний, выследивший тайник Чихамо, и место это, скорее всего, находится не очень далеко от Полуночно—Спорного прииска. Значит, необходимо предпринять следующее: первое — выяснить, кто за последние, скажем, два—три месяца приобрел в приисковых лавках или с рук большую партию дробы; второе — установить тайное наблюдение за окрестностями Полуночно—Спорного, подходами к нему и тропами, пересекающими те места.

Аркадий Борисович долго сидел над картой, тщательно изучая подлежащую контролю площадь, вымерял расстояния. Наконец он отбросил циркуль и, выпрямившись в кресле, с хрустом потянулся. Интуитивно он чувствовал, что принятое им решение — единственно правильное, однако ощущение недовольства собой от этого только усилилось. И в этот момент неслышно отворилась дверь и вошла Сашенька. Глядя на нее, Аркадий Борисович засмеялся устало и счастливо.

— Иногда мне бывает плохо, тяжело, но лишь увижу тебя, друг мой, и сразу становится легче. Почему?

— И вправду вам плохо, Аркадий Борисович,— Сашенька приблизилась, легонько провела пальцами по его волнистым, начинающим седесть волосам.— Лицо—то до чего измученное. Это все из—за убитых на том прииске?

— Да, из—за них тоже...

— Вот уж невидаль...— вздохнула Сашенька.— Да мало ли на приисках убивали и убивать будут. Что ж изводить—то себя?

Жухлицкий изумленно уставился на нее. Нет, никогда, наверно, не привыкнет он к таким вот странным и всегда неожиданным вывертам... или изломам?... ее натуры. Вспомнились вдруг строчки давних и, слава богу, единственных за всю жизнь стихов, написанных им под впечатлением встречи с юной Сашенькой десять лет назад,— о прекрасном цветке, выросшем на холодном золотоносном песке, политом кровью и грязью.

— Сашенька, я никогда тебя не спрашивал... тебе нравится жить здесь?

— В Чирокане—то?

— Да.

— С чего бы это мне не нравилось? Слава богу, обута—одета и голодом не сижу,— смеясь, беззаботно отвечала Сашенька.

— А... не боишься? — И, поймав ее недоуменный взгляд, Жухлицкий поспешил объяснить:— Ты же сама вчера видела, как мужики с винтовками прямо в гостиную ко мне влезли. А завтра, глядишь, возьмут да и расстреляют. И тебе не избежать того же — ага, скажут, любовница Жухлицкого? Давай и ее заодно.

— Полюбовницу—то, поди, не тронут,— рассмеялась Сашенька.— Вот кабы жена была, тогда еще, может быть...

— Ну, если дело стало только за этим, то ведь и исправить не поздно. Сегодня же ходим с тобой к нашим новым властям, к Турлаю то бишь, и попросим окрутить нас по—ихнему, по—марксистски... — Жухлицкий оборвал смех и уже серьезно спросил: — Я, собственно, вот что хотел тебе сказать... Ты бы согласилась уехать отсюда?

— Неужто надоела? — Сашенькин голос вздрогнул.

— Что ты, друг мой! Вместе со мной, конечно...

— Куда же это? В Баргузин, да? — в тоне Сашеньки прозвучало скорее утверждение, чем вопрос.

— Почему же непременно в Баргузин? — удивился Аркадий Борисович и тотчас же вспомнил, что за всю свою жизнь она никогда не бывала дальше Баргузина, и он, этот крохотный захолустный городишко, конечно же в Сашенькином понимании, — единственное место на свете, куда можно уехать из Золотой тайги. И горечью вдруг наполнилась душа, горечь подступила к сердцу, и захотелось обнять Сашеньку, ласково, оберегающе, прижать к груди ее головку и, уткнувшись лицом в теплые пушистые волосы, шепотом, едва слышно, умолять о чем-то, каяться, просить за что-то прощения. Но вместо всего этого он лишь мягко привлек Сашеньку к себе и, глядя снизу в ее глаза, обрамленные подрагивающими лучами ресниц, тихо сказал:

— Нет, не в Баргузин, а много дальше, за тысячи верст... Из России... И насовсем...

Сашенька чуть приподняла брови, подумала и также тихо ответила:

— С вами, Аркадий Борисович, я поеду хоть куда. Вы же знаете...

— Спасибо, друг мой, — Жухлицкий вдруг заторопился; мимолетно коснувшись губами ее лба, он тотчас отстранил, говоря: — Ступай теперь, Сашенька, ступай. У меня сейчас столько дел... И скажи, пусть позовут Кудрина, он где-то там, во дворе...

— И чтоб чаю принесли, — прошептала Сашенька, идя к двери.

«Неужели и вправду придется уехать? — подумал Аркадий Борисович, слушая, как, напевая что-то, спускается вниз Сашенька. — Ризер, за ним я, потом — Шушейтанов, Винокуров, Мухловникова, Бляхер... Великий исход эксплуататоров...»

Кудрин явился настороженный, ничего хорошего, видимо, не ожидая.

— Раньше я долги платил царскими ассигнациями, а теперь уж и не знаю, как быть, — весело заговорил Жухлицкий, все еще пребывая под магией разговора с Сашенькой. — Может, империями? Все-таки золото, оно, наверно, при всех властях золотом останется, а? Да ты садись, садись!..

Аркадий Борисович набросал на четвертушке бумаги несколько слов, размашисто подписался, запечатал и протянул конверт Кудрину.

— Это отдашь в Баргузине Эсси Вениаминовне, в собственные руки. Она тебе отсыплет империялы. Надеюсь, камрад Кудрин не является идейным противником желтых кружочков с профилем проклятого тирана?

Кудрин сделал движение — нечто вроде робкого протеста, но Аркадий Борисович тут же осадил его властным жестом руки.

— Гут, все понимаю! Я тоже был бы рад получать борзыми щенками, но только где их взять?

Комиссар горной милиции ничего не понял из этих слов, но на всякий случай усердно закивал головой.

— Маленькая просьба к тебе, Елифан Савельич. Будешь в Баргузине, постарайся-ка разузнать, какие люди за последнее время выходили туда из Золотой тайги.

Если таковые найдутся, надо осторожненько выяснить, у кого из них есть или могло быть золото. Конечно, не два-три золотника, а количество, сумма!..

— Кудрин понимает, Кудрин сделает.

— И еще: приобретал ли кто в последние месяцы частями или чохом два-три пуда дрови...

— Исполним, исполним, — бормотал Кудрин, бережно пряча конверт во внутренний карман тужурки.

— Ну-с, а за сим не смею больше задерживать, — Жухлицкий встал, подал руку. — Счастливого пути!

— Благодарствую.

Кудрин поправил кобуру, сурово сдвинул брови и, по-военному развернувшись, зашагал к двери с таким видом, словно отправлялся на подвиг.

Аркадий Борисович проводил взглядом его небольшую, но очень складную фигуру и сокрушенно хмыкнул: от этого героя, ростом с капсюль «жевелю», вполне можно дожидаться какой-нибудь медвежьей услуги.

К тому времени, когда Пафнутьевна принесла чай, настроение у хозяина Чирокана снова испортилось: большевики, разумеется, победят; за границей ничего хорошего его не ждет; пропавшее золото не будет найдено; Рабанжи, Кудрин и прочая братия только и ждут удобного момента подложить свинью; а принесенный Пафнутьевной чай, само собой, отравлен.

Наливая чай в тонкую фарфоровую чашку, напоминавшую скорее лепестки водной лилии, чем изделие из обожженной глины, Пафнутьевна ни с того ни с сего вдруг заявила:

— А за Ваську тебя, батюшка, бог наградит. Только спирту ты ему не давал бы, батюшка. Во вред он ему идет, спирт-то...

— Какому еще Ваське? Какой спирт? — не понял Жухлицкий.

— Да нашему же Ваське, Купецкому Сыну, — Пафнутьевна отставила чайник, подперла ладонью щеку, пригорюнилась. — Вечером-то ты его маленько собаками погрыз — оно, конечно, грех, да ведь хмельной ты был, батюшка. А что пропитанием пособляешь ему, за то тебе бог и воздаст.

— Постой, постой, — Жухлицкий озабоченно сдвинул брови. — Что-то я тебя не пойму: спирт, пропитание... Купецкий Сын... Объясни толком!

Пафнутьевна обиженно поджала губы.

— Ну, коль не хочешь, чтоб люди про то знали, — воля твоя. Да только все равно ведь узнали. Мне сегодня и говорят, что, мол, сам-то, хозяин-то, Ваську, дескать, подкармливает — и спирту ему, и крупчатки, хромовые заготовки на сапоги, плис на шаровары и много всякого другого добра...

— Так, так... значит, хромовые заготовки... на шаровары... — Аркадий Борисович откинулся в кресле, глаза его невидяще уставились на Пафнутьевну; из всего, что она наговорила, он выхватил два слова — «крупчатка» и «спирт», связал это с неоднократным появлением в последнее время пьяного Васьки и мгновенно взъерился.

— Эт-того еще не хватало! — рявкнул он и треснул кулаком по столу.

— Ос-споди! — отшатнулась Пафнутьевна. — Что ты, что ты, батюшка?

— Ни-че-го! — отчеканил Жухлицкий, беря себя в руки. — Где он сейчас, этот Васька?

Как ни была Пафнутьевна напугана внезапной вспышкой Аркадия Борисовича, однако тотчас сообразила, что из-за ее несдержанного языка бедолага Васька может угодить в страшные жернова хозяйского гнева.

— Да кто ж знает, где его, непутевого, носит! — запричитала Пафнутьевна. — Он ведь все равно что пес без привязи — где приляжет, там и дом...

Далее она понесла такой вздор и бестолковщину, что Аркадий Борисович, поняв ее нехитрую уловку, раздраженно махнул рукой.

— Ну, хватит, хватит, ступай! И передай, чтобы Рабанжи с Митькой сию минуту шли ко мне.

Передав приказ хозяина, Пафнутьевна прошмыгнула в сторожку к деду Савке.

— Ох, старик, вроде как неладное что-то вышло... Васька-то, лахарик беспутный, опять, видно, нагресил, да так, что сам хозяин взбеленился... Велел позвать наверх этих душегубов — Митьку да Рабанжи... Ох, быть большой беде!..

— Ах, ох! — подсказывал на лавке дед Савка. — Митька да Рабанжи — это ж ходоки по самым нешутейным делам. Ах, ах! Обдерут они Ваську, как белочку.

— Ты сделай-ка вот что, — зашептала Пафнутьевна, опасливо косясь на дверь. — Васька, слышно, у Кушачихи гуляет, с ейным Кузьмой. Ты крадчи добеги-ка к ним да скажи, чтоб схоронился куда-нибудь. А то, мол, худо будет. Пусть хоть в мышью нору залезет, а только чтоб недели две его ни одна собака не смогла б учуять. А там, глядишь, хозяин-то и отойдет...

Дед Савка засуетился, напялил облысевшую собачью душегрейку, кое-как отыскал старенькие ичиги и с видом преувеличенно беззаботным вышел за ворота. Там он чуть постоял, заложив руки за спину, потом не торопясь спустился по переулку. Но едва хоромина Жухлицкого скрылась за домами, с деда мигом слиняла вся его чинность. Он привычно ссутулился и перешел на мелкую рысцу.

К избенке Кушаковых он явился изрядно пораструсившим по пути первоначальную свою резвость. Однако, сознавая секретность порученного дела и несомненную его опасность, дед Савка переступил порог медлительно и важно.

Кушаковы были дома. Василиса чинила одежонку, пристроившись на сундуке у окна. Скучный Кузьма сидел за столом, шумно хлебал что-то вроде мучной болтушки. И больше — никого.

Увидев деда Савку, Кузьма оживился, даже как бы посветлел с лица.

— В самый-самый раз ты угодил, дед Савка! — радостно захихикал он. — Садись, паря, гостем будешь, бутылку поставишь — хозяином будешь!..

Не устаивая его ответом, дед Савка перекрестился на икону, после чего еще раз обшмыгал глазами все углы. Нет, Купецкого Сына здесь не было, это точно.

— А где Васька, Купецкий Сын то ись? — спросил он. — Слышно, у вас он гостевал.

— Был он тут, был, — невнятно отозвалась Василиса, стараясь перекусить нитку. — А недавно ушел он, Галактионыч-то, в тайгу подался.

— Эко дело, — пробормотал дед Савка, прикидывая, к лучшему это или к худшему, что Купецкий Сын ушел в тайгу. — Обрато когда будет, не сказывал?

— Не, не сказывал, — отвечала Василиса. — Всегда говорил, а в этот раз что-то смолчал. Кузя, а тебе он не сказал, когда его ждать?

— Про то у нас разговору не было, — Кузьма нетерпеливо заелозил на лавке. — Слышь, дед Савка, про бутылку-то я пошутил... Не бойся, садись, у нас своя есть, правда, Васёна? — просительно глянул на жену.

— Уволь, Кузьма, не могу я нынче рассиживаться. Как-нибудь в другой раз, — отказался дед Савка, отступая к порогу.

— Беда нужно ему наше угощение, когда он небось с Жухлицким из одной миски щи хлебает, — беззлобно пошутила Василиса.

Не обращая внимания на умоляющий взгляд Кузьмы, дед Савка торопливо распрощался и посеменял обратно.

Уже поднимаясь по переулку, ведущему к дому Жухлицкого, он заметил в отдалении, за последними строениями Чирокана, двух всадников. Будь у деда Савки глаза чуточку поострее, он, верно, узнал бы в них Рабанжи и Митьку Баргузина, едущих неспешной рысью в сторону заброшенного Мария-Магдалининского прииска.

ГЛАВА 14

Вот уже примерно около часа справа вдоль тропы тянулся угрюмый, темный отрог. Когда солнце скрылось за его иззубренным гребнем, в узкой долине Учумуха сразу помрачнело. Однако облака, все еще озаряемые невидимым теперь светилом, продолжали оставаться вполне дневными, хотя закатный багрянец уже залег на их боках.

Притомившиеся лошади, спеша к ночлегу, шли быстрым шагом, и тревожное цоканье их копыт как бы отсчитывало убегающие секунды.

Отрог постепенно наваливался на тропу, отжимая ее влево, к речному обрыву. Долина становилась все уже. Вечерний огонь на облаках быстро мерк. Со дна долины, неся сырость и холод, поднимался сумрак — как бы иное обличье тумана, порожденного рекой, шумящей где-то там, далеко внизу.

Положив левую руку, сжимающую поводья, на луку седла, Зверев глядел на попрыгивающие уши коня и удивлялся тому, что все еще держится, и не только держится, но и чувствует в себе запас немалых сил. А ведь с момента выезда из Верхнеудинска, наверно,

только одна ночь у Турлая была действительно спокойной, а все остальные, включая и минувшую, проведенную на принадлежащем Мухловниковой Иоанно–Дамаскинском прииске, никак не назовешь безмятежными. Ну, хорошо — ночи ночами, а сама дорога, когда день за днем, от рассвета до заката, то в седле мокнешь под дождем, то, ведя коня в поводу, бредешь по болоту или пробираешься, обливаясь потом, через море каменных россыпей?.. Ладно,— то, что Очир здоров и бодр, это понятно,— кочевник, в степи рожден, в седле воспитан, а вот почему его, потомственного интеллигента Алексея Зверева, сына петербургского профессора,— его–то почему никакая лихоманка не берет?.. Впрочем, кому в России живется сейчас легко и беззаботно, а ведь держатся же люди, работают, воюют. Недоедают, недосыпают, но дело свое делают... «Должно быть,— подумалось Звереву,— есть в мире некий еще несформулированный закон, что чем жестче время, тем неподатливей люди...»

Впереди, покачиваясь в седле с тяжеловатой грацией, ехала Дарья Перфильевна. Позади — трое ее людей, сумрачные вооруженные мужики. Такой порядок езды сохранялся весь день — после каждого привала и прочих остановок Зверев с Очиром неизменно оказывались посредине, и Алексей отметил, что это весьма похоже на следование под конвоем.

Неискреннее радушие золотопромышленницы иссякло в первый же день — сразу после того, как на ее прииске, где с десяток угрюмых старателей работали в условиях, близких к каторжным, окружной инженер указал на целый ряд прямо–таки преступных нарушений правил и предписаний относительно безопасности труда и отвратительное питание рабочих. Так было и на двух других приисках, столь же мелких. А на более крупном, Иоанно–Дамаскинском, вскрылось и нечто похуже: наметанный глаз окружного сразу обнаружил вопиющую разницу между тем, что указывала Мухловникова в отчетности, присылаемой в канцелярию окружного инженера, и действительной добычей золотосодержащих песков. Это было явное и грубое укрывательство, хищение золота. Зверев довольно прозрачно намекнул промышленнице, что за такие дела и раньше–то не гладили по головке, а сейчас, в обстановке гражданской войны, последствия могут быть крайне тяжелыми.

Дарья Перфильевна, за долгие годы, очевидно, привыкшая к полнейшей безнаказанности, с искренним возмущением выслушала вежливые, но твердые разоблачения Зверева, хотела, по всему, взорваться, но сдержалась и протянула с нехорошей усмешкой: «Что ж, вам видней — на то вы и ученые...»

Отрог между тем надвинулся уже вплотную к тропе, тесня ее своим почти отвесным склоном. Очевидно, долина Учумуха была приурочена к древнему тектоническому разлому, о чем свидетельствовали и скальные отвесы,— несокрушимые и монолитные на первый взгляд, они были рыхлые, пронизанные на всю глубину густой сетью трещин. Тропа шла по толстому слою щебенки, устилающей подножья этих медленно разрушающихся скал. Крутой откос слева, резко обрывающийся к реке и тоже покрытый щебнем, казался в густеющих сумерках полосой свежевспаханного поля.

Под мягко ступающими копытами похрустывало, и этот размеренный звук почему–то привел Алексею на память любимую отцом балладу Жуковского «Иванов вечер, или Замок Смальгольм»:

До рассвета поднявшись, коня оседлал
Знаменитый Смальгольмский барон,
И без отдыха гнал меж утесов и скал
Он коня, торопясь в Бротерстон...

Классическая ритмика этих строк как бы сама собой ложилась на неторопливый стук копыт, на слитный шум воды, доносящийся из–под обрыва, на залитые сумерками изломы скал.

Анкраморския битвы барон не видал,

Где потоками кровь их лилась,
Где на Эверса грозно Боклю напирал,
Где за родину бился Дуглас...

Следующую строфу Звереву не суждено было вспомнить. Из-под лошади, на которой ехала Мухловникова, черным фейерверком взвилась какая-то птица, показавшаяся в этот сумеречный час огромной. Лошадь шарахнулась влево, на откос, завалилась сразу же набок и вместе с ожившей массой щебня стала сползать к краю обрыва.

Все это произошло столь мгновенно, что Дарья Перфильевна не успела даже вскрикнуть. Нога ее оказалась придавленной всей тяжестью упавшей лошади. Золотопромышленница тотчас попыталась отчаянным рывком высвободиться, но лишь ухудшила положение — остановившийся щебень снова пришел в движение и еще на сажень приблизил ее к обрыву.

Алексей, соскочивший с седла почти в тот самый момент, когда рухнула лошадь Мухловниковой, бросился на помощь, но едва он оказался на откосе — из-под ног словно бы выдернули рывком ковер. Зверев грохнулся навзничь и, не осознав толком случившегося, почувствовал, что съезжает вниз. Он изловчился, вскочил. Ноги его продолжали скользить. Отчаянно взмахивая руками, Алексей с трудом сохранял вертикальное положение. И вдруг он увидел, что тот участок склона, где задержалась было Дарья Перфильевна, снова ожил. В следующий миг лошадь, наверно почувствовав опасность, сделала попытку встать на ноги, отчего движение предательской поверхности лишь ускорилося. Момент был критический. Сверху, с тропы, неслись отчаянные крики. Раздумывать было некогда — все решали секунды. Зверев рванулся наискось по склону, добежав, упал рядом с Дарьей Перфильевной, крепко ухватил ее за руку и одновременно с этим, вырвав из ножен свой длинный охотничий кинжал, с размаху вонзил его в стекающий щебень. Где-то краешком сознания он понимал бесполезность этого поступка (под слоем щебня была гладкая скальная плоскость), но произошло чудо: кинжал со скрежетом вошел по самую рукоятку, угодив, должно быть, в одну из трещин. Зверев напрягся, удерживая Дарью Перфильевну, и почувствовал, что сползание прекратилось.

— Не могу вытащить ногу,— из-под растрепавшихся волос на Алексея глянул ее глаз, огромный от ужаса и как бы светящийся в сумраке.— Засела в стремени...

Почти у самого лица со змеиным шорохом проползла струйка мелкого щебня, скатилось несколько камешков. Алексей бросил взгляд наверх. Там суетились смутные фигуры.

— Сюда не соваться! — крикнул Зверев.

— Держитесь! — заголосили с тропы.— Сейчас веревку отвяжем!

Зверев лихорадочно соображал. Опасность ничуть не уменьшилась — в любую минуту скольжение грозило возобновиться, и тогда лезвие кинжала могло не выдержать тяжести лошади и двух человек. Да и веревка, много ли она поможет, если нога Мухловниковой прочно застряла в стремени? Алексей понимал, что вряд ли можно волоком вытянуть отсюда на веревке лошадь вместе со всадницей.

Положение казалось отчаянным. Тем временем почти совсем стемнело. На малейшее движение склон отзывался зловецким шорохом. Ждать чего-либо дальше было невозможно, и Зверев решился.

— Очир! — крикнул он.— Брось мне нож!

Он знал, с каким мастерством Очир мечет ножи, и поэтому надеялся, что тот не промахнется. И точно, через несколько мгновений рядом со Зверевым мягко упал нож в ножнах. «Молодец!» — похвалил про себя Алексей, с опаской отпустил Дарью Перфильевну, затем, продолжая одной рукой удерживаться за рукоятку кинжала, второй поднял брошенный Очиром нож и с помощью зубов вытащил его из ножен.

— Не двигайтесь,— сказал он, еще раз прикинул расстояние и начал медленно, с величайшей осторожностью перемещать свое тело.

— Осторожно, осторожно... — то и дело повторял он вполголоса.

Ему показалось, что прошло страшно много времени, пока удалось принять нужное положение — головой вниз по склону. Теперь Зверев был совсем близко от Дарьи Перфильевны. Ее мертвенной белизны лицо резко выделялось в темноте и поразило его какой-то жутковатой предсмертной красотой.

Алексей взял нож в зубы и насколько мог вытянул освободившуюся руку, пробуя нащупать пальцами седельные подпруги. Это ему удалось. Теперь требовалось осторожно, не потревожив, боже упаси, лошадь, перерезать обе подпруги. Больше всего Зверев боялся задеть ненароком лезвием или кончиком ножа чуткую лошадиную кожу.

Однако все обошлось.

Зверев перевел дыхание. Несмотря на ночную прохладу, ему было жарко, пот заливал глаза.

— Держитесь за меня,— быстро проговорил он, затем обернулся в сторону тропы: — Эй, бросай веревку!

Миг спустя неподалеку шлепнулось что-то мягкое, зашуршало, опять покатались мелкие камешки.

— Мимо! — рассердился Зверев.— Правее надо, правее!

Второй бросок был точен — веревка упала прямо на Алексея. Взявшись за нее, он для пробы пару раз дернул.

— Отлично! Держите так и пока не тяните!

Затем он с усилием разжал пальцы, онемевшие на рукоятке кинжала, крепко обхватил Дарью Перфильевну и, крикнув: «Держи!», сделал то, что было ему глубоко отвратительно и что так не хотелось делать — обеими ногами с силой толкнул лошадь вниз.

Алексей ожидал какого-то обвального грохота, гула рушащихся масс, но все произошло иначе и оттого — еще тягостнее: легкий шум скольжения... почти человеческий вскрик, полный ужаса и отчаяния... потом — показалось, что глубоко внизу,— несильно ухнуло, плеснуло, и стало до удивления тихо. Лишь потревоженный склон еще некоторое время шуршал и шелестел, однако вскоре и здесь все успокоилось.

— Эй! — окликнули сверху.

— Ну? — голос Мухловниковой прозвучал неприветливо.

— Эге, а анжинер-то, выходит, сверзился?

— Я тебе сверзюся! — угрожающе отозвалась Дарья Перфильевна и негромко сказала Звереву: — Теперь-то уж отпусти, что ли...

Только тут Алексей спохватился, что все еще продолжает прижимать к себе золотопромышленницу.

— Простите,— он почти с испугом отстранился от нее.

— Бог простит,— усмехнулась она.— Помоги ногу вытащить.

Алексей потянулся, ища стремя, и вдруг вздрогнул — рука его наткнулась на потник, все еще сохраняющий живое тепло теперь уже мертвой лошади. Он чертыхнулся сквозь зубы.

— Ты... вы чего? — встревожилась Мухловникова.

Зверев не ответил. С какой-то непонятной ему самому злобой, действуя намеренно грубо, он высвободил из стремени ее ногу.

— Теперь можете вставать, только держитесь крепче за веревку.

Он поднялся, помог Дарье Перфильевне и после этого мрачно скомандовал:

— Тяни! Но не очень быстро!

Наверху, отдавая Очиру его нож, Алексей вспомнил, что забыл вытащить из трещины свой кинжал. Однако спускаться за ним в темноте на этот проклятый откос Зверев не захотел. «Ничего, завтра на обратном пути заберу»,— решил он.

Дарья Перфильевна села на лошадь одного из своих людей и заняла прежнее место во главе кавалькады. Уже отъехав с пару сотен сажений, она вдруг ахнула, остановила коня.

— Господи, а седло-то!

Зверев сначала не понял, о каком это седле сокрушается золотопромышленница.

— Да то самое, на котором я ехала. Оно ж там осталось. Не вернуться ли? Или послать за ним кого-нибудь?

— Ах, вот вы о чем! — и Зверев неожиданно для себя самого принялся успокаивать ее, говоря, что за седлом можно послать и завтра, что за ночь оно никуда, конечно, не денется.

Хоть он и имел достаточное представление о нраве и хватке промышленницы Мухловниковой, но в этот момент ему как бы приоткрылась истинная подоплека ее скупости, — скупости простодушной, по-детски непосредственной в своем проявлении и тем отличающейся от тонко рассчитанной и тщательно маскируемой алчности ризеров, жухлицких и иже с ними. Звереву подумалось, что подобная скупость произросла, скорее всего, из пережитой в свое время бедности или даже нищеты...

Почти уже отработанный прииск, на котором находилась резиденция Мухловниковой, носил имя святой Евдокии. Однако злоязыкий старатель, ни бога, ни черта не щадящий, называл этот прииск иначе — Дунькин Пуп. Название якобы пошло от некоей Дуньки, смазливой и лихой бабенки, жившей здесь еще в те времена, когда прииск принадлежал покойному Борису Борисовичу Жухлицкому. Дунька была на всю тайгу известная торговка любовью, и такса у нее была строго определенная — жаждущий благосклонности старатель должен был заполнить чистым золотым песком ее пуп, необыкновенно вместительный и глубокий. О дальнейшей судьбе этой таежной Магдалины рассказывали по-разному. Одни говорили, что она живет где-то в большом городе, владеет несколькими каменными домами и раскатывает на собственных рысаках. Другие утверждали совсем обратное: ее-де зарезали и ограбили, когда она со всем накопленным золотом выезжала в жилуху. По словам третьих, Дуньку, прельстившись ее красотой, похитил и сделал своей двенадцатой женой «орочонский князь Бомбахта», кочующий в недоступных местах тайги. Находились и такие, которые доказывали, что нынешняя Дарья Перфильевна и есть та самая Дунька, с помощью шаманов изменившая свою наружность.

Кто знает, была ли история с Дунькой обычной старательской выдумкой, скрашивающей однообразные вечера у костров, или нечто подобное действительно промелькнуло когда-то в лоскутно-пестром прошлом Золотой тайги? Но как бы то ни было, несомненным было одно: Дарья Перфильевна название «Дунькин Пуп» даже слышать не могла и резиденцию свою называла только Учумухом и обязательно растолковывала приезжим, что диковинное это слово — орочонское, а как перевести его на русский — про то никому не ведомо...

До резиденции Мухловниковой добрались поздно. Ни в одном из домов уже не было видно огня. Зверев так и не понял, велик поселок или мал. Однако дом хозяйки прииска, должно быть, из-за тишины показался ему громадным и пустым. Дарья Перфильевна, поручив инженера заботам молчаливой старушки, пропала в таинственных недрах комнат.

Ужинал Зверев в унылом одиночестве. Очир, само собой, был накормлен где-то на кухне и, как понимал Алексей, будет спать вполглаза, устроившись поблизости от лошадей.

Подававшая ужин старушка мешковатой серой одеждой и бесшумными движениями весьма напоминала летучую мышь, от этого становилось еще более неуютно. Еда показалась невкусной, чай — жидким, водка отдавала чем-то вроде керосина, и Алексей не стал даже пробовать ее.

Деликатно скомкав трапезу, Зверев поблагодарил и облегченно встал из-за стола. Старушка отвела его в небольшую каморку, поставила на подоконник коротенький коптящий огарок и, не говоря ни слова, ушмыгнула за дверь.

Оставшись один, Алексей огляделся. Комнатенка была чистая, с одним оконцем, с лавкой и добротной сколоченной деревянной кроватью. Зверев не стал мешкать — разделся, погасил свечу и с наслаждением вытянулся на довольно жесткой перине, от души надеясь, что ни клопы, ни тараканы здесь не водятся. От этой нечисти ему выпадало не раз страдать во время ночевки в разных захолустных поселках, на приисках и заимках, однако притерпеться к этому неизбежному злу Алексей так и не мог...

Положил под голову пистолет, но чисто по привычке — ни один промышленник, даже самый дурной и дикий, не станет, разумеется, убивать в своем доме окружного инженера, как бы тот ему ни насолил и какое бы смутное и бесшабашное время ни корежило таежную жизнь. Куда как проще и безопаснее подстеречь неугодного человека на глухой тропе. А поступить так у хозяев Золотой тайги должен быть большой соблазн, и особенно после позавчерашнего разговора в гостинной Жухлицкого. Откровенно высказывая тогда свои несколько сумбурные взгляды на происходящее в России, Алексей сознавал, что подвергает себя опасности, но ничего с собой поделывать не мог — он был воспитан в презрении ко лжи...

Несмотря на усталость, сон почему-то не шел. Должно быть, сказывалась встряска, полученная на злополучном откосе. Интересно, какова высота берегового обрыва в том месте? Метров двадцать пять — тридцать, пожалуй... Вполне достаточно, чтобы превратиться в мешок с костями... Обдумать происшедшее с геологической точки зрения у него давеча не было времени, и он занялся этим сейчас.

Последовательно, шаг за шагом припомнил все до мелочей и окончательно уверился в справедливости мелькнувшей тогда догадки: берег Учмуха сложен пластами кристаллических сланцев, круто наклоненных в сторону реки. «Да, получился типичный «бронированный» склон, замаскированный «живой» осыпью,— подытожил он.— Коварная штука. Помнится, об этом нам что-то говорили на лекциях по курсу геоморфологии...»

И в памяти ожил родной, незабвенный Петербургский горный институт. Его гудящие от голосов коридоры. Многолюдные аудитории. Торжественные, внушающие почти суеверное почтение кабинеты, в которых, казалось, еще не смолкло эхо голосов великих учителей российских горных инженеров — академиков Григория Петровича Гельмерсена, Феодосия Николаевича Чернышева, Ивана Васильевича Мушкетова, и это не было преувеличением, ибо их дела, созданные ими научные школы и направления продолжали жить в стенах Петербургского горного. И в среде студентов от поколения к поколению передавались невероятные были и достоверные легенды о вкусах, привычках, чудачествах этих маститых старцев.

Когда Алексей Зверев впервые переступил порог горного института, со дня кончины профессора Мушкетова минуло уже восемь лет, но все еще живы были рассказы о нем — о его неповторимо прекрасных лекциях, о его знаменитых ежемесячных собраниях Минералогического общества, после которых он устраивал у себя дома веселье и не менее знаменитые Nachtsitzung, то бишь ночные заседания, о его исследованиях на Тянь-Шане, Памиро-Алае, о его поездке в Восточную Сибирь для изучения трассы будущей Кругобайкальской железной дороги, и в конце концов студент Зверев почти уверовал в то, что лично знал прославленного профессора.

Вот и сейчас, едва он подумал о нем, в памяти возник величественный высоколобый старец, седобородый, похожий на орла в состоянии покоя...

Петербургский горный, чем ты станешь в новой России? Какие люди заполнят твои аудитории? Сохранятся ли твои традиции и твоя слава?..

Тут Алексей спохватился, что мысли завели его уже бог знает куда, тогда как сейчас ему совершенно необходимо выспаться, отдохнуть. И он решительно повернулся на правый бок.

Но едва Алексей закрыл глаза, где-то совсем рядом послышались легкие шаги, шорох, потом чуть слышно скрипнула дверь. В раскрывшемся черном проеме возникла белая фигура, и приглушенный голос Дарьи Перфильевны произнес:

— Спите? Не бойтесь, это я...

Удивленный сверх всякой меры, Зверев не нашел ничего иного, как пробормотать:

— Нет... отчего ж... Я нисколько не боюсь...

Она неуверенно шагнула, остановилась и, запинаясь, сказала:

— Вот... Приехала, легла, а сон не берет... Лежу и мучаюсь... Никак не пойму я, зачем вы давеча полезли за мной... на обрыв-то?.. Мои варнаки ведь не сунулись, наверху все бегали да голосили, а сами небось думали: «Пропaday, Мухловничиха, баба с воза — кобыле легче».

А вы... ведь никакой же вам корысти, а жизни лишиться очень даже могли...

Судьба Зверева до сего дня складывалась так, что он никоим образом не был готов во мраке ночи растолковывать азы человеколюбия полураздетым владелицам золотых приисков.

— Видите ли...— отвечал он, с трудом подбирая слова.— Не мог же я допустить, чтобы такая женщина... могла пострадать...

— Женщина...— в голосе Дарьи Перфильевны промелькнула горькая усмешка.— Это, может, для наших приисковых кобелей я еще женщина, а для вас—то, поди, старая баба...

Зверев снова вспомнил подирающий по коже шорох щебня, стекающего словно бы в бездну, жуткий визг падающей с обрыва лошади и лицо Дарьи Перфильевны, обреченная, предсмертная красота которого, казалось, против воли явила себя в минуту отчаяния.

— Напрасно вы так,— тихо и серьезно сказал он,— Очень печально, когда гибнет женщина, но вдвойне печальней, если она при этом еще и красива... В общем, я рад, что все окончилось благополучно...

Дарья Перфильевна подошла ближе. Придерживая рукой ворот рубашки, наклонилась, словно хотела заглянуть ему в глаза, проговорила низким грудным голосом:

— И откуда ты такой взялся на мою голову?

— Из Верхнеудинска, по делам службы,— вместо непринужденной шутки Зверев лишь выдал свое замешательство.

— Ох, как я была зла на тебя сегодня утром,— словно не слыша его, продолжала Дарья Перфильевна.— Ах ты, думаю, сопля канцелярская, кому вздумал зубы показывать! Это тебе тайга, а не жилуха, тут мы сами власть и сами судьи. Захочем — на куски изрубим и собакам скормим...

Она, как бы сама того не замечая, присела на край кровати и, наклонившись к нему совсем близко, заговорила с лихорадочной поспешностью:

— Ты уж прости меня, старую дуру,— я ведь злое дело против тебя затеяла. Знаю — грешно это, а ничего с собой поделаться не могла. Я ведь на Дамаскинском подговорила своих мужиков, чтобы они тебя, как обратно—то отсюда поедешь, подсадили где—нибудь, ухайдокали, а после спрятали так, чтоб и с орончскими лайками не отыскать. Вот что я задумала, тварь такая. Ты уж не держи на меня зла, ладно? Видишь, винюсь я перед тобой, от чистой души винюсь. Ну, хочешь, на колени встану, а? Ну, ударь меня, коли хочешь,— все стерплю...

Алексей приподнялся на локте, оказавшись чуть ли не вплотную к ее лицу, известково белевшему в темноте. Некоторое время он напряженно всматривался в него, безуспешно пытаясь увидеть, каково оно сейчас, в момент этого ошеломляющего признания.

— Наверно, вы говорите правду,— медленно сказал он наконец.— Но не верится мне... Ну, убили бы, так вместо меня приедет другой кто—нибудь. Ничего не изменится. Не вернется уж прежнее. А простить... за что ж прощать? Я ведь пока еще жив...

— Ох, жив, жив. И будешь жить...— И Дарья Перфильевна, всхлипнув, вдруг обняла и начала иступленно целовать его, бормоча: — Я сама... сама под любую пулю встану, чтоб оберечь тебя...

Оборвав свои бурные ласки столь же внезапно, как начала, она резко отстранилась, помолчала немного, решительно встала.

— Отвернись на минуту,— хмуро сказала она.— Хоть и темно, а стыдно мне почему—то на твоих глазах раздеваться...

Миг спустя она оказалась рядом с ним. Ее трясло.

— Знобит что—то,— шепнула она, прижимаясь к нему.— Согрей меня...

«...Опускаетесь, гражданин Зверев, вот уже и подкупам стали поддаваться при исполнении служебных обязанностей»,— подумал Алексей, сознавая в то же время, что вымученный цинизм этой усмешки — всего лишь беспомощная попытка избавиться от признания самому себе, что растерян он, раскаивается и в то же время испытывает чувство непрошеной радости или даже более того — что—то похожее на счастье.

— Господи, жабу, что ли, ты сюда положил? — Дарья Перфильевна вздрогнула и, запустив руку под подушку, извлекла пистолет.— Зачем ты это? Неужто недоброе чуял?

— Как сказать... По привычке...

— Вот и умочка. Я ведь заметила, как Аркаша Жухлицкий позавчера на тебя смотрел. Он все может, варначья душа... Будь моя воля, никуда б тебя не отпустила. А то, может, останешься? Капиталов у меня, конечно, меньше Аркашиных, но все ж побольше, чем думают... Ни в чем бы тебе отказу не было...

Алексей невольно подумал, что эта женщина, которая совершенно искренне ласкает его сейчас, не далее как сегодня утром поручила своим приспешникам его же убить. Абсурд, нелепость, но разве не такова и вся жизнь ее, прелестной и бедной когда-то девушки Даши Мухловниковой, смогшей обрести избавление от нищеты лишь в том, чтобы делать нищими других...

Движимый непонятной жалостью, Алексей обнял женщину, и она тотчас благодарно и доверчиво уткнулась ему в плечо мокрым от слез лицом.

Они молчали, и Звереву подумалось, что это самое лучшее сейчас, ибо слишком много всего произошло за несколько последних часов. Он осторожно поглаживал ее тяжелые пышные волосы, свисающие почти до самого пола, и завороченно смотрел на одинокую неяркую звездочку, подрагивающую в верхнем углу оконца.

— Сердце что-то разболелось... К чему бы это? — прошептала вдруг Дарья Перфильевна и, чуть спустя, добавила упавшим голосом: — Ох, убьют тебя... Не Жухлицкий, так кто-нибудь другой...

Зверев долго молчал, потом проговорил равнодушно!

— Что ж, убьют так убьют. Знал, куда еду. Если б боялся — сидел бы сейчас в Верхнеудинске...

Пожалуй, давала-таки себя знать усталость — его и в самом деле оставила равнодушным мысль о возможной смерти. Тело было странно легким, почти несуществующим.

Что-то ласково ворковала Дарья Перфильевна, но слова ее проходили мимо сознания.

И прежде чем окончательно погрузиться в сон, Алексей на краткий миг перенесся в прошлое и увидел себя, гимназиста, в заставленном книгами кабинете отца; в руках у него том Плутарха, но Алексею не надо даже читать, чтобы вспомнить поразившие и не понятые им тогда слова Александра Македонского о том, что сон и близость с женщиной более всего другого заставляют ощущать себя смертным, ибо утомление и сладострастие проистекают из одной и той же слабости человеческой природы.

«Еще один абсурд», — вкрадчиво шепнул кто-то в самое ухо, после чего в мире воцарилась глубокая тишина...

ГЛАВА 15

Проверка Учумухского и еще одного небольшого прииска по соседству заняла всю первую половину дня. Когда Дарья Перфильевна проводила окружного инженера до границы своих владений, указала тропу, по которой следовало ехать, чтобы избежать ею же самой подготовленной засады, и украдкой перекрестила Алексея вслед, было около полудня.

Дорога получилась самая обыкновенная — спокойная, скучная, с надоедливym жужжанием паутов. Если посчитать, лошади находились в пути уже с месяц, поэтому Зверев с Очиром их не торопили. Ехали больше шагом, в местах с хорошей травой делали остановки.

На первом привале Очир, как бы между прочим, полюбопытствовал, почему не поехали вчерашней тропой, которая бесспорно короче. Алексей чуть замялся, с преувеличенным вниманием разглядывая циферблат своего многострадального, но надежного «Лонжина».

— Понимаешь, хозяйка прииска сказала, что там опасно, — объяснил он, и Очир больше ни о чем не спрашивал.

Прикинув по карте и посоветовавшись, они решили, что при такой езде, не спеша, жалеючи коней, в Чирокане они будут никак не позже десяти, ну от силы — одиннадцати часов вечера.

Как и за несколько дней до этого, Мария–Магдалининский прииск открылся перед ними в вечерних лучах. Только на сей раз Алексей и Очир смотрели на него не с западной стороны, а с юго–восточной, с перевала в верховьях Гулакочи. В долине речушки уже залегла синяя тень высокого левого водораздела, затопившая почти до половины и крутой правый берег. В щелеобразных устьях боковых притоков синева сгущалась почти до черноты, однако в устье Гулакочи, распахнутом в желтовато–зеленую пятнистую долину Чирокана, лежала ненадежная позолота вечеряющего солнца.

Зверев и Очир спешили и, ведя коней в поводу, стали спускаться вниз, навстречу разлитым в долине сумеркам. Еле заметная тропа петляла по каменной россыпи, одетой в шершавую змеиную шкуру лишайников.

К тому времени, когда они спустились в долину, уже подступала ночь. Неотчетливая тропа шла по левому берегу Гулакочи, покрытому редкой порослью краснотала.

Едва путники сели на лошадей и проехали шагом сотни три саженой, как где–то совсем недалеко хлестко ударил выстрел, послышался неясный рев, а затем — еще выстрел. Алексей тотчас придержал коня; в голове мелькнула было мысль о молодцах Дарьи Перфильевны, но он тут же отменил ее как явно несуразную. Очир, быстро озираясь, проехал вперед. Он успел уже достать маузер и теперь держал его наготове, положив на луку седла.

Приближаясь, забухал усиленный эхом топот пущенных в галоп лошадей, и через мгновение впереди из незаметного бокового распадка вынырнули один за другим два всадника, на полном ходу свернули влево и не оглядываясь унеслись прочь. Только отзвук копыт еще некоторое время, замирая, прыгал над сумеречными зарослями, протянувшимися в низовья Гулакочи.

– Худо маленько,— вполголоса проговорил Очир, настороженно вглядываясь в темное устье распадка.— Кто стрелял? Посмотреть надо, а?

– Что ж, будем смотреть,— согласился Алексей и снял с плеча винтовку.

Они приблизились к распадку, чуть выждали, а затем осторожно двинулись вверх по нему. Слева бормотал в камнях ручей, справа молчаливой шеренгой стояли низкорослые лиственницы.

Очир, державшийся впереди, вдруг остановил коня, спрыгнул и, нагнувшись, стал разглядывать что–то на земле. Потрогал темневшие обочь тропы пятна, поднес пальцы к глазам, затем вытер их о круп коня.

– Кровь,— пояснил он подъехавшему Звереву и уже поставил ногу в стремя, собираясь вскочить в седло, но неожиданно замер, стал прислушиваться, глядя куда–то вперед.

Зверев тоже напряг слух, но, кроме шума воды, ничего не мог услышать.

– Худо дело,— сказал опять Очир, сделал Звереву знак оставаться на месте и мягкой, крадущейся походкой двинулся по тропе.

Алексей на всякий случай снял затвор винтовки с предохранителя.

Между тем Очир уходил все дальше, и вскоре темнота совершенно размыла его фигуру.

Время шло. Алексей ждал, продолжая прислушиваться. Все так же шумел ручей. С верховьев распадка набегал ветерок и легонько раскачивал верхушки чахлах лиственниц. Вздыхали лошади, перебирая удила. Вдруг Алексею показалось, что где–то в отдалении раздались голоса...

Очир появился совершенно бесшумно — как бы разом возник из темноты.

– Вон там человек лежит,— сообщил он, неопределенно махнув рукой вверх по ручью.— Мало–мало помогать надо, а?

Очир легко взлетел в седло и, не дожидаясь ответа, тронул коня.

Ехать пришлось недалеко. Зверев вплотную следовал за Очиром, поэтому на открывшуюся впереди поляну они выехали почти одновременно, и тотчас посреди этой самой поляны кто–то метнулся, взвизгнул (Алексею в первый миг показалось — большая

собака), потом вскочил, обретя смутные, но вполне человеческие очертания, и, не переставая повизгивать, канул во тьму. На том месте, где возилось это пугливое существо, осталось что-то темное, громоздкое.

Помедлив, они подъехали, спешили, и Зверев увидел лежащего ничком очень широкого человека, голова которого казалась непомерно большой из-за буйной шапки волос. Что-то знакомое почудилось в нем Алексею. Вдвоем с Очиром они перевернули его на спину, и тут Алексей вспомнил: тот самый диковинный старец, который несколько дней назад просил продать шелк и бархат и сыпал при этом на землю золотой песок. Как и тогда, он был одет в балахон из мешковины, и балахон этот густо пропитался кровью на груди и на животе. Лужа крови натекла на траву.

Видимо, скитания по степям и пустыням Монголии, по неведомым местам Маньчжурии и Тибета научили Очира многому. Он молча достал из седельной сумки перевязочный материал, банку с какой-то остро пахнущей мазью, вспорол ножом балахон и, несмотря на темноту, принялся с большой сноровкой обрабатывать рану.

Зверев стоял рядом и старался представить себе, что же здесь произошло. Те двое, усакавшие вниз по Гулакочи, спешили так, словно за ними гнались. Кого они испугались? Этого хоть и здорового, но тяжело раненного человека? Или того, кто минуту назад сбежал отсюда? А может, кроме этих четырех в только что разыгравшейся небольшой таежной драме участвовали и другие действующие лица, которые сейчас скрываются где-то поблизости? Подумав так, Алексей почувствовал себя неуютно — он вдруг отчетливо осознал, что, стоя, словно верстовой столб, посреди поляны, представляет собой неплохую мишень. И, как нарочно, где-то в темноте, в кустах, осторожно ворохнулось, треснул сучок. Алексей тотчас взял винтовку на изготовку. Должно быть уловив его движение, Очир поднял голову.

— Однако, это друг его, — негромко сообщил он. — Был тут, когда я первый раз пришел сюда. Увидел меня — убежал. Потом мы с тобой приехали — опять убежал. Боится, а не уходит — наверно, друг. — Очир обернулся в ту сторону, откуда донесся шум, и крикнул: — Эй, паря, ходи сюда! Мы совсем другие люди! Которые стреляли, те давно бежали!..

В кустах долго стояла тишина. Потом там послышались возня, шорохи, после чего в темноте проступила неясная тень и стала нерешительно, то и дело останавливаясь, приближаться. Подойти незнакомец все же не решился, а остановился на почтительном расстоянии. Обличье его по-прежнему оставалось смутным. До Зверева доносились сдерживаемые и оттого особенно горестные и судорожные всхлипы.

— Подходи, не бойся, — как можно мягче проговорил Алексей и для вящей убедительности повторил слова Очира: — Мы совсем другие люди. Я инженер Зверев, а его зовут Очиром. Мы из Верхнеудинска.

Видимо, это в какой-то мере убедило и успокоило человека. Он приблизился еще на несколько шагов.

— Ты кто? Как зовут тебя? — голосом, каким говорят с детьми, спросил Зверев.

— Васька я... Разгильдяев то ись по фамилии, — гнусавым баском отозвался незнакомец и шмыгнул носом.

— Кто он? Как зовут? — Зверев кивнул на раненого.

Васька ответил не сразу.

— Известно кто — Штольник... — с заметной неохотой проговорил он. — Штольником его кличут...

— Штольником? — не понял Зверев. — Это как понимать?

— Ну, который в старых штольнях водится... То ись Штольник, выходит...

— Ах, в штольнях! Понятно, понятно...

Разговор, и с самого-то начала не особенно складный, грозил превратиться вовсе в околесицу, поэтому Алексей решил от дальнейших расспросов пока воздержаться.

Дело же, однако, было в следующем. Рабанжи и Митька Баргузин, получив от Аркадия Борисовича соответствующий приказ, выехали на Мария-Магдалининский прииск.

Еще не доезжая до него, глазастый Митька заметил человека, быстро прошмыгнувшего меж черными развалинами домов. Тогда придержали коней и, хоронясь в кустарнике, стали глядеть, что будет дальше. Ждать пришлось довольно долго. Наконец человек, на этот раз с какой-то заплечной ношей, появился, рысцой пересек открытое место и нырнул за одну из развалин. Чуть погодя он возник снова, но тут Митькина лошадь, как по наущению черта, встрепенулась, наставила куда-то уши и, храпнув, пронзительно заржала, тварь этакая. Человек враз замер, крутнул туда-сюда башкой и исчез, будто сквозь землю провалился. Митька шепотом матерился. Было ясно, что добычу спугнули, но все же решили некоторое время выждать. Так и сделали, однако среди трухлявых срубов Мария-Магдалининского, если не считать собак, никто так и не появился. Митька потерял терпение, плюнул и зло ударил коня ногой. Рабанжи, посмеиваясь, последовал за ним. На Магдалининском они быстренько обшарили развалины и нашли кое-как, видимо — второпях, спрятанные треть куля муки, непечатую жестяную банку с постным маслом, крупу и соль. Жухлицкий был прав: с его тайного склада на Мария-Магдалининском потихонечку потаскивали продукты.

Перетолковав меж собой, Рабанжи и Баргузин решили пойти по следам бежавшего похитителя.

Легко распутав нехитрые зигзаги, которые то ли с умыслом, то ли со страху выделявал удиравший, Митька в конце концов оказался на тропе, уводящей вверх по Гулакочи, и с ретивостью охотничьего пса пустился вдогонку.

В верховьях долины следы свернули вправо, в неширокий распадок. Митька заухмылялся: «Теперь уже скоро»,— и понужнул коня, торопясь до темноты настигнуть беглеца.

Миновав на рысях пару полянок, Рабанжи с Митькой вынеслись на открытое место и тут увидели неподалеку от себя устье штольни, уходящей в крутой склон правого борта распадка, жидкий костерок перед устьем и сидящего у огня человека, в котором сразу узнали Купецкого Сына.

Даже появление всех десяти покойников с Полуночно-Спорного не могло бы напугать Ваську больше. Он окаменел с отвалившейся челюстью. Но когда всадники, после малой заминки, повернули к нему, Васька запустил в приближавшихся кружкой с чаем и, отчаянно вереща, заячьим поскаком бросился к штольне. «Стой!» — загремел Баргузин и скорее для остротки шарахнул по нему из винтовки. И тут случилось не совсем понятное. Васька вдруг пропал, словно провалился, а вместо него в черном зеве штольни выросло что-то невообразимое — зверь не зверь, но как бы и не совсем человек: широченное, с руками почти до земли, косматая башка с артельный котел, и к тому же рывкнувшее таким ужасным голосищем, что кони шарахнулись, заплясали, перестали слушаться поводыев.

– Штольник! — ахнул Баргузин.

Рабанжи, которому было наплевать, кто перед ним — святой дух, черт с рогами или какой-то Штольник, тотчас выстрелил и попал. В ответ Штольник взревел еще громче, взмахнул рукой, и пущенный со страшной силой топор начисто стесал левое ухо Рабанжи, отчего тот выронил винтовку и едва не сверзился с седла. А страшилище меж тем громадными прыжками мчалось к Митьке, и у отчаянного Баргузина, не боявшегося ни ножа, ни пули, первый раз в жизни задрожали руки. Он понимал — надо немедленно стрелять, но вместо того чтобы вскинуть винтовку и нажать спуск, раз за разом ошалело передергивал затвор, выбрасывая нестреляные патроны. Набежавший Штольник вырвал у него винтовку, заскрипел зубами и мгновенно согнул ее в дугу. Зрелище было чрезвычайное, и оттого Митька немного очухался. Он дико вскрикнул и так ударил коня стремями, что тот с места сорвался вскок. Однако Штольник успел ухватиться за конский хвост и, упершись, сдерживал лошадь до тех пор, пока она не ударила его копытом в живот. Но и после этого он, уже простреленный пулей Рабанжи, несколько сажень проволока за лошадью, затем разжал руку и остался недвижим, словно труп. Только тогда Митька с трудом перевел дыхание и бросился догонять ускакавшего вперед Рабанжи...

Конечно, всего этого Купецкий Сын не мог знать. Но то, что знал, он сам, не дожидаясь вопросов, выложил Звереву. Это произошло уже после того, как раненого, все еще не очнувшегося, с трудом перенесли в штольню, в глубине которой было устроено добротное, но в то же время и очень странное жилье.

Васька угрюмо глядел на подрагивающий огонек свечи, и лицо его, заросшее многодневной щетиной, обиженно кривилось.

— ...Третьего дня собак на меня напустил. Ладно, хоть ловкость во мне немалая и силушкой бог не обидел, не то б сожрали, истинный бог, сожрали. А собаки у Жухлицкого — во, с телка ростом, хвостище вроде полена и клык волчий, режет, адали бритвой. Ладно. Пусть...

А сегодня, значит, евонные жожалые при оружии налетели. Трах-бах! Ведь мамоево же побоище тут было!.. Ну, положим, отбились мы, а все ж дядя Гурьян, значит, лежит помирает... Из-за чего человека убили да и меня хотели? А на Магдалининском, вишь, немного провизии взяли — мучицы там, пшена маленько... Оно вроде, выходит, воровство, потому как не спросясь. Ладно, пусть так, а все ж истинный-то вор кто? То-то и оно, что — он, Аркадий Борисыч, истинный вор и есть. Оно ведь как: весь Чирокан с голодухи пухнет, детишки там, старики... а на Магдалининском, поверишь ли, все старые шурфы вкруговую кулями забиты. А в тех кулях что? Мука. А еще что? Рис, пшено и прочее питание для еды... На Магдалининском этом страх что творится — кругом кости человечьи, в гробу шаман ороchonский лежит воет, а по ночам вылазит кости те грызть. Его, то ись шамана этого, Аркадий Борисыч поставил стеречь несправедное добро...

Надо было хоть немного знать затурканного Ваську и несуразную его житуху, чтобы должным образом оценить ту мстительную решимость, с какой он обличал — подумать только! — самого Жухлицкого. Причина тут крылась отчасти в том, что впервые за много-много лет Купецкий Сын видел или хотел увидеть в инженере из Верхнеудинска человека, который представлялся ему более могущественным, чем всеильный Аркадий Борисович. И однако же не это являлось главным. В ту ночь, когда искусанный собаками Васька явился к Турлаю, в нем забрезжило ранее не испытанное чувство праведной злобы. Но ее, злобы этой, хватило лишь на малый рассказ о запертых в подвале старателях, после чего она быстренько увяла, съезжилась и испустила дух. А вот сегодня невероятное свершилось с Купецким Сыном. После того как Рабанжи, а вслед за ним Баргузин ускакали прочь, он — не сразу, конечно, — подкрался к замертво лежащему Штольнику, стал всхлипывать, охать, бестолково суетиться. Тут вдруг появился Очир и не успел окликнуть — Ваську словно ветром сдуло. Необычно было то, что удрать-то он удрал, но не с концом, как сделал бы раньше, и даже рискнул вернуться к раненому после ухода Очира. Потом Очир возвратился со Зверевым, и Васька опять ретировался в кусты, но далеко не ушел, а, с великим трудом побарывая страх, остался поблизости, и это совсем уж поразительно, потому что подъехавших верхами Зверева и Очира он принял в сумерках за вернувшихся Рабанжи и Митьку...

— ...Эти двое, Митька и... как вы его назвали? — Зверев нетерпеливо пощелкал пальцами.

— Рабанжи, — подсказал Купецкий Сын.

— Странная фамилия. Грек, что ли?.. Впрочем, неважно. Они, говорите, видели вас на Мария-Магдалининском прииске?

— Видели, не иначе, — кивнул Васька. — Слышу, конь заржал... Они, они, больше некому. А потом, значит, по следам, по следам за мной...

— Теперь они сообщат Жухлицкому, что тайники на прииске раскрыты, — размышлял Зверев. — И тогда он постарается в течение ночи изъять оттуда продукты и перепрятать в другое место. Это вполне в его силах. А жители Чирокана по-прежнему будут голодать... Вы понимаете мою мысль?

Васька, до которого вдруг дошло, что к нему впервые в жизни обращаются на «вы», да еще не кто-нибудь, а, шутка сказать, горный инженер, вконец растерялся, оторопел и едва нашел в себе силы невнятно пискнуть что-то в ответ.

— Вот и отлично,— кивнул Зверев.— Тогда сделаем так. Я даю вам своего коня, а вы немедленно скачете в Чирокан и рассказываете Турлаю о тайниках. Что делать дальше, он сообразит сам. Главное — помешать Жухлицкому и его людям забрать продукты с Мария-Магдалининского. Возможно, дорога окажется небезопасной, поэтому с вами поедет товарищ Очир. Положитесь во всем на него. Выезжать нужно прямо сейчас. Вы готовы? Да, Васька был готов. Больше того — он, наверное, помчался бы сломя голову и один, и даже заведомо зная, что где-то в пути его будут поджидать Рабанжи и Митька.

— Да я... я... Эх, в общем, мое достоинство при мне!..

Купецкий Сын вскочил, но тут же спохватился, с беспокойством взглянул на Штольника.

— Кажись, дышит... Как думаете?..

— Будем надеяться,— коротко отвечал Алексей. Васька направился к выходу, но вдруг остановился и нерешительно посмотрел на Зверева.

— Это самое... может, ружьецо дадите?.. Оно ведь как знать...

— Не надо,— вмешался Очир.— Я мало-мало могу стрелять. Тебе стрелять совсем не надо.

— Положитесь полностью на него,— повторил Зверев и протянул руку.— Счастливого пути!

Васька замешкался от неожиданности — видно, не часто ему подавали руку,— торопливо и неловко пожал кончики пальцев Зверева, после чего какой-то деревянной походкой зашагал к выходу, где его уже ждал Очир.

Оставшись наедине с бесчувственным человеком, Зверев внимательно оглядел обиталище, устроенное в глубине старой штольни. Сделано оно было толково и с умом. Все вокруг — стены, пол, потолок — из обтесанных бревен, щели туго проконопачены мхом. В углу печка-каменка. Непонятно только, куда девается дым. Видимо, имеется дымоход с хорошей тягой, иначе, затопив печку, можно задохнуться. Обычно в штольнях бывает холодно, сыро, но тут этого Зверев не заметил.

Судя по всему, обитали здесь уже давно — подземная каморка выглядела вполне обжитой. Кроме топчана, на котором лежал сейчас бесчувственный хозяин, в углу виднелся стол, возле него — лавка и что-то вроде ларя. Впрочем, много ли разглядишь при скудном свете единственной свечи, а проявлять излишнее любопытство в чужом жилище Зверев, естественно, не стал.

«Может, стоило самому поехать с этим Разгильдяевым?» — подумал он, однако тут же должен был признать, что если, не дай бог, дело дойдет до перестрелки с кем-то в пути, то стрелок-виртуоз Очир окажется куда полезнее его. Нет, все сделано правильно, и единственной заботой в ближайшие часы оставался этот старец — Штольник.

Зверев снова подошел к нему, прислушался. Дыхание раненого как будто выровнялось, глаза спокойно закрыты, и вообще — впечатление почти такое, что человек спит. Видимо, пахучая мазь Очира, составленная по каким-то неведомым рецептам степной медицины, делала свое дело.

У Алексея несколько отлегло на душе, и, усевшись на лавку, он приготовился к бессонной ночи.

Должно быть, он все-таки незаметно задремал, ибо пропустил момент, когда старец пришел в чувство и, повернув голову, уставился на него.

Что бы там ни говорили, но, наверно-таки, есть во взгляде человеческом, а в особенности — взгляде страдающем, некая магнетическая сила, оказывающая порой действие, почти физически ощутимое. Во всяком случае, Алексею показалось, что его не то окликнули, не то слегка толкнули, и он мгновенно очнулся. С темного, дремуче заросшего лица на него сосредоточенно глядели два глаза, в которых красноватыми точками отражалось пламя оплывающей свечи.

Тишина, полумрак тесного пространства, красновато светящиеся глаза — все это в первый миг оказалось неожиданным для Алексея, и он не сразу сообразил, где находится. Он кашлянул, спросил сипловатым голосом:

— Э, как вы себя чувствуете?

Штольник чуть повернулся, при этом в груди у него захрипело и забулькало.

— Давно... на тебя гляжу,— медленно, трудно проговорил он.— Безбоязно спишь... с улыбкой... Совесть, стало быть, чиста...

Он умолк и молчал довольно долго. Алексей ждал, почему-то не решаясь даже шевельнуться. Бог знает, что тому было причиной — неожиданные слова старца или столь же неожиданная осмысленность его взгляда,— но Зверев смутно, интуитивно чувствовал, что на этого человека, прожившего, надо думать, долгие годы в сумерках мысли и духа, снизошло предсмертное озарение. Наступила недолгая ясность ума.

— Васька-то... где?

Зверев объяснил, стараясь говорить как можно короче. Однако старец его не слушал — он надолго погрузился в какие-то свои мысли.

— Жалко мужика... Хребтина вынута из него... Пропадет...— с усилием вымолвил он и опять замолчал.

Стояла все та же особая подземная тишина, тяжелая, как напластования горных пород, нарушаемая лишь бульканьем в груди Штольника. Чуть колебалось пламя свечи, наполняя тени призрачным подобием жизни. Алексей извлек «Лонжин», щелкнул крышкой — четверть третьего ночи. Впрочем, в этой подземной берлоге, наверно, всегда одно и то же время суток — глухая полночь.

— Крещеный? — хриловато прошелестело вдруг. Смысл вопроса дошел до Зверева не сразу.

— Что? Кто — я?... Да-да, крещеный...— запинаясь, произнес он и, сам не зная почему, добавил: — В Казанском соборе крестили...

— Возьми икону,— Штольник слабым движением век указал в темный угол, и Зверев не без труда разглядел там не замеченные им ранее образа.

Воля умирающего — священна, и все же Алексей, стоя с иконой в руках у ложа опять затихшего старца, не мог избавиться от ощущения нелепости своего положения.

— Помираю... скоро уж...— прохрипел Штольник, не открывая глаз.— Топчан отодвинешь, потайная дверца там... Приданое дочке... Сашенька, у Жухлицкого... Золото... которое в кожаном тулуне... украл я у китайцев с Полуночного, помрачение нашло... после кровь на нем выступила... Утопи его в реке... икону целуй на том... Остальное все Сашеньке... Клянись... Виноват я перед ней...

Бог-то простит... Сашенька бы простила...

Таковы были его последние слова. Больше никаких признаков жизни старик уже не подавал. И однако он был еще жив — Зверев чувствовал это интуитивно, по каким-то неуловимым и непонятным ему самому признакам. И точно так же, спустя некоторое время, он вдруг ощутил как бы неосязаемый толчок: все кончено, старик отошел. Тогда Алексей машинально взглянул на часы. Начало четвертого утра.

Что делать дальше, Алексей решительно не знал. В нем всегда теплилось подсознательное убеждение: жизнь, чья бы она ни была,— предмет значительный, и конец у нее, соответственно, должен быть тоже значительным. И вдруг эта самая жизнь, целая человеческая жизнь, прошедшая неведомо где и неведомо как, завершилась у него на глазах, и при этом настолько просто и даже как-то между прочим, что трудно было полностью поверить в случившееся...

* * *

Давным–давно, еще в ту пору, когда Аркадий Борисович был маленьким мальчиком Аркашей, а в Золотой тайге, говоря «хозяин», имели в виду Бориса Борисовича, на работавшемся тогда Мария–Магдалининском прииске жил степенный и удачливый старатель Оглоблин. Он был дока в золотом деле и при этом не хвостун, не горлохват, как иные, за что ценился хозяевами и почитался среди своей братии — бывалых добытчиков золота. Водилась за ним одна слабостишка, не редкая, впрочем, на приисках,— подверженность запоям, это случалось с ним раза два в году. В такие дни он пропадал из дому и не заявлялся обратно, пока не улетучивались из него последние остатки многодневной гульбы. Свои исчезновения он объяснял тем, что боится под пьяную руку убить жену. Ему верили, так как более жадной, жадной до остервенения, скандальной и ехидной бабы, чем знаменитая Оглоблиха, не было во всей Золотой тайге.

Очень возможно, Оглоблин, как многие до него лихие охотники за фартом, спился бы с круга и окончил свои дни в самой жалкой нищете, дерьме и вшах. Но, во–первых, его удерживало в колее то, что у него была горячо любимая почти уже взрослая дочь, и он мечтал обеспечить ей безбедную жизнь и выдать замуж за поставного человека. А во–вторых... во–вторых, ему был уготован совсем иной конец.

Все началось с того, что однажды во время шурфовочных работ на недавно открытом дальнем прииске ему попал поистине редкий самородок. Величиной с добрый мужской кулак, он по виду удивительно напоминал голову захудалой беспородной дворняги с обвислыми ушами. Оглоблин долго дивился этому курьезу природы и наконец решил, что диковинная находка, пожалуй, к счастью, а потому отдавать ее хозяину никак не следует. И с этого времени жизнь Оглоблихи превратилась в череду кошмаров: она прятала самородок в самые немыслимые места и тут же бежала проверять или перепрятывать — то ей мерещилось, что кто–то мог подглядеть, то тайник не внушал доверия, то еще какая–нибудь блажь лезла на ум.

Так, в страхе и суете, прошло три года, и за это время все те десятки и десятки потайных мест, где перебивал кусок золота, настолько перемешались, перепутались в голове вздорной бабы, что однажды, в очередной раз спрятав самородок, она больше уже не смогла его найти. Потратив несколько дней на лихорадочные поиски и даже погадав с отчаянья на картах, Оглоблиха решила сначала, что это сам черт «заиграл» золото, но потом вдруг вспомнился ей недавний разговор мужа о близящемся замужестве дочери и сетования его на то, что приданое у Варечки получается не столь богатое, как хотелось бы, и при этом он даже помышлял продать «собачью голову», о чем Оглоблиха, понятно, и слышать не хотела. И вот теперь ее склочное воображение мгновенно родило догадку, оснастило ее всяческими дополнительными мелочами, и сговор отца с дочерью предстал перед бабой со всей очевидностью.

На беду, это случилось как раз в тот день, когда Оглоблин вернулся домой после крепкого запоя. Он лежал на лавке в сенях, мучимый похмельем, раскаяньем, подавленный какими–то беспричинными тревожными предчувствиями. В этот момент к нему и подступила жена, грозно вопрошая о самородке. Муж ответил ей в том духе, что самородок за минувшие три года он вообще ни разу не видел, а в сей же момент ни видеть, ни говорить о нем не желает. С тем и уснул, а пробуждение его было таковым, что впору сойти с ума: он обнаружил, что лежит навзничь и не может пошевелить ни рукой, ни ногой, поскольку накрепко привязан к лавке, а неподалеку, не сводя с него пронзительных глаз, сидит собственная его жена с топором на коленях. Заметив пробуждение мужа, Оглоблиха взяла топор в руки и проговорила тихо и злое: «Отдай самородок. Не отдашь — вот те крест, отрублю голову». Конечно, сначала он ничему не поверил, принял все за дурной сон, затем — больше от изумления, чем со злости,— обложил жену самыми черными словами, но, видя, что с бабой творится неладное, испугался по–настоящему и, клянясь и божась, стал слезно отрицать свою причастность к пропаже самородка. «Ну, ладно,— сказала тогда Оглоблиха.— Возьму грех на душу,— подыхай, собака!» С этими словами она набросила мужу на лицо мешок и, подхватив вместо топора старый валенок, огрела его по голове. Оглоблин, сначала

было взывший, после удара тихонько ойкнул, дернулся и затих. И, как оказалось, навсегда — у бедного мужика случился разрыв сердца.

Оглоблиха благополучно скрыла причину смерти мужа, поскольку ни соседи, ни начальство не увидели в этом ничего особенного — велика важность, еще один сгорел от выпитого.

Однако история с пропажей «собачьей головы» на этом не кончилась. Вскоре после смерти отца Варвара, девица здоровая, красивая и работящая, вышла замуж за молодого старателя Гурьяна Шабаева, который, как и мечтал покойный Оглоблин, был парнем поставным и славился на приисках Золотой тайги совершенно сказочной силой. Кроме того, Гурьян отличался добродушием, приветливостью и набожностью, с готовностью отзывался на просьбу о помощи. Разношерстный приисковый народ с редким единодушием любил его, гордился им и охотно рассказывал о нем приезжим. Лучший друг Гурьяна, баргузинский псаломщик, всерьез утверждал, будто у него два сердца — слева и справа. Другие — будто он «грудью отбивает» двухпудовую гирию, — что сие значило, не знали, вероятно, и сами рассказчики. А вот то, как он, повесив на пальцы одной руки две двухпудовки, легко и свободно крестится ими, перебрасывает гирию через амбар или несет на спине лошадь, видели многие. В числе его подвигов были и иные, более серьезные. Однажды, спуская в двадцатиметровый шурф бадью с людьми, оплошали воротовщики — упустили рукоятку. В тот краткий миг, когда бадья падала вниз, а воротовщики стояли, окаменев от ужаса, оказавшийся рядом Гурьян подставил обе ладони под бешено крутящуюся рукоять ворота и совершил, казалось бы, невероятное, невозможное — сумел поймать эту самую рукоять и тем самым остановил падение тяжелой бадьи с людьми...

Сам Борис Борисович благоволил к детинушке. Вообще говоря, не нашлось бы людей, которые могли похвастаться расположением старшего Жухлицкого. Человек он был хоть и живучий, но внешне немощный, а потому недолюбливал людей болезненного вида, и в этом нет ничего странного — многие терпеть не могут в других именно те пороки, которые присущи им самим. Не нравились Борису Борисовичу и краснощекие здоровяки, — они напоминали ему о его собственной хилости. А вот к Гурьяну Шабаеву он относился совсем иначе, ибо нечеловеческая сила молодого старателя, возвышаясь над всем и вся, телесно как бы уравнивала Бориса Борисовича со всеми обыкновенными смертными. Впрочем, его благосклонность была сродни тому снисходительному удивлению, с каким взирают на десятипудового хряка или здоровенную ломовую лошадь.

Женившись, Гурьян, который своего угла, кроме топчана в казарме, не имел, поселился у жены. Жили молодые дружно, душа в душу, в положенный срок родилась дочка, которую нарекли Сашенькой. Особых достатков, как и у прочего приискового люда, у них не водилось, но оба они, люди здоровые, умели работать, а потому могли надеяться на что-то лучшее в будущем.

Но не судил бог сбыться их надеждам. Как-то весной, года два спустя после свадьбы, Гурьян заговорил о том, что хорошо бы уехать к нему на родину (он был родом с Алтая), где и тайга богаче, и зимы теплее, и хлеб родится, и, коль придет такая блажь, есть где по золотому делу стараться. Варвара поддакивала, и на том разговор закончился.

С этого дня Оглоблиха, несколько притихшая после смерти мужа, снова потеряла покой. Разговор об отъезде на Алтай представился ей вовсе не случайным. Эта паскудница Варька, которой покойный отец конечно же оставил и «собачью голову», и просто золотой песок, явно сговорила с муженьком податься в жилуху, а ее, свою мать, бросить здесь. Оглоблиха, баба еще крепкая, видная, подумывала вторично попытать семейного счастья и потому была не прочь даже остаться. Но нужно, чтобы Варька честно поделилась с ней отцовским золотом. Выбрав время, она заговорила об этом с дочерью, однако та лишь заморгала в ответ бесстыжими глазами и принялась уверять, что никакого золота отец ей не оставлял, не давал, и она ничего знать не знает.

Разговор об отъезде больше не возобновлялся, и это еще более насторожило Оглоблиху: видно, пока все тайком обговаривают, а потом, глядишь, втихую соберутся и — поминай как

звали. Ну уж нет, кого–кого, но ее–то не проведешь! И Оглоблиха начала изыскивать способ поссорить молодых и тем самым расстроить их предполагаемый отъезд, а главное же — надеясь, что убитая горем Варька станет сговорчивее.

Способ поссорить подвернулся вскоре сам собой, и Оглоблиха не преминула им воспользоваться с той же беззастенчивой решительностью, с какой когда–то рваным валенком нанесла роковой удар мужу.

Случилось так, что прихворнула маленькая Сашенька, которой исполнилось тогда годика полтора. Зыбка ее висела рядом с кроватью родителей. Варвара, лежа подле мужа, укачивала плачущего ребенка и всю ночь почти не сомкнула глаз. Утром она должна была идти на работу, поэтому Оглоблиха сжалилась и перед рассветом предложила дочери поменяться местами. Варвара охотно перебралась на печку и тотчас уснула, а мать заняла ее место возле безмятежно посапывающего Гурьяна и принялась покачивать зыбку. Постепенно Сашенька перестала хныкать, успокоилась, затихла. Задремала и Оглоблиха.

Проснулась она от прикосновения горячей и тяжелой руки Гурьяна. В окне еще стояла ночь, в избе — по–прежнему темно. Первым побуждением Оглоблихи было оттолкнуть зятя, подать голос, но в следующий миг она почти безотчетно поняла: вот он, тот самый способ поссорить дочь и зятя! Как бы воочию увидела она перед собой тусклый блеск заветной «собачьей головы». А потом... потом, словно перебродившая брага, которая выбивает из бочонка пробку и с неудержимой силой шибает хмельной пеной, вскипела, зыграла столь долго подавляемая страсть этой уже увядающей бабы, и ей стало вдруг не до самородка.

Гурьян понял все, когда уже было поздно. Он вскочил, будто ошпаренный, схватил обомлевшую бабу за плечи, так что у той чуть не переломились кости, еще раз взгляделся сквозь темень в ее смутно белеющее лицо, дико вскрикнул, оттолкнул и без памяти выбежал вон...

В избу он больше не вернулся. И на Мария–Магдалининском прииске его больше не видели. Да и ни на одном прииске Золотой тайги тоже не встречали. Потом, много времени спустя, были глухие слухи, будто бы обитает он где–то в тайге, аж возле Бодайбо, живет отшельником, страшен на вид и явно не в себе. Много молится, но опять же как–то по–своему, не по–людски...

Через несколько месяцев после этой ночи Оглоблиха умерла, пытаясь тайно вытравить плод с помощью полуслепой повивальной бабки, о чем Гурьян, слава богу, так и не узнал, иначе, надо думать, он, и без того свихнувшийся, уж давно наложил бы на себя руки.

Случившееся по–своему и, пожалуй, сильнее всех подкосило Варвару. Правда, умом, как Гурьян, она не повредила, но с той поры как бы махнула на себя рукой, и жизнь ее пошла неряшливо, неустроенно, почти безобразно. Она то работала на разных приисковых подсобных работах, то ходила в «мамках» при артельной братии, то промышляла поденкой. Замуж больше не выходила.

Что же касается исчезнувшего и никем после так и не найденного самородка, то о нем долго помнили и говорили на приисках Золотой тайги, называя не иначе как «чертовым гостинцем». Но шло время, и постепенно о нем поминали все реже и реже, пока за давностью лет не забыли совсем...

Бесконечным караваном, отягощенным смертями и рожденьями, проходили годы. Без малого два десятка лет минуло с той грешной ночи, и вот в заброшенных штольнях Золотой тайги стали мельком замечать некое диковинное существо. Оно явно сторонилось людей, которые и сами–то не шибко рвались разглядывать его даже на расстоянии. А уж лезть за ним в штольни, в кромешную темноту сырых и тесных подземелий... Словом, к тем исконным обитателям Золотой тайги, которые водились в избах, где некогда совершилось убийство, заманивали на болота, глядели кровавыми глазищами со дна глубоких шурфов, скалились из ороchonских гробов, стонали по ночам на кладбищах и плакали у одиноких крестов возле таежных троп, прибавился еще один, которого приисковая молва нарекла Штольником. В отличие от стонущих и плачущих, которым, кроме свежей человеческой крови, ничего не было нужно, этот самый Штольник будто бы иногда останавливал вьючные обозы и требовал с них

различные товары, правда, в обмен на золото. Ему не перечили, боясь, что отказ повлечет за собой несчастье. Такое поведение существа, сопричисленного к нечистой силе, должно было казаться по меньшей мере странным, но в последние годы в мире вообще все как бы походило с ума: кровавое побоище на Ленских приисках, германская война, невнятные, но тревожные слухи о волнениях на фабриках и заводах, в деревнях, трудности с питанием, безостановочно лезущие вверх цены на самое необходимое... Так что, если подумать, нечистая сила тоже не могла, наверно, продолжать жить по старинке...

* * *

Алексей с трудом оттащил в сторону топчан со свинцово тяжелым телом Штольника и принялся оглядывать стену, ища потайную дверцу. Обнаружил он ее не сразу — дверца представляла собой ничем не выделяющуюся часть бревенчатой стены.

Перед Алексеем открылся низкий лаз, куда можно протиснуться, лишь хорошо согнувшись. Скупой свет огарка явил взору довольно просторную каменную нишу, где на грубо сколоченных широченных лавках охапками лежали целые штуки материи — тончайшие кружевные ткани, шелка, батист, бархат, парча, пуховые платки и прочее, прочее. Все это покрыто пылью, местами попорчено сыростью и мышами. В ржавых банках из-под монпансье, халвы и других лакомств хранилось множество женских украшений с драгоценными камнями, золотые монеты, а отдельно — самородки и золотой песок.

Да, в пору было протереть глаза, увидев такое. Невольно подумалось, уж не грабежом ли промышлял Штольник, не похаживал ли он таким удалым атаманом Кудеяром вдоль таежных троп, не помахивал ли он кистенем в глухие ночки да не оглушал ли, грозный и могучий, горы-долины леденящим разбойным посвистом? Действительно, когда и как умудрился полубезумный старец собрать в свою берлогу эти немалые и странные сокровища?

Алексей вспомнил беззаботное, свежее личико Сашеньки, которой предназначалось это богатство, и подумал, что еще немного — и чувство реальности покинет его. Золотая тайга оказывалась поистине неистощимой на причудливые гримасы...

В темном углу пискнули, завозились мыши, и это привело Зверева в себя.

Он уже собрался уйти, но вдруг вспомнил слова Штольника о том золоте, которое следовало утопить. Где же оно? Алексей поводил свечой, вгляделся попристальней и заметил в сторонке невзрачную, наполовину пустую кожаную суму. Не надо было даже раскрывать ее, чтобы по одной лишь тяжести, особой, неестественной, понять: оно, то самое золото, на котором, как говорил старец, выступила кровь.

«Не меньше пятидесяти килограммов», — прикинул Зверев и задумался. Конечно, наказ Штольника следовало рассматривать как последнюю волю умирающего человека, который имеет неоспоримое право распорядиться своим имуществом по собственному усмотрению. И если уж он пошел даже на то, чтобы поступиться интересами дочери, веля утопить столько золота, то, надо думать, имел для этого достаточно веские основания. Алексей, невольно ставший его душеприказчиком, и мысли не допускал, что можно пренебречь завещанием покойного.

И дело тут вовсе не в иконе, которую он держал у одра умирающего, — просто совесть не позволила бы ему поступить иначе. Но легко сказать — утопить пятьдесят килограммов золота. Зверев слишком хорошо знал, какой ценой дается каждый золотник этого проклятого металла...

Раздираемый сомнениями, Алексей сам не заметил, как выбрался из сокровищницы старого сумасброда, миновал отшельническую обитель, где, остывая, лежала брэнная его плоть, и, пройдя по черной трубе штольни, оказался под открытым небом.

По-ночному родниково-свежий воздух, чуть разбавленный хвойной горчинкой, остужал воспаленную голову. На востоке, за черным частоколом таежных вершин, начинало

нежно алеть словно заново созданное небо. И с рассветной нерешительностью, как бы только примериваясь, поцвиркивали где-то птицы.

Утро, медленно распускаявшееся перед глазами Алексея, было чудеснее чудесного — ничем не запятнанное, не омраченное, исполненное высшей красоты и целомудрия утро первого дня творения. А за спиной, в глухой и тесной каменной норе, лежал труп несчастного таежного отшельника. Лежали пятьдесят килограммов сомнительного золота. Лежали дорогие ткани и женские украшения с самоцветами, неведомо какими путями добытые оборванным безумным старцем для своей дочери, сожительницы миллионера.

ГЛАВА 16

— ...Теперь об этом золоте. Значит, он так и сказал, что у китайцев его украл? И что кровь, мол, на нем?

— Так и сказал,— глаза закрывались сами собой, и Зверев, чтобы не заснуть прямо в седле, заставлял себя поддерживать разговор.

— Гм... Ну, тогда у нас концы с концами сходятся.

Ведь это из-за него, из-за этого самого золота, людей на Полуночно-Спорном поубивали. Хоть Аркаша и хотел пошить меня в дурни, однако ж кое-что я смикитил...

И Турлай рассказал все, что слышал в подвале Жухлицкого и что домыслил уже сам.

Выслушав его, Алексей некоторое время ехал молча, потом проговорил вполголоса, как бы отвечая на какие-то свои мысли:

— М-да, так оно и есть: люди гибнут за металл... Сатана там правит бал...

— Что ты сказал, Платоныч? — не расслышал Турлай.— Кажись, сатану недобрым словом поминаешь?

— Да вот, понимаете... есть одна давняя немецкая легенда о старом докторе Фаусте, который продал душу дьяволу. Книжки об этом написаны. И театральную постановку создали, оперу. Сам Федор Иванович Шаляпин там пел, Мефистофеля изображал, сатану то есть. И есть в опере этой такой момент, когда сатана похваляется властью над родом людским. И говорит как раз эти слова — что, мол, люди душу свою продают ему за золото, и сам он, сатана, справляет в мире бесовский праздник, правит бал...

— Занятно,— сказал Турлай после некоторого молчания.— Бал, значит, бесовский? Танцы-шманцы? Ну-ну... Может, тот самый Федор Иванович правду говорил.

— Да! — вдруг спохватился Зверев.— Я ведь что хотел сказать о золоте... Ведь если старик похитил его у... как его?

— Миша Чихамо?

— Да-да, Миша Чихамо. Вот я и говорю, что если покойный похитил его у Чихамо, то у меня, можно сказать, камень с души... Хотя — нет, что я говорю! Как же с души, коли убито столько людей...

— Понимаю, Платоныч. Пусть тебя не грызет совесть — с этого золота проклятье мы снимем, сделаем достоянием республики.

— Пожалуй, разумно. Что же касается всего остального, то оно должно быть вручено, согласно завещанию, Сашеньке.

— А вот это мне не по душе,— поморщился Турлай, обмахивая сорванной веткой шею коня.— Кровопийце Жухлицкому...

— Не Жухлицкому, а Сашеньке,— поправил Алексей, и в голосе его прозвучала непреклонная решимость.

— Ну, нехай будэ гречка,— с явным сожалением согласился Турлай.— Так и быть, поделим с дивчиной наследство старого колдуна.

Время перевалило за полдень. Задержаться пришлось потому, что Турлай, Очир и Васька приехали уже поздним утром, и сразу началась суэта с похоронами старика. Могилу выкопали тут же, на краю поляны, недалеко от штольни, опустили в яму тяжелое тело и без лишних вздохов закопали. Конечно, сказали приличествующие случаю слова, но кручиниться

и предаваться размышлениям о бренности земного бытия не было времени: живым — скоротечное, мертвым — вечность. Только Васька всплакнул и некоторое время неприкаянно слонялся по поляне, размазывая слезы грязным кулаком, но и он вскоре отвлекся от горестных мыслей, наткнувшись на достойные изумления вещи — согнутую едва не в дугу винтовку, срезанное ухо Рабанжи, сморщенное и окровавленное, и еще одну винтовку, вполне исправную, которую заодно с ухом потерял тот же Рабанжи.

Оставшимся после Штольника добром распорядились так: ткани оставили в тайнике, а золото и драгоценности взяли с собой, распределив их по седельным сумам.

Везти пришлось немалое богатство, поэтому ехали с необходимой предосторожностью — впереди Васька, вооруженный винтовкой Рабанжи, саженья в десяти за ним Турлай и Зверев, позади — Очир.

Проезжая через Мария–Магдалининский прииск, Зверев отметил, что здесь кое–что изменилось — исчез череп с шеста, не видно было и дряхлых гробов, набитых гниющим медвежьим мясом.

О происшедшем здесь минувшей ночью Зверев уже знал со слов Турлая, но знал лишь в самом беглом изложении, без особых подробностей.

А случилось следующее. Где–то около полуночи только что задремавший Турлай был разбужен грохочущими ударами в дверь. Узнав голос Купецкого Сына, он вздул свечу и впустил нежданного гостя. Следом вошел Очир.

– Эх, председатель, что я тебе скажу... — начал Васька, но вдруг замолчал, стал опасливо коситься на темные окна.

– Где ж Платоныч? — спросил Турлай, поворачиваясь к Очиру.

– Там... в лесу... — Очир неопределенно махнул рукой.

– Начальник–то, анжинер–то этот самый, он, значит, со Штольником остался... Помирает, бедный... — пригорюнясь, пояснил Васька.

– Кто помирает? — вздрогнул Турлай.

– А дядя Гурьян...

– Какой еще дядя Гурьян?

– Ну, Штольник который, — отвечал Васька, и тут его как бы прищипорили. Перескакивая с пятого на десятое, захлебываясь и с выражением ужаса топыря пальцы, он понес несусветную чушь о Штольнике, о бандитском нападении минувшим вечером и своем геройстве. Очир согласно кивал с совершенно невозмутимым видом. Турлай же попыхивал сигаркой и сквозь дым недоверчиво шурился на Ваську. Однако стоило тому упомянуть о Мария–Магдалининском прииске, как председатель мгновенно насторожился, отвердел лицом и дальнейшее выслушал уже со всем вниманием.

– Вот оно! — воскликнул он, когда Васька умолк. — Ведь чуял же я — неладно на Магдалининском! А ты, Василий, молодец, люди тебе спасибо скажут.

Турлай начал торопливо обуваться и в то же время лихорадочно размышлял о том, что предпринял Жухлицкий, узнав об обнаружении тайников — попытался ли Аркадий Борисович перепрятать продукты немедленно, в эту же ночь, или предпочел подождать, надеясь, что перетрусивший Васька обо всем смолчит, а то и вовсе не решится заявляться в Чирокан.

Одно было ясно — надо спешить. Турлай тут же отрядил Купецкого Сына за членами Совета Алтуховым и Кожовым, а сам, сев на коня, поскакал собирать тех надежных мужиков, которые были записаны в организованный при Таежном Совете отряд Красной гвардии и получили привезенное Зверевым оружие. Объезд их домов, разбросанных по всему Чирокану, занял не так–то много времени, однако когда Турлай, закончив дело, повернул обратно, в поселке уже шла большая суeta — в домах горели огни, перекликались мужики и бабы, звенели детские голосишки, хлопали двери, брехали псы, слышалось тарахтенье телег. Как председатель и рассчитывал, весь Чирокан собирался идти на Магдалининский. По его замыслу, публичное изъятие продуктов из тайных складов должно было, с одной стороны, наглядно разоблачить Жухлицкого в глазах всех, кого он обрек на голод, а с другой —

показать им, что Таежный Совет не беспомощная кучка приисковой бедноты, а высшая власть в Золотой тайге, сильная и пекущаяся об их благе. Однако, окидывая взглядом растревоженный поселок, Турлай вдруг почувствовал сильное беспокойство: что, если Жухлицкому вздумается устроить в отместку какую-нибудь провокацию? Ведь сейчас все таким цыганским табором повалят на Магдалининский. Пойдут и бабы, и ребяшня, и даже старики не усидят дома. А дело-то ночное, темное — что стоит Жухлицкому подослать своих варнаков пальнуть по толпе откуда-нибудь из дальних кустов? Страшно подумать, что тогда может случиться на заброшенном прииске, где кругом полно старых шурфов немалой глубины! Одними увечьями тут не обойдется.

Ссутулившись в седле, председатель задумался на некоторое время, потом тронул коня и порысил к темневшему на взгорке дому Жухлицкого.

Несмотря на поздний час, Аркадий Борисович не спал. Турлая он встретил со всегдашней насмешливой любезностью, однако взгляд его выдавал тщательно скрываемую настороженность.

— Играть в кошки-мышки не будем,— сразу же начал председатель Таежного Совета.— Выселение народа из тайги состоялось под предлогом отсутствия продуктов, так?

— Не под предлогом, а по причине...

— Ну, нехай будэ гречка,— Турлай не стал спорить.— Значит, запасов тогда у тебя не было. Выходит, нет их и сейчас, так?

— Странный вопрос,— после некоторого раздумья пробурчал миллионер.

— Слушай, Аркадий Борисыч, не надо вилять на ровном месте,— голос Турлая посторожал.— Спрашиваю официально: утаил ты запасы продовольствия от приисковых рабочих или нет?

— Нет! — твердо ответил Жухлицкий.

— Так, так... Я к чему речь-то веду — на Магдалининском, понимаешь, обнаружился целый провиантский склад...

— А при чем здесь я? — раздраженно перебил Аркадий Борисович.

— Да, видишь, показалось мне — твое там добро. И подумал я, что вот-де когда Аркадий Борисыч наш с поличным попался. Сам понимаешь, дело подсудное — саботаж и прямое вредительство, а за это нынче карают по всей строгости.

Жухлицкий криво улыбнулся.

— Где доказательство, что тайники мои?

— А чьи? — прищурился Турлай.

— Да чьи угодно! — в голосе Жухлицкого проступило озлобление.— Зачем бы я стал на своей площади такое устраивать? Или я совсем дурак? Ведь говорили ж варнаки: не кради, где живешь, и не живи, где крадешь.

— Верно, верно,— посмеиваясь в усы, согласился Турлай.— Продовольствие, стало быть, бесхозное... Что ж, конфискуем в пользу населения.

Председатель направился к выходу, но у самой двери вдруг резко обернулся, перехватив откровенно ненавидящий взгляд Жухлицкого.

— Нам с тобой любить друг друга не за что,— медленно произнес Турлай.— И верить друг другу тоже не приходится. А посему предупреждаю: сейчас весь чироканский люд собирается на Магдалининский, и если по пути или там, на месте, случится, не дай бог, какая провокация, ответ держать тебе. Даю в этом мое твердое слово. Придем сюда всем народом и спросим за все разом. Что с тобой тогда станется, догадывайся сам.

С этими словами председатель Таежного Совета вышел.

Оставшись один, Жухлицкий дал выход своей ярости — хватил залпом здоровенный бокал водки и вместо того, чтобы закусить, шваркнул об пол тарелку с солеными груздями.

Аркадию Борисовичу было из-за чего гневаться. Часа два назад Митька и Рабанжи — этот без одного уха — явились безоружные и рассказывали черт знает что: на них якобы напал Штольник, давнишнее пугало приискового бабья и детворы; они-де несколько раз стреляли в него; по словам Митьки, его выстрел почти в упор, «прямо в лохматую голову»,

прошел без видимых последствий; далее Штольник, мол, вырвал у Митьки винтовку и согнул ее в бараний рог...

Аркадий Борисович выслушал эту быль-небылицу, поразмыслил и решил так: уж коли Купецкий Сын, давно зная про магдалининские тайники, до сей поры не проболтался, то, скорее всего, и впредь будет помалкивать. Потому Жухлицкий не стал ничего предпринимать и уже начал успокаиваться, как вдруг, словно черт по душу грешника,— Турлай!..

Когда речь зашла о конфискации, у Жухлицкого, точно, мелькнула в горячих мыслях мысль учинить такое, что отбило бы у приискового хамья охоту до чужого добра. Однако этот однорукий босьяк оказался умен: Жухлицкий представил себе озлобленную, отчаявшуюся от голода толпу, выламывающую двери его дома, и внутренне содрогнулся. Гнев народа — это тебе не варнацкие ножи и не винтовки турлаевского воинства; гнев народа — почти божий гнев, уж это—то хозяин Чирокана понимал отлично. Поэтому, несмотря на выпитую водку, Аркадий Борисович принял решение трезвое и здоровое — магдалининскими тайниками надо попустить, дабы не лишиться неизмеримо большего...

Уже начинало светать, когда жители Чирокана пришли на Мария-Магдалининский. Зброшенный прииск, особенно мрачный сейчас, на исходе ночи, в первый миг заставил людей невольно притихнуть, но мысль о предстоящем быстро прогнала все страхи, и вот уже со свистом и криками зашмыгали расторопные мальчишки, заговорили мужики, смеясь, начали перекликаться бабы. От шума голосов проснулся в вершинах деревьев ветер, шевельнулся, вздохнул, и тотчас бодрящей свежестью потянуло над землей.

Купецкий Сын, важный — не подступись, вышел вперед и зашагал, показывая дорогу. В укромном месте, со всех сторон прикрытом кустами, остановился, ткнул ногой в ворох лесного гнилья:

— Откидай!

Команду мигом исполнили, и открылись доски. Убрав их, увидели черное устье шурфа.

— Здесь кули с мукой,— сказал Купецкий Сын, подумал и добавил: — Хорошая мука, крупчатка...

Люди теснились вокруг квадратной дыры, глядя на нее, словно на какое-то чудо, и молчали. Только из задних рядов раздался визгливый бабий голос:

— Что ж ты раньше-то молчал, идол!..

— Посторонись! — сквозь толпу протискивался Кожов с длинным шестом в руках.

Подойдя, он опустил его в шурф — шест ушел вглубь аршина на четыре,— потыкал.

— Что-то мягкое... Эх! — Кожов сел на край шурфа, поплевал на ладони и, цепляясь за шест, полез вниз.

— Остерегись, может, там бабай сидит,— пошутил многодетный Карпухин, и все облегченно рассмеялись.

— Эй! — глухо позвал из ямы Кожов.— Давай веревку.

Тотчас ее подали и через минуту вытянули тяжелый мешок, цветом и тугой округлостью приятно напоминающий сытого боровка.

— Пошло дело! — Турлай довольно пригладил усы и поглядел на Ваську: — Где еще?

— В штольне, тама... — Купецкий Сын указал большим пальцем куда-то за плечо.— Ну, опять же и по другим шурфам поглядеть надо... Вот дядя Гурьян, он туточки все знал, а я что...

Турлай похлопал его по плечу.

— Ну-ну, не прибедряйся — ты у нас орел. Веди-ка теперь в штольню.

К восходу солнца из разных мест было извлечено более девяноста кулей муки, около тридцати — различных круп, десятков огромных оплетенных бутылей с постным маслом, столько же цибигов чая и немало разной бакалейной мелочи. Все это тщательно подсчитывалось хозяйственным Алтуховым, заносилось в особую книжечку, а после складывалось на очищенной поляне перед развалинами былых приисковых строений. Сюда же постепенно собрались все люди. Стояли, негромко переговариваясь и как бы ожидая чего-то. Первоначальное оживление прошло, чироканцы помрачнели, словно их не радовали эти

поистине бесценные нынче продукты. Притихли дети — Алтухов поделил меж ними пару головок сахара, и теперь они увлеченно похрумкивали давно забытым лакомством.

— Пошто мешкаем-то? — не выдержал наконец Карпухин.— Коль пошабашили, то вертаться бы надо, а?

— Успеешь! — отозвался Кожов, вполголоса разговаривавший в сторонке с мужиками.

Он подошел, поднялся на телегу и с высоты оглядел сразу примолкшую толпу. Поправил висевшую за плечом берданку.

— Довольны, да? Рады? — Всегда неулыбчивое его лицо было сейчас особенно суровым.— Вот пойдем сейчас по домам, сварим из этой муки болтушку, наедемся до отвала и спать завалимся. То-то счастье! А Жухлицкий пусть и дальше живет припеваючи. Говорит же вон председатель наш: не моги, мол, трогать его — сверху не велят...

Толпа глухо заворчала. А Кожов меж тем продолжал бросать колючие слова:

— Люди мы шибко смирные. Нам плюнь в харю — мы утремся да еще и спасибо скажем, верно?

— Ты пошто взялся над народом-то глумиться? — удивленно проговорил кто-то.

— Не я, а сами вы глумитесь над собой! — возвысил голос Кожов.— Сволочь Жухлицкий сто кулей муки гноил в шурфах, а вы помалкивали да с голодухи пухли вместе со своими детишками. Что, не правда? Бывает, найдет собака зарытую кость, грызет и рычит: не подходи! Ну, а как сгрызет, снова хвостом виляет, смотрит, не подбросит ли кто еще. Так и вы!

— Эй, эй! — закричало уже несколько голосов.— Ты про дело давай!.. Вовсе спятил мужик!.. Пакости-то говорить мы и сами умеем...

— Не нравится? — Кожов зло усмехнулся.— Тогда скажи мне любой из вас, что б он делал, не будь этих кулей? Молчите? А съедите все, тогда — снова зубы на полку? Или на поклон к Жухлицкому? Нет, дорогие граждане, эту старательскую моду жить одним днем надо бросать. Хочешь хорошо жить завтра — с мироедами кончай сегодня! Айда громить Жухлицкого! — Он сорвал с плеча берданку и потряс ею над головой.— Реквизируем его добро в пользу таежной бедноты!

— Вер-р-на! — рявкнули из толпы.— Долой Жухлицкого!.. К ногтю паразитов!..

Люди зашумели, заволновались. В нестройном гуле голосов нарастающе слышалась угроза.

Побагровевший Турлай шагнул к телеге, но его остановил Алтухов.

— Погоди-ка, председатель,— негромко произнес он.— Я тоже кое-что хочу сказать.

Он влез на телегу и стал рядом с Кожовым, говоря ему:

— Ты со своим «громить» обожди. Революция — не разбой: пришли, ограбили и ушли. Нет, брат, новую жизнь не грабежом надо ставить, а работой. Вот ты давеча правильно сказал, не одним, мол, днем жить надо. Впереди вся осень, вся зима, а продуктов, кроме этих, у нас нет. И коли будем сидеть без дела, кто вспомнит о Чирокане, кто поможет? Советской власти, как я понимаю, нахлебники да бездельники не шибко нужны. Кормить только за то, что ты таежный пролетарий, она не станет. Работать надо, граждане, работать...

— Слышь-ка,— подергал Алтухова за штанину стоявший возле телеги Карпухин.— Где ее взять, эту самую работу?

— К этому и веду,— спокойно отвечал Алтухов и, обращаясь ко всем, продолжал: — Работа у нас, мужики, одна — добывать золотишко. А для этого, хочешь не хочешь, придется забрать у Жухлицкого прииски, национализировать их, стало быть.

— Так сказано же, не велят, дескать, сверху,— снова встрял оглядистый Карпухин.

— Во-вот, растолкуй-ка нам, почему не велят-то,— пропищал въедливый старик Байбородин, еще и доньне золотнишник, каких поискать.

— Дело тут такое,— обстоятельно начал Алтухов.— Работать прииск — дело нешуточное, сами знаете. Глаз да глаз нужен. Опять же бумаги разные писать, заработок начислять и разное прочее. Скажем, ты, Карпухин, мог бы управлять прииском?

— Ну, где мне... и я грамоте не учен...

— О! И выйдет так, что от старого хозяина прииск забрали, а новый хозяин не знает, с какого боку к нему подступиться. Глядишь, окажется прииск вовсе ничейным. Ну, а коль так, то тут и хищничество может начаться и всякое иное безобразие. Посему наверху и порешили оставить пока прииски у старых хозяев, чтобы те за ними доглядывали.

— Оно, конечно, умно,— одобрил старик Байбородин.— Однако ж ты говорил, что надо забирать прииски у Аркадия Борисыча...

— А у нас, видишь, особый случай. Первое, прииски для нас — и работа, и хлеб. Значит, без них никак нельзя. Теперь второе. Смотрите сами, граждане: стоим мы здесь с вами, давно уже не евшие досыта, а вот продукты лежат — мешки, ящики и прочее, и разве кто из вас покусился хоть на горсть пшена? Так могут ли у нас безобразия какие случиться на приисках, когда они станут нашими, а?

— Правильно, не допустим! — раздались крики.— Убережем!

На телегу вскочил Турлай.

— Хорошо сказал. Молодец! — он пожал Алтухову руку и весело гаркнул: — Граждане, значит, решено: даешь национализацию, а?

— Даешь! — единодушно откликнулась толпа.— Решено!..

Насупленный Кожов пробурчал вполголоса:

— Еще бы Жухлицкого к стенке, вот тогда бы полный порядок.

Кто-то запоздало крикнул:

— Эй, а драгу?

— И драгу! — засмеялся Турлай и взмахнул рукой.— Рубить, так под корень!..

Таковы оказались события минувшей ночи и сегодняшнего утра. Зверев от них не был в восторге, однако сомнения свои он решил придержать до приезда в Чирокан.

Во дворе Турлая стояли оседланные лошади, на завалинке сидели четверо вооруженных мужиков, разговаривали, курили. Увидев Зверева, уважительно встали и поздоровались. Потом отозвали в сторону Турлая и о чем-то вполголоса перетолковали с ним.

— Чувствуешь, Платоныч, как народ оживился, а? — весело подмигнул он, взбегая на крыльцо.— Что ни говори, а харч на войне — первое дело.

В избе председателя Таежного Совета поджидали еще двое.

— Члены Совета,— представил их Турлай.

— Алтухов,— сказал невысокий рыжебородый мужичок и стесненно протянул Звереву руку.

— Кожов,— буркнул другой, повыше ростом, костлявый, сутулый, с лихорадочным блеском в глазах.

— У нас здесь, вишь, маленько спор вышел,— зачастил рыжебородый, обращаясь к Турлаю.— Ну, для начала муку мы выдали по числу едоков. Тут, считай, мы все согласные. А дальше, говорю, надо так. Прииска теперь наши, начнем их понемногу работать. И тогда продукты отпускать каждому смотря по сданному золоту...

— А я говорю — всем работающим поровну! — оборвал его сумрачный Кожов.— Потому как сказано: свобода и равенство.

— Как поровну? Как же поровну? — вскричал Алтухов, поворачиваясь то к Кожову, то к Турлаю.— Положим, я сдам три золотника, а другой — хрен да пять долей в придачу, и нам — поровну? Или, скажем, у меня пять душ детей да баба, а вот у него, у Васьки, вся семья — сам он да блохи, что на нем, и нам обратно поровну? Неправильно это!

Турлай крякнул, сильно потер затылок.

— Кожов, конечно, прав. Я ведь и сам за равенство. Все беды от того и идут, что у одного есть все, а у другого ни шиша. Однако и ты, Алтухов, верно говоришь. Потом вот еще что — как со стариками или со вдовыми бабами, которые на приисках не могут работать? Их что, на голодном пайке держать будем?

— И не дело это — на золото все мерить. Иначе как-то надо! — вставил Васька.

— Деньги, что ль, печатать начнем? — усмехнулся Кожов.

— Ну, печатать не печатать, а давайте пока царскими обходиться, а? — задумчиво поморгал Алтухов.

— Ты что? Ты это что выдумал-то? — Кожов как-то даже почернел от ярости. — По царю-батюшке соскучился? Тогда уж, может, разогнать Совет да на поклон к Жухлицкому?

— Тихо, тихо, мужики! — возвысил голос Турлай. — С царскими деньгами ты, Алтухов, через край хватил. Василий дело сказал — нескладно как-то золотой песок из кармана в карман пересыпать. Этак, глядишь, еще и монету свою чеканить наострится... Конечно, со временем будут у нас советские деньги...

— Нет, председатель, тут ты не прав — не будет денег, не должно их теперь быть, — тихо, но твердо заявил Кожов.

— То есть как это — не будет денег? — опешил Турлай. — Как же без них жить? Это... это ты того...

— Не будет денег! — стоял на своем Кожов. — Сам же говоришь, что все зло из-за того, что у одного много, а у другого мало. Не будет денег — не станет и разницы этой, понял? А как все устроить, то над этим, конечно, будут думать люди поумней нас с тобой. Это мне в прошлом году один башковитый человек досконально объяснил. Как же он называл-то себя?.. Постой, постой... Антихрист не антихрист, а что-то вроде того...

— Анархист? — пришел на помощь Зверев.

— Во-во! Оно самое — анархист и есть...

— Ну-у, так бы сразу и сказал! — с облегчением рассмеялся Турлай. — Я — большевик, анархисты мне не указ... Ну, деньги — дело дальнее, а пока подсчитаем-ка толком, сколько у нас вообще людей в Чирокане и которые из них могут работать, а которые свое уже отработали...

— И детишек, — вставил Алтухов.

— Само собой, — согласился Турлай.

Пока члены Таежного Совета занимались составлением списка, Зверев, усевшись в сторонке, начал доставать из полевой сумки документы, чтобы подготовиться к разговору с Турлаем о национализации драги и приисков Жухлицкого. Разложил на скамье бумаги и задумался. Этот внешне малозначительный разговор членов Таежного Совета на миг приоткрыл перед ним оборотную сторону революции, где уже не было романтических тайных сходов, дерзких побегов из тюрем, подпольных типографий, нелегальных переходов границ, фальшивых паспортов, перестрелок с агентами охраны и рискованных провозов через таможенную запрещенных изданий, а были другие, не менее, а может быть, и более величественные дела и труды. Людям, ставшим во главе новой России, профессиональным революционерам, умеющим перестукиваться через тюремные стены и владеющим приемами конспирации, предстоит теперь делать черновую и будничную государственную работу, организовывать все заново, начиная от дипломатической службы и кончая сиротскими приютами и домами для престарелых, решать вопросы о том, какими должны быть деньги Российской Советской республики и сколько их выплачивать в месяц члену правительства, а сколько — прачке, сколько должен стоить фунт хлеба, а сколько — грамм золота. И когда Алексей попытался хотя бы приблизительно представить себе всю громаду подобных дел, ему на миг сделалось не по себе: самое малое, со времен Петра Великого складывалась эта пирамида, называемая Государством Российским, и вдруг все сломано, переиначено, и надо все строить заново, по-другому. Сколько лет понадобится? Десять? Пятьдесят? А может, три века?.. И как-то сама собой промелькнула змейкой не лишенная злорадства мыслишка: «Нет, не суметь вам! Не получится!»

Алексей поморщился, словно от зубной боли, встал и вышел на крыльцо.

По безлесному, покрытому серым морем каменной россыпи склону хребта на том берегу Чирокана скользили изменчивые тени облаков. По всей ширине реки шла тускло-стальная холодная рябь. День был под стать этому времени — концу северного лета: свет яркий, резкий, но наплывами тускнеющий; немного ветрено; воздух прохладный, свежий,

чуть сыроватый, когда дышится легко и емко... Все же хорош божий мир, пусть даже мир этот — раскорячившаяся на сотни верст во все концы безалаберная Золотая тайга.

«Впрочем, почему не получится?» — подумал Зверев, провожая взглядом облака, уползающие за щетинистый гребень недалекого хребта. Да, дел видимо-невидимо, это понятно. А зачинателей революции, тех, кто прошел ссылку, подполье и эмиграцию, не так уж много, это тоже ясно. Стало быть, им одним со всей махиной больших и малых дел разворошенной страны не управиться. Они это не отрицают, не обещают сделать все непременно своими руками и прямо тотчас. И они отнюдь не призывают всех немедля начать мыслить подобно им и уверовать в их библию — «Капитал» Карла Маркса. Нет. Они просто предлагают людям работать честно и добросовестно и если уж не помогать, то хотя бы не мешать им. «Вы работали во имя России? Вот и продолжайте работать во имя ее же, — так они ставят вопрос. — История нас рассудит, и время покажет, что мы правы». Собственно, так они и поступили с ним, с Алексеем Зверевым. Он был окружным инженером и остался им по сию пору. Откуда ж тогда в нем сомнения? Разве у него собственные прииски и миллионы в банках, как у Жухлицкого или Ризера? Смешно! Все его богатство — это честь российского горного инженера, соответствующие знания да диплом об окончании института. Ему ли злорадствовать, что «им», большевикам, не удастся-де вытянуть, вытащить Россию из того болота, куда ее, словно крестьянскую клячу, загнали коронованные ездоки без божьей искры в водянистых голштинских глазах...

Вскоре Алтухов и Кожов ушли, и Зверев вернулся в избу. Председатель Таежного Совета сидел за столом, о чем-то размышлял, глядя в исписанный лист бумаги.

— Хоть далеко куцему до зайца, а приходится сельского голову из себя строить, — Турлай хмыкнул и постучал карандашным огрызком по написанному. — Вот они — народ. Есть получше, есть похуже, однако ж все они — люди, человеки. Им трэба работы, хлеба трэба.

— Да, конечно, работа и хлеб... — Зверев взял со скамьи приготовленные бумаги. — С хлебом, как я понимаю, заботы хотя бы на некоторое время отпали?

— Ну, положим, — согласился Турлай, и взгляд его насторожился.

— Поговорим тогда о работе. — Зверев чуть помедлил, собираясь с мыслями, и начал «от Адама»: — Вам должно быть известно, что еще весной нынешнего года специальной телеграммой Совнаркома, подтвержденной циркуляром Центросибири, всяческие самочинные национализации, разрушающие общий план республики, категорически запрещены. В свою очередь Отдел промышленности Комитета Советских организаций Забайкальской области этим летом дважды, насколько я знаю, обращался в Областной Горный Совет с требованием обследовать состояние дел на золотых приисках Западного Забайкалья, выяснить целесообразность национализации инвентаря и предотвратить захват драги, принадлежащей промышленнику Жухлицкому. У меня есть копии писем. Позвольте, я прочитаю вам кое-что из них. Например, вот: «...Ваше заключение, главным образом, должно быть о промыслах Жухлицкого, так как они давали около половины, всего золота, добывавшегося в Западном Забайкалье, и являлись там единственными по своему оборудованию... Может статься, что все оборудование промыслов будет растащено, а поэтому просьба уведомить, думает ли Горный Совет предотвратить это, сохранить и воспользоваться теми машинами, которых у нас в Забайкалье очень и очень мало. Исполняющий обязанности комиссара промышленности» — и подпись...

Турлай хотел что-то сказать, но передумал и только махнул рукой.

— Ладно, Платоныч, давай дальше.

— Председатель Горного Совета, разумеется, переслал мне копии этих писем Отдела промышленности и со своей стороны добавил к ним собственное послание, изложенное самым энергическим слогом: «Горный Совет считает неотложно необходимым преподать вам следующие указания...» Далее перечисляется, что я должен делать: принимать надлежащие

меры против самочинных захватов работающих приисков; всячески предотвращать расхищение ценного имущества этих приисков; дать заключение о целесообразности национализировать те прииски и их имущество, где отсутствуют хозяева...

— Да ради бога, Платоныч, принимай меры, запрещай, разрешай, делай все, что тебе велено! Разве ж мы против? Раз Совнарком и Центросибирь сказали, что самочинные захваты запрещены, значит, быть по сему. Вот только с Жухлицким—то что получается? Возьмем для примера Полуночно—Спорный. Ведь, по существу, Аркаша отдал его в аренду Мише Чихамо, иностранному подданному, хотя еще царским правительством такие дела были строго—настрога запрещены, и это запрещение не отменялось ни при Временном правительстве, ни сейчас, при Советской власти. Это первое. Теперь второе. У Жухлицкого самое малое около сорока золотоносных площадей, а сколько из них работается? Можно сказать, ни одной. Как это назвать? Саботаж, настоящий саботаж. Не желает наш Аркадий Борисыч делиться золотишком с Советской властью. Значит, можно считать так: прииска есть, но они закрыты, поскольку хозяин отсутствует. Где он — то не наше дело, главное — в деле его нет, правильно? Как там на сей счет сказано у тебя?

Зверев усмехнулся и еще раз прочитал:

— ...дать заключение о целесообразности национализировать те прииски, где отсутствуют хозяева.

— О, в самую точку! — Турлай хватил кулаком об стол.— Даем такое заключение, а, Платоныч?

— Хитрый вы народ, украинцы! — покрутил головой Зверев.— Какая это у вас шутка—то есть — карася в порося? Или наоборот?

— У нас еще говорят так: Иван, держи карман, бо Киев близко! — Турлай хохотнул.— Теперь разберемся с драгой. Тут куда все проще. Пять лет назад, значит, в тринадцатом году, Жухлицкий взял сто пятьдесят тысяч рублей субсидии на покупку драги. Через три года, то бишь в шестнадцатом, он просит еще столько же на приобретение второй драги. Ему, понятно, дают с охотой, поскольку первая уже работает, и работает дай бог как, а к тому же — идет война, в золоте правительство позарез нуждается. Между прочим, вторую драгу Жухлицкий так и не купил. А в феврале семнадцатого — бах!— революция. Кто давал субсидии, тех вдруг не стало, да и кому в этой кутерьме дело до каких—то трехсот тысяч? Так что и революция Аркаше как бы на пользу пошла. Однако он рано радуется — народ—то все видит, все помнит. Эти триста тысяч он не у Николая Второго одолжил и не из собственного кошелька Керенского, а у государства, у народа. Посему национализация драги — это вроде бы возвращение ее законному владельцу, разве ж не так?

— Так, конечно же так,— охотно согласился Зверев.— И напрасно вы меня убеждаете в том, что земля круглая. Речь главным образом идет не о том, насколько обоснованы ваши действия в отношении приисков и их оборудования. В конце концов, предписания Областного Горного Совета отнюдь не имеют силы закона. Да и законов—то таковых пока еще нет. Вот, скажем, чем руководствуюсь я? Во—первых, «Временными правилами о частном золотом промысле в Забайкальской области». Во—вторых, «Временным положением о горном хозяйстве Забайкальской области». В—третьих, «Временными правилами об артельном золотом промысле». Кроме того, у меня имеется «Проект обращения к населению золотоносных и промышленных районов о гибельности самочинных захватов действующих предприятий». Как видите, все временное, все пока в проектах. Ваш случай можно рассматривать как исключение из этих далеко не совершенных и сугубо временных правил и положений. Сейчас важно другое — сможете ли вы обеспечить полную сохранность драги и прочего промыслового оборудования? Сможете ли вы своими силами наладить нормальную работу приисков? А в конечном счете — сможете ли начать давать республике валютный металл? Если это вам по силам, то пожалуйста — национализируйте хоть цепных собак Аркадия Борисовича.

— Ну как же не по силам! — Турлай вскочил и возбужденно заходил по избе.— Первым делом пустим драгу. Хорошо бы в три смены, круглосуточно. Каждая смена — пять человек:

драгер, кочегар, машинист, люковщик, масленщик. Значит, три смены — это, считай, пятнадцать человек. Найдем людей? Конечно же найдем! За сезон драга дает пять–шесть пудов золота. Если на этих днях начнем, то до ледостава, думаю, пуда полтора металла можно добыть. Разве не согодится Советской власти такой наш таежный подарок?

— А старательская добыча? — поинтересовался Зверев, уже начиная заражаться уверенностью председателя Таежного Совета.

— Ну, это дело нехитрое,— отвечал Турлай.— Одну артель прямо здесь, возле поселка, поставим, а вторую — где поближе. Скажем, на Полуночно–Спорном.

— Это там, где... происшествие было? Не слишком–то приятное место.

— Так–то оно так, да только когда же золото в приятных местах водилось? Сам же ты, Платоныч, давеча говорил, что, мол, сатана там гопакі пляшет... Э, а про это–то я и забыл совсем! — Турлай потыкал носком сапога лежавший возле печки мешок с золотом.— Тяжел ты, холера тебя побери! Спрячем туда, где оружие лежало, верно, Платоныч?

— Кстати, мне надо будет отнести Сашеньке приданое, рассказать ей о смерти отца...— Зверев, понурившись, задумался, потом вскинул голову, взглянул вопросительно на Турлая.— А может, отложить до завтра? Устал я что–то, глаза сами закрываются...

— Конечно, Платоныч, отдохни,— засуетился Турлай.— Смотрю, ты аж с лица спал. Вот сейчас какой–нибудь харч смастерим, а потом ложись. Время позднее... Только помоги мне сначала золотишко сховать.

Трехпудовый мешок с «золотишком» благополучно занял место под полом в запечье, после чего Турлай и Очир принялись за стряпню. Когда через некоторое время они спохватились, Зверева в избе не оказалось. Он сидел на крыльце, уткнув голову в сложенные на коленях руки, и спал крепким сном изрядно намаявшегося человека.

ГЛАВА 17

Нельзя сказать, чтобы Аркадий Борисович никогда в жизни не испытывал унижений и огорчений. Приходилось, увы, приходилось и ему терпеть высокомерие власть имущих. И бессильную ярость подавлять в себе доводилось. Угодливо улыбаться тоже был научен. И вместо того чтобы плюнуть в лицо, с поклоном пожимать снисходительно поданные руки. И приятно улыбаться, глядя в ненавистные, презираемые рожи, не раз заставляла его жизнь. Но во всех этих случаях неизменно присутствовал утешительный момент — рептильничанье в конечном счете оборачивалось золотом, металлом, еще более пригодным для мести, чем булат. И, закатывая пышные приемы или давая взятки тем самым людям, перед которыми приходилось изгибать позвоночник, Аркадий Борисович как бы говорил им с самой любезной улыбкой: «Считайте себя ударенными по морде»,— и те молчаливо соглашались. Таковы были правила игры, принимаемые и соблюдаемые обеими сторонами.

Однако сейчас все было не так. Жухлицкий, стоя у окна своего кабинета, смотрел в бинокль и ощущал примерно то же, что чувствовал бы человек, на глазах которого совершается грехопадение собственной жены. Посреди реки, несущейся с оронской бесшабашностью, стояла семифутовая драга «Интерсольранд» — стояла, высокомерно вознеся свою индустриальную английскую красоту над ножевыми просверками волн в кровавой вечерней воде. В течение дня подчаливало на лодках и по–хозяйски расхаживало по драге приискковое сволочье. Как цыган кобылу, ощупывало заскорузлыми лапами валы и трансмиссии заморской красавицы. Выплювывало махорочные окурки в холодную топку парового котла. Сморгалось и тыкало драными ичигами в стакерные канаты. Совало бородатые немые хари в гулкую пустоту барабана. И уже совсем допекло Жухлицкого, когда на драге появился Турлай, присобачил к гордо высящейся трубе красную тряпку и, размахивая единственной рукой, принялся митинговать перед прибывшими с ним голодранцами. Небось о мировой революции разорялся однурукий пес, о том, что их босяцкой республике требуется золото и нужно–де запрягать в работу драгу, ставшую «таперича» народной. Ну–у нет, этому не бывать!..

Аркадий Борисович до хруста сжал зубы, с превеликим трудом удерживаясь от того, чтоб не шваркнуть бинокль об пол.

Ганскау, развалившись в кресле с рюмочкой старого шустовского коньячка в одной руке и с душистой папиросой в другой, заинтересованно наблюдал за тем, как миллионщик медленно, но верно созревает для «священного дела».

— Право, подобная наглость не укладывается в голове,— проскрежетал Аркадий Борисович.— Тащить механизм через два материка от Лондона до Чирокана, чтобы в конечном счете им завладело хамье! Уж не конец ли света наступает?..

Ганскау усмехнулся половиной лица, выпустил изящную струйку дыма и нарочито ханжеским голосом изрек:

— Бывает нечто, о чем говорят: «Смотрите, вот это новое», но это уже было в веках, бывших прежде нас...

— Воздержались бы, капитан, все-то цитировать Ек-клезиаств...

— Напрасно обижаетесь, Аркадий Борисович,— уже серьезно сказал Ганскау.— Ведь и в самом деле ничто не ново под луной. Все было. И смерды с дрекольем не раз восставали против законности и порядка. И тем не менее все возвращалось на круги своя. Но почему возвращалось?..

Ганскау внимательно посмотрел в ссутулившуюся спину золотопромышленника и, не дождавшись ответа, продолжил:

— А потому, что люди умели отстаивать наследственные или благоприобретенные привилегии. Власть имущие — власть, состоятельные — состояния. И при этом вовсе не обязательно всем братья за оружие,— оно у каждого свое. Скажем, у меня это — шашка и пистолет, а у вас с господином Ризером — нечто другое.

— Считайте, что вы меня убедили, капитан,— глухо проговорил Жухлицкий и снова поднял к глазам бинокль.— Ишь расхаживают, сволочи, будто и впрямь хозяева!.. Нет, я предпочитаю взорвать мою драгу, нежели допустить, чтобы она работала на этот сброд!

— Вы правы,— поддакнул Ганскау.— Только зачем же непременно взрывать? Разве вы не надеетесь вернуться сюда на белом коне и примерно наказать смутьянов? Поверьте, ваша драга еще послужит вам. А пока, полагаю, лучше сделать так, чтобы она временно вышла из строя. Возможно это?

— Разумеется,— отозвался Жухлицкий, прижимая к глазам бинокль.

Солнце уже село. Река помрачнела. Надвигающийся сумрак, съедая подробности, сплавил драгу в нечто массивное, темное, чугунное. От нее по свинцовой воде медленно удалялась лодка.

— Можно, можно...— задумчиво повторил Аркадий Борисович и опустил бинокль, продолжая, однако, глядеть в окно.

Выразив надежду еще побеседовать за ужином, Ганскау вышел. За окнами смерилось, и в кабинет вступила ночь, а Жухлицкий все стоял, устремив невидящий взор на размываемую темнотой драгу.

Несколько лет назад горный инженер Витальский, подводя итоги своих геологических исследований в Золотой тайге, написал: «Мы видим, что золотопромышленность, еще до нас названная «кустарной», влачит здесь жалкое существование. Производительность многих приисков не превышает одного фунта золота в год, и существуют они, главным образом, побочными промыслами, преимущественно торговлей и пушниной. Только лишь применение машинной работы, начало которому положил единственный здесь крупный золотопромышленник А. Б. Жухлицкий, дает толчок к развитию золотопромышленности на капиталистических началах, будущее которой, по всем данным, обеспечено». Трудно теперь сказать, что побудило тогда Аркадия Борисовича воспринять эти слова как некий карт-бланш на будущее. Но, увы, было такое чувство, было, и горный инженер Витальский, кстати говоря, очень толковый инженер, казался ему в ту пору чуть ли не социальным пророком. А оснований к тому хватало. Особенно в три последних предреволюционных года, когда Золотая тайга, словно желая вознаградить на прощанье, с невиданной щедростью одарила

своих хозяев: в четырнадцатом году здешние прииски дали тридцать семь пудов металла, в пятнадцатом — сорок один пуд, в шестнадцатом — пятьдесят пудов. Львиная доля добычи падала, конечно, на прииски Аркадия Борисовича. Но и другим досталось немало. Помнится, трусоватый Бляхер на Совете съезда золотопромышленников в сентябре шестнадцатого года в Баргузине ходил сам не свой и всем и каждому шептал, что подобная удача не к добру. Нашептал, скотина,— верно ведь, ничем хорошим этот разгул везения не кончился. Вслед за шальными пудами золота явились турлаи, окружные инженеры, изменившие своему сословию, и прочая нечисть. Но Аркадий Борисович, не в пример, скажем, Бляхеру, был далек от того, чтобы из трехгодичного обилия добычи непосредственно выводить возникновение Таежного Совета. Он вывел другое: Золотая тайга выдыхается; золотое трехлетие накануне государственного переворота являлось ее предсмертным пароксизмом. Надеяться не на что. Ждать, кроме еще большего грабежа, нечего. Надо спасать то, что есть, до чего еще не дотянулись мозолистые лапы «пролетариев всех стран». В конце концов, на Чирокане и вообще на России свет клином не сошелся. С его-то миллионами можно безбедно жить и ворочать делами в любой стране, где уважают людей с деньгами.

Итак, решение принято. Надо на этих же днях выехать в Баргузин, оттуда в Верхнеудинск, потом в Читу, а дальше — Маньчжурия, Япония, Америка и вообще весь белый свет.

Аркадий Борисович совсем уже собрался зажечь свечи и заняться предотъездным разбором бумаг, но вдруг вспомнил: драга! Он вполголоса выругался и обернулся к окну — там, где находилась драга, стояла такая же непроницаемая чернота, как и вокруг. Видимо, никаких сторожей на драге не оставили. Решение пришло само собой, и Жухлицкий, вздвув свечи, велел найти и позвать Бурундука.

Конечно, Бурундук не такмышлен, как Митька Баргузин, и не столь надежен, как Рабанжи. Но этим двоим Жухлицкий решил ничего не поручать, поскольку был сердит на них.

Бурундук явился явно навеселе. Его лоснящаяся продувная рожа, как всегда, не внушала никакого доверия. Аркадий Борисович заколебался, но, вспомнив, что Бурундук когда-то пробовал работать на драге кочегаром, мысленно махнул рукой и сурово спросил:

— Ума еще не пропилил? Что, где и как лежит на драге, помнишь?

— Аркадьрысыч! — Бурундук обиженно покрутил носом.

— Сейчас на драге никого, кажется, нет. Нужно потихонечку пробраться и затопить ее. Сумеешь?..

— Чего там не сумеешь-то...

— Делать все надо в темноте. Боже упаси зажигать огонь. Чтоб с берега никто ничего не заметил, понял?

— Чего там не понять-то...

— Ну-ну, расчегокался! Еще раз предупреждаю — все должно быть тихо и аккуратно. Ступай!..

После ужина, когда Сашенька, пожелав доброй ночи, удалилась к себе, Аркадий Борисович, приятно улыбаясь, сообщил Ганскау:

— Можете верить, можете — нет, но лавры Никиты Тимофеевича Ожогина не дают мне покоя. Шутка ли: финансово-экономический советник правительства! Я решил ехать во Владивосток — авось и мне какой-нибудь правительственный постишко перепадет. Вот только, боюсь, Франц Давидович не опередил бы.

— Что ж, в вашем решении есть резон,— суховато отвечал капитан, не принимая шутливого тона Жухлицкого.— Полагаю, теперь моя миссия здесь закончена. Вы обещали мне рекомендательные письма кое к кому в Баргузине и...

— О, пусть это вас не беспокоит! — живо перебил его Аркадий Борисович.— В Баргузин мы поедем вместе.

— Вот как? — Ганскау отпил из бокала.— Я думал, вы поедете прямо на юг. Путь-то торный: Могзон, Чита...

— В Баргузине мне предстоят кое-какие дела,— мельком пояснил Аркадий Борисович и тотчас перешел на другое: — К тому же мое личное присутствие облегчит ваше взаимопонимание с баргузинскими промышленниками.

— Это безусловно! — поспешил согласиться Ганскау, спохватившись, что кому-кому, а уж ему-то, функционеру Временного правительства автономной Сибири, нелегально пребывающему на большевистской территории, надлежит вести себя скромно.

Разговор постепенно иссяк. Аркадий Борисович все чаще поглядывал на часы и начиная заметно нервничать.

В доме установилась тоскливая тишина, лишь иногда нарушаемая рычанием собак под окнами. Ганскау попивал вино, курил и рассеянно следил за струйками табачного дыма, прихотливо извивающимися вокруг язычков свечного пламени.

— Кстати, Аркадий Борисович,— проговорил он внезапно, не меняя позы.— Хотите анекдот о свечах?

— Отчего ж... — пожал плечами Жухлицкий.

— Перевели некий гусарский полк откуда-то с окраин империи в места, близкие к столицам. Хозяйка соседнего имения, вдовствующая графиня, устраивает прием для господ офицеров. Полковник, конечно, польщен, но и озабочен, поскольку господа офицеры, будучи в медвежьем углу, изволили-с порядком оскотиниться. Графиня сама, собственными ручками принимается расставлять свечи по многочисленным шандалам и канделябрам. «Ах, ах! — щебечет наконец графиня.— Осталась всего одна свеча. Ах, куда бы ее вставить?» И не успела она это произнести, полковник вскакивает и громогласно командует; «Господа офицеры, ни слова!»

Жухлицкий вежливо усмехнулся.

— Очень смешно...

Он опять взглянул на часы, покачал головой и вздохнул.

— Да-а... что и говорить, жилось вам весело. И свечи жгли, и в карты игравали...

— Певичек в шампанском купали,— в тон ему подсказал Ганскау.

— Возможно... Вам лучше знать,— согласился Аркадий Борисович.— Словом, геройства было много. А когда пришел час отстоять свои привилегии, оказалось, порох-то весь за ломберными столиками сожжен... Только вы уж не обижайтесь, господин капитан, не примите мои слова за покушение на честь мундира...

— Ради бога! — воскликнул Ганскау.— Все мы виноваты, все! Ведь и ваш брат, промышленник, аршинник, толстосум, на шалости эти был весьма горазд. Ночные горшки из чистого золота балеринам даривали? А тысячные кутежи в отдельных кабинетах с раздеванием дамочек хороших фамилий, было-с такое, а? А поездки на воды да в Париж, а?

— Эх, Николай Николаевич! — сокрушенно вздохнул Жухлицкий.— Баргузин да Чирокан — вот и все мои парижи. Какие уж тут воды, какие дамочки!.. Я ведь свой несчастный капиталишко из земли зубами выгрызал. Работал, как каторжник, верьте слову... Впрочем,— Аркадий Борисович засмеялся,— давайте-ка, Николай Николаевич, разойдемся по-доброму, а то, глядишь, еще поссоримся ненароком!..

— И то верно,— Ганскау поднялся.— Сегодняшний путь от резиденции господина Шушейтанова порядком-таки утомил меня... Ни сна, ни отдыха измученной душе!..

Однако отдохнуть в эту ночь ни ему, ни Аркадию Борисовичу, ни Сашеньке так и не пришлось.

Жухлицкий уже начал терять терпение, когда — в начале двенадцатого ночи — наконец-то вернулся Бурундук. Он был мокрый с головы до ног и выглядел значительно трезвее, чем давеча.

— Та-ак,— Аркадий Борисович с усмешкой оглядел подрагивающего молодца.— Что, вспотел на работе да искупаться надумал?

— Об-б-братно-то... вплавь,— клацая зубами, прохрипел Бурундук.

— Вижу, тебе надо согреться,— Аркадий Борисович налил большой бокал коньяку, которым вечером лакомился Ганскау.

Бурундук выпил, крикнул, встряхнулся, как вылезший из воды пес, и тотчас повеселел.

– Ну, затопил? — нетерпеливо спросил Жухлицкий.

– Затопил, Аркадьрисыч. Когда я оттедова сиганул, вода, значит, под котел уже подходила...

– Так, хорошо...

– Только это самое... маленько неладно вышло...

– Ну? — насторожился Аркадий Борисович.

– Залез я это, значит, на драгу—то... Иду. Темно... Тут паровой котел. Железяки под ногами брякают... Я это... маленько спичку запалил... Не видно же, думаю...

– Ну?

– Ну... тут, значит, это... какой—то мужик вроде как из—под ног у меня выскочил... Ну, я его это... оглушил, значит...

– Так... — глаза у Аркадия Борисовича обратились в два лезвия.

– Хорошо оглушил... лежит, значит, не вертухается... Ну, пошел я дальше... С понтонами—то повозиться пришлось... то да се, время—то идет...

– Так...

– Иду, значит, обратно... Иду...

– Да телись ты быстрее! — не выдержал Жухлицкий.

– Иду я, значит... а его—то и нету...

– То есть как это — нету? Кого нету?

– Ну... мужика этого.

– Та—ак... Дальше!

– Дальше—то что... Я туда—сюда... нету и нету... Вышел я, хватъ — и лодки нету...

– Прекрасно! Дальше что?

– Ну, пока чухался я, драга скособочилась... вода — уж вот она... Ну, сиганул я и поплыл... А потом, значит, сюда...

– Все понятно!

Аркадий Борисович вскочил и бесшумно заходил по кабинету. Слава богу, он еще не разучился соображать достаточно быстро и смог сразу оценить всю опасность возникшей ситуации. Сторож надул Бурундука, увел у него лодку и теперь, разумеется, сидит у Турлая и подробно докладывает о происшедшем. Очень может быть, что при свете спички он узнал Бурундука. И даже не «может быть», а — скорее всего. Из этого надо сейчас исходить. Береженого бог бережет. В результате Турлай наконец—то получил долгожданный повод арестовать его, саботажника, вредителя, кровопийцу и эксплуататора Жухлицкого. И тут уж вредителю Жухлицкому не помогут ни Кудрин, ни друзья—приятели в Баргузине: драга слишком хорошо известна во всех советских организациях вплоть до Центросибири, и ее утопление вызовет конечно же шум и меры чрезвычайные. Что делать? Где выход? Немедленный побег? Но куда б ни направить стопы, а все равно Баргузина, Верхнеудинска и Читы не миновать, потому что в тамошних банках и отделениях банков у него лежат солидные вклады, на которые по срочному сигналу Турлая, его свинячьего Таежного Совета и окружного инженера в любой момент может быть наложен арест.

Аркадий Борисович сокрушенно покачал головой. Каким все же хождением по лезвию ножа было его вот уже почти годовое существование под властью большевизма: пустяковая ошибка, маленький просчет — и все благополучие, может, даже сама жизнь оказались под угрозой. А он, недоумок этакий, еще колебался, уезжать за границу или не уезжать!..

Все это время, нервно расхаживая по кабинету, Жухлицкий ни разу не подошел к окну, словно безотчетно чего—то опасался. Когда ему это пришло в голову, он раздраженно фыркнул и нарочно остановился у окна. Впрочем, смотреть там было не на что — глухая темень — равно как и опасаться, — его, стоящего в освещенном прямоугольнике, вряд ли кто сейчас мог видеть. И тут он вдруг подумал, что не себя же самого показывать выставился он в окно, а взглянуть в сторону лежащей на дне драги, и сделал это не по своей воле, а опять—таки как бы безотчетно. Выходит, он поступил вполне в соответствии с утверждением о том,

что убийцу неодолимо тянет к месту его преступления. Аркадий Борисович фыркнул вторично. Вот уж чего-чего, а собственноручного убийства он никогда не совершал, но сейчас, кажется, готов и на это. Тут в голове его мелькнула некая мысль. Смутная вначале, она по мере размышления обрела ясные очертания, обросла подробностями и очень быстро превратилась в законченный план действий.

Аркадий Борисович еще раз прошелся по кабинету, продумывая все до конца, потом остановился и внимательно, словно видел его впервые, оглядел Бурундука.

— Так,— проговорил он.— Посиди пока здесь. Наверно, мы с тобой кое-куда поедем.

С этими словами он поставил перед Бурундуком бутылку шустовского коньяка, в которой оставалась почти половина, и вышел из кабинета.

У Сашеньки еще горел свет. В последнее время она забросила чувствительные романы и увлеклась рукоделием.

Жухлицкий отдавал должное безропотности и терпению, с каким она переносила смертельную скуку нынешней чироканской жизни, и мысленно не раз давал себе слово с лихвой отблагодарить ее когда-нибудь за все.

— Аркадий Борисович! — радостно вспыхнув, она вскочила с места.

— Вот и славно, что ты еще не спишь, душа моя,— он отечески поцеловал ее в лоб и присел к столу.— Поддай-ка мне бумаги и чернил.

Он положил перед собой чистый лист, прищурясь, с секунду глядел на огонек свечи, затем твердым почерком начал быстро и уверенно писать.

*В Комиссариат труда и промышленности Центросибири
владельца и управляющего приисков в Золотой тайге А. Б. Жухлицкого*

ЗАЯВЛЕНИЕ

С глубоким беспокойством сообщаю, что среди рабочих Чироканского прииска возобладало течение в пользу захвата находящейся здесь драги. Ввиду весьма значительной ценности этого механического устройства и сложности машин, таковой захват может окончиться гибелью предприятия. Предотвратить катастрофу может своевременное телеграфное оповещение Центросибирью приискового рабочего комитета о распоряжениях Совнаркома относительно национализации золотопромышленности. Убедительно прошу известить меня, считает ли Комиссариат возможным непосредственную посылку таковой телеграммы приисковому рабочему комитету. В зависимости от этого я буду планировать дальнейшую работу Чироканского и других принадлежащих мне приисков в Золотой тайге.

Закончив, Аркадий Борисович перечитал. Поставил дату, подпись, добавил «Чироканская резиденция», аккуратно сложил лист вчетверо и спрятал в карман халата. После чего посмотрел на Сашеньку долгим и непривычно серьезным взглядом.

— Подойди ближе, друг мой,— мягко проговорил он наконец и указал на стул подле себя.— Сядь... Ну, вот и пришла пора поговорить обо всем начистоту...

ГЛАВА 18

Купецкий Сын заявился к Турлаю под утро. Несмотря на борчатку, он клацал зубами, дрожал и не мог вымолвить слова. Да оно и не удивительно, ибо был он мокр, но как-то чудно — только ниже пояса. Даже неприветливый после прерванного сна Турлай, обнаружив подобный курьез, от хохота согнулся пополам, тем самым разбудив Зверева и Очира.

— Ты это как — со страху, что ли? — еле вымолвил наконец Турлай.— Да сними ты борчатку! Что стоишь, как это самое... будто наклал в эти самые... — И снова принялся взвизгивать и плакать от смеха.

Зверев тоже посмеялся немного, после чего заставил Ваську раздеться, а Турлай, прыская, стал искать для него свои старые солдатские штаны. Васька стоял, прикрыв срам

рукой, и все пытался что-то сказать, но не мог — не владел голосом. Обнаружилось, что и борчатка, вроде бы сухая снаружи, тоже вымочена и тоже несуразно — изнутри и опять-таки до пояса.

— Ну-у, диковина! — поражался Турлай, ощупывая борчатку.— Это ж надо так ухитриться!

— Бе-е... бе-еда... — проблеял наконец Купецкий Сын.— Др-р-рага-то... утопла...

Турлай застыл с выпученными глазами.

— То есть как это... утопла? — враз осипшим голосом спросил он.

— Д-должно, щели появились...

— Погоди, погоди... — Турлай беспомощно оглянулся на Зверева.— Совсем, что ли... утопла?

Васька кивнул.

— Да расскажи ты толком! — рявкнул Турлай и начал лихорадочно натягивать сапоги.— Сама, что ль, утопла?

— Сама, сама,— словно обрадовавшись чему, заторопился Васька.— То-то и есть, что сама. Лежу я... вдруг чую — мокро... Думаю, снится, что ль? А кругом вода плещется... Потом, чую, несет меня... Холодно, темнотища...

Васька шмыгнул носом, начал всхлипывать.

— Черт меня дернул связываться с тобой! — Турлай потопал о пол сапогами, поддернул голенища и встал.— Ну что, Платоныч, сплаваем, посмотрим, а?

— Придется,— Зверев озабоченно глянул на Купецкого Сына.— Вы ничего не напутали, Василий Галактионович? Что-то я не слышал, чтобы драги сами собой тонули.

Васька уныло качнул головой.

— А наша, бедная, утопла...

— Утопла! — зло сказал Турлай.— При Николае не топла, при Керенском не топла, а как стала советской, так утопла... Пошли, Платоныч!..

Сторожить драгу Васька вызвался сам. На это его в немалой степени подвигнула винтовка, обладателем которой он нежданно-негаданно сделался. Драга — не какой-нибудь пропахший мышами амбар, драга — штука железная, добытчица золота, и доглядывать за ней ночью — дело, требующее отваги.

Уже смеркалось, когда Турлай с мужиками отчалил, и Васька остался на драге один. Не мешкая, он извлек тайно привезенную с собой бутылочку спирта, приложился и, завернувшись в борчатку, прилег возле парового котла.

Быстро стемнело. Журчала вода. Железное нутро драги невнятно гудело, время от времени что-то гулко взбулькивало, вздыхало. Ваське становилось не по себе. Для храбрости он сделал еще пару глотков, нарочито громко крякнул. В ответ где-то тоже крякнуло, глухо я угрожающе. Ваське разом вспомнился недавний рассказ Пафнутьевны о русалке с золотым гребнем в волосах; полезли в голову леденящие душу истории о водяных, утопленниках, таинственных и жутких ороchonских шаманах. Может, по ночам вся эта нечисть собирается на драге мыть золото? Небось золотишко-то и на том свете в цене ходит... Стало совсем страшно. А кругом уже вовсю мяукали, выли, визжали, хрюкали, бормотали противными гнусавыми голосами. Видно, со всей тайги повылазила на промысел бесовня.

Васька давно бы удрал, да ноги перестали вдруг слушаться. Еле хватило сил донести до рта бутылку и хлебнуть еще разок.

Вскоре он захрапел, и сны его изобиловали всяческими ужасами.

Соответственным было и пробуждение — кто-то с маху наступил ему копытом на пальцы. Васька подскочил и обомлел — прямо на него лезла какая-то багровая рожа с горящими глазами и свиным пяточком вместо носа. Не успел Васька разинуть рот, как бесище когтистой своей лапой ахнул его по темечку — на миг все озарилось адским пламенем и погасло.

Немного погодя Купецкий Сын очнулся. Было темно и холодно. С трудом сообразил, где он, вспомнил про спирт, пошарил вокруг и ничего не обнаружил. Тогда он, ползая на

четвереньках, начал соваться туда—сюда. Бутылка не находилась. Васька обеспокоился не на шутку, решил встать, но, разгибаясь, ударился головой о какую—то железную штуковину и опять рухнул без чувств.

Между тем Бурундук, вскрыв понтоны, собрался покинуть драгу, да вспомнил про сторожа и решил на всякий случай еще пару раз огреть его чем—нибудь по голове, чтобы не выплыл случайно. Однако того на месте не оказалось. «Удрал!» — ахнул Бурундук, кинулся к лодке и не нашел ее. Он не знал, что узел, второпях завязанный его нетрезвой рукой, развязался, и лодку унесло течением. Драга уже сильно накренилась, осела, и Бурундук, видя, что деваться некуда, с превеликой неохотой бросился в холодную, черную, как тушь, реку.

Подступившая вода привела Ваську в себя. После выпитого его мучила сильнейшая жажда. Потому, еще не совсем осознавая происходящее, Купецкий Сын первым делом напился, зачерпывая ладонью отдающую машинным маслом воду. И лишь после этого до него дошло, что творится неладное. Где—то зловеще урчало и гудело. Громко булькало, словно водяной пускал пузыри. Металлический пол вздрагивал, качался и косо ускользал из—под ног. Кругом плескалась вода. Васька тотчас вспомнил, что лодку ему не оставили, обещав приплыть за ним утром, и, стало быть, положение его аховое. Он пробовал кричать, однако из горла, основательно прожженного спиртом, вместо громкого призыва о помощи вырывалось что—то мятое и сиплое. К тому же с пустынного правого берега реки нехорошо как—то отозвалось — эхо не эхо, но такой звук, будто кто хрипел, вися в петле, и Васька, убоявшись, тотчас бросил вопить.

Держался он до последней возможности. И как в конце концов попал он в реку, Купецкий Сын и сам не помнил. Полы борчатки сразу всплыли, таким веером легли поверх воды, и Ваську торчком понесло по течению.

Нет, не зря, видно, говорят, что слабоумных да пьяных сам бог бережет. Не успел Васька даже напугаться толком, как ощутил ногами дно — его вынесло на песчаную отмель. И только тут он обнаружил, что заостренность от холода рука намертво сжимает винтовку.

Пока Купецкий Сын шлепал по косе до берега, потом выливал из ичигов воду, выжимал штаны и, робея, добирался до Турлая, время приблизилось к рассвету...

Турлай и Зверев вернулись довольно скоро. Разрумянившийся Васька сидел за столом и шумно пил горячий чай, на скорую руку приготовленный Очиром. Едва войдя в избу, председатель Таежного Совета огненным взглядом пробурлил Купецкого Сына и выругался сквозь зубы окопным солдатским ругательством. Васька поперхнулся, заерзал, полез из—за стола.

— Сиди,— махнул рукой Турлай.— Поверили тебе, понимаешь... Пустой ты человек!

Несчетное множество раз унижали и шпыняли Ваську, но никогда еще никакие изощренные ругательства не пронзали его сильнее, чем эти простые и как будто без особой злости сказанные слова. Купецкий Сын опустил голову, из глаз сами собой закапали слезы.

— Так вы убеждены, что это диверсия? — спросил Зверев.

— Ясное дело,— пробурчал Турлай.

— Слишком уж неосторожно и неумно, даже, сказал бы я, откровенно нагло. Непохоже как—то на Жухлицкого... — Зверев пожал плечами и налил себе чаю.

— Нагло—то нагло, да ведь дело—то какое... — Турлай присел перед печкой, выудил уголек, прикурил и несколько раз глубоко затянулся.— Дело тут, говорю, такое. Возьмем, скажем, собаку. Ты можешь ее за уши трепать, тягать за хвост, хочешь — ремнем шлепни, и она — ничего, от хозяина все стерпит. А вот если попробуешь кость у нее забрать, то тут тебя за пальцы и цапнут! — Турлай невесело засмеялся.— Я очень даже хорошо понимаю Аркашину злобу. Он ведь ее, голубушку эту, аж из самой Англии тащил, не на своем горбу, конечно, и не за свои опять же денежки, но все же вложил он в нее хлопот немало, это тоже надо понять. Я уж не говорю про золото,— одного куражу сколько было. Подумать только — целая фабрика на реке плавает. Дымит, гудит, грохочет. Машина! У кого еще на тыщу верст в округе такое чудо есть? Ни у кого! Только у одного Аркадия Борисовича Жухлицкого! Уж на

что ризеровский Орон доился золотом, будто симментальская корова, а все ж у Жухлицкого почету было больше — голова, культурный капиталист!.. Вот потому драга была для него как бы и не машина вовсе, а вроде красивой бабы, с которой не стыдно на людях показаться... Однако басни баснями, а дело делом!— Турлай решительно поднялся.— Надо послать кого-то в Баргузин, чтоб дать телеграмму в Читу и Верхнеудинск.

— Мне кажется, следует поговорить с Жухлицким,— заметил Зверев.

— Само собой. Арестуем, а потом поговорим,— Турлай повернулся к Ваське.— Ну что, штаны—то просохли? Одевайся—ка да беги к нашим — пусть все идут сюда! А мы с тобой, Платоныч, сходим пока к Жухлицкому. Да пистолет не забудь прихватить.

Тем временем рассвет уже высветлил окна. Турлай погасил огарок, глянул во двор.

— Смотри—ка, день уж... Экая сволочная ночь получилась!.. Натрут нам холку за драгу. И правильно. Война идет, революция, а мы уши развесили...

Зверев, побрызгав водой на свою форменную тужурку, тщательно почистил ее, влажной тряпочкой прошелся по брюкам, обмахнул фуражку. Провел ладонью по щекам.

— Придется побриться. Турлай досадливо крикнул:

— Медведь век не моется, да люди боятся.

— Ничего не поделаешь, Захар Тарасович,— смеясь, отвечал Алексей.— Я человек казенный и должен всегда блестеть, как новенький пятак.

Побрившись, Зверев аккуратно собрал в одну седельную суму предназначенные Сашеньке золото и драгоценности.

— Тяжело? — ехидно посочувствовал Турлай, глядя, как Алексей взвешивает суму в руке.— Учти, Платоныч, донести не помогу.

— Я дал слово умирающему человеку,— хмуро отозвался Зверев.

— Ладно, ладно!— Турлай махнул рукой.— Пошли!

Было еще рано, но их тотчас провели в гостиную, и немного погодя туда вошла Сашенька. Поздоровались. Сашенька, приветливо улыбаясь, выжидательно смотрела на гостей.

— Нам бы гражданина Жухлицкого,— кашлянув в кулак, сказал Турлай.

— Аркадий Борисович уехали в Баргузин,— все так же улыбаясь, отвечала Сашенька.

— Уехал? — Турлай помрачнел.— Когда?

— Вчера вечером.

— Та—ак, так... Когда вернется?

— Не сказывали...

Турлай посмотрел на Зверева.

— Дело ясное. Надо ехать в Баргузин.

— Да,— лаконично отозвался Зверев и, сделав шаг вперед, слегка поклонился Сашеньке.

— Простите за странный вопрос, вы... давно видели своего отца?

— Отца? — Сашенька удивленно вскинула брови, потом засмеялась.— Да я его никогда и не видела. Мне, наверно, годика два было, когда он ушел из дому. Помню, говорили, что живет где-то в Бодайбо...

— Понятно, понятно...— Зверев немного помолчал в задумчивости и вдруг заговорил отрывисто и сурово:— Мне выпала обязанность сообщить вам скорбную весть: ваш отец скончался прошлой ночью, и я был единственный, кто присутствовал при этом. Он оставил устное завещание, согласно которому я должен передать вам золото и драгоценности, что и делаю в присутствии председателя Таежного Совета.

С этими словами Алексей подал седельную суму. Сашенька, слушавшая его с возрастающим изумлением, покорно приняла и, не ожидая такой тяжести, чуть не выронила ее. Алексей молчал. Сашенька тоже молчала и глядела на него со смешанным выражением страха и растерянности.

— Кхм! — Турлай кашлянул, нарушая тишину.— Тебе, Сашенька, надо бы посмотреть, удостовериться, значит... И опять же вернуть суму, поскольку вещь она казенная и кожа на ней стоит добрая...

Сашенька, по-прежнему не говоря ни слова, подошла к столу, обеими руками подняла увесистую суму и опрокинула ее прямо на скатерть. Золото, мелкое, как махорка, тускло лоснящиеся самородки разной величины, кольца, перстни, браслеты, колье, сережки, диадемы, броши и прочие украшения, сверкающие многоцветьем камней, устлали едва не половину большого обеденного стола.

— Вот... берите,— Сашенька протянула Алексею седельную суму.— Прошлой ночью, говорите... А отчего помер?

— От раны,— медленно сказал Зверев, не сводя с нее глаз.— По словам Василия Разгильдяева, в вашего отца стреляли... Не то Рабанжи, не то Митька Баргузин. Так уж, верно, получилось...

— И Васька там оказался? Чудно... Наш пострел везде поспел. Надо расспросить его хорошенько...

— Василий, видимо, был большим другом вашего отца...

— Откуда ж он взялся, отец-то?... Где жил, почему не пришел ни разу? — она говорила вполголоса, спрашивая как бы саму себя.

Алексей промолчал.

— Похоронили мы его,— нерешительно сказал Турлай.— Там его, значит, и закопали, возле штольни этой...

Васька знает... Сашенька бледно улыбнулась.

— Ну, вот... даже и не знаю, что спросить про родного отца... Какой он хоть из себя был?

— Представительный старик, богатырь. Перед смертью все о вас говорил. Я понял, что он чувствовал себя в чем-то виноватым перед вами. И любил... Вот это, говорит, приданое дочери... Да! Ведь там еще шелка разные остались, бархат...

Сашенька машинально перебирала золотой песок. Задумалась, потом качнула головой.

— Нет, не помню я его... Совсем не помню. Да и где же упомянуть — ведь годика два мне было... Мать все говорила, что я в него пошла...

Она вдруг подняла голову и посмотрела на Зверева.

— У вас жена есть?

— Н-нет,— несколько озадаченно ответил тот.— Не довелось как-то...

— Ну, все равно...— вздохнула Сашенька, не глядя взяла несколько украшений и протянула Алексею.— Прошу вас, возьмите...

— Нет-нет,— Алексей сделал шаг назад.— Вы... не должны так с отцовским подарком...

— Я очень прошу,— она умоляюще взглянула ему в глаза.— Это ж вроде бы от него, от отца... И от меня тоже... Не надо нас обижать...

— Бери, Платоныч,— сурово сказал вдруг Турлай.— Сашенька верно говорит. И добро это честно нажитое, сам небось понимаешь...

Алексей, чуть поколебавшись, взял драгоценности.

— А это вот вам...

— Спасибо, возьму,— Турлай, любуясь игрой камней, подержал на ладони подаренные вещи, бережно положил в карман.— Только беру я это, конечно, в собственность нашего Таежного Совета, на нужды трудящихся, значит. Пригодится.

— Тогда, Сашенька, позвольте и мне подобным же образом распорядиться вашим подарком.— Сказав это, Зверев повернулся к Турлаю.— Надеюсь, Захар Тарасович, вы не откажетесь принять в собственность Совета и мою долю,— он протянул ему драгоценности.

— Отчего ж,— отозвался Турлай.— Для народа — всегда пожалуйста... Ну, пошли мы, Сашенька. А напоследок скажу тебе прямо: допрыгался твой Аркадий Борисович. Сегодня ночью драгу затопили. Так это сделано его стараниями. Теперь он ответит по всем статьям революционных законов.

Простившись с Сашенькой, они покинули настороженно притихший дом Жухлицкого и, сопровождаемые злобным лаем псов, вышли за ворота.

— Надо скорей посылать людей в Баргузин,— размышлял Турлай.— Прежние делишки Жухлицкого — ну, там спекуляция, уклонение от налогов, шахер-махер с золотишком, это еще туда-сюда, а вот затопление драги — это уже контрреволюция, диверсия.

— И все-таки что-то здесь не так,— Алексей замедлил шаги.— Что-то слишком уж все явно. Драга затонула ночью, и ночью же Жухлицкий скачет в Баргузин. Что он, до утра не мог подождать? Весьма странно. Вы заметили — он действует так, словно сознается в содеянном и...

Зверев умолк, словно налетев на стену. Ему показалось, что последние слова он совсем недавно слышал от кого-то. Но от кого и при каких обстоятельствах? «Сознаваясь в содеянном... сознаваясь в содеянном...» Это была та раздражающая щекотка ума, когда некое смутное воспоминание крутится где-то совсем рядом, дразнит обманчивой доступностью, но никак не дает себя ухватить. Алексей отвлекся и, когда, сделав над собой усилие, вернулся к разговору, услышал, как Турлай сердито говорит:

— ...совсем забыл давеча. И плевать теперь на тогдашние рассуждения Аркаши — сегодня же освобожу этого охотника. Дандей, он мужик хороший, я сразу заметил, и к убийству прямого касательства не имеет...

Тут сзади послышался стук копыт и звонкий вопль:

— Дядя Заха-ар!..

Одновременно обернулись. К ним, отчаянно понукая коня, спешил взъерошенный подросток.

— Дядя Захар!.. Дядя Захар!..— безостановочно выкрикивал он, хотя Турлай и Зверев уже стояли, поджидая его.

— Чего горланишь! — заворчал Турлай, но увидел перепуганные глазенки парнишки и вмиг встревожился: — А ну, говори быстро, что опять случилось?

— Беда... дядя Захар! — еле выдохнул тот.

— Н-ну... прорвало! — Турлай беспомощно оглянулся на Зверева.— Да не тяни ты, байстрюк этакий!

— Жу... Жухлицкого убили! — выпалил парнишка.

— Вот те раз! — охнул Турлай.— Погоди, погоди... Кто тебе сказал?

— А видел я, видел,— затараторил парнишка.— Его конь без головы привез.

— Кто без головы — конь, что ли? — рассердился Турлай.

— Не, Жухлицкий... Страшно-то до чего!.. И мне говорят, беги, мол, до таежного председателя...

— Одно другого не легче! — Турлай вытер ладонью взмокший лоб.— Придется сходить, Платоныч.

В нижнем конце поселка, там, где за пустующими домишками высились полуобгоревшие остовы старых амбаров, волновалась и судачила небольшая толпа. За жердевой оградой, которой было обнесено место для хранения зародов сена, беспокойно плясала взмыленная лошадь. Она храпела, вздрагивала, то и дело шарахалась, испуганно кося глазом на то, что волочилось за ней сбоку и издали напоминало как бы большой мешок.

При появлении Турлая люди облегченно вздохнули, зашумели.

— Председатель пришел, власть...

— Власть-то власть, да только куда она смотрит?..

— Это что же делается-то?..

— Схлопотал пулю, сукин сын! Давно надо было...

— Да, сотворили ему козью морду...

— Видать, беглые варнаки подсидели...

— При нем, поди, и грабить-то было нечего...

— Это точно — Аркаша золотишко при себе ни разу не возил...

— Граждане, тихо! — гаркнул Турлай, бросил взгляд на лошадь и поднял руку.— Пусть кто-нибудь толково расскажет, что к чему.

— Сам не видишь, что ли,— хмуро отвечали ему.— Прибежал конь из тайги, а за ним бединушка эта тащится... Ну, насилу загнали его сюда да за тобой послали.

— Ага, ага,— глаза у Турлая остро сощурились.— Из тайги, значит, конь появился? Недавно, выходит, а? Ну, лады. Айда, мужики, ловить конягу.

После недолгой суеты и криков, изрядно переполошив и без того испуганную лошадь, ее все-таки поймали, крепко взяли, дрожащую и мокрую, под уздцы.

Успевшая затесаться в кучу возбужденных мужиков любопытная бабка, едва глянув, охнула и перекрестилась:

— Ос-споди, одна туша! Видать, голова-то вся на пнях да на камнях осталась...

Старуха выразилась безжалостно, но точно. Тело, застрявшее одной ногой в стремях, было по существу без головы — вместо нее какие-то кроваво-грязные лохмотья, бесформенное месиво. Руки — изодраны до костей, особенно кисти. Должно быть, лошадь, пугаемая неотступно волочащимся за ней и бьющим по ногам страшным грузом, не один десяток верст протащила труп галопом и рысью по гарям, россыпям и таежной чащобе.

— Эх, измочалило-то его,— со вздохом проговорил кто-то.

— Измочалит... протащись-ка этак-то за конем...

— Не повезло Аркадь Борисычу, даже по-человечески в гробу не полегит...

Турлай потрогал ногу, вместе с каблуком продетую в стремя, крякнул и, опустившись на корточки, стал осматривать тело. Знакомая всей Золотой тайге куртка из оленьей кожи ороchonской выделки, которую Аркадий Борисович обычно надевал в дорогу, не сильно пострадала, ободраны были только рукава и плечи. Поэтому пулевая пробоина на груди слева, как раз против сердца, сразу бросалась в глаза.

— Сзади стреляли,— негромко заметил кто-то.

— Вижу,— хмуро отозвался председатель, подумал и, сказав: — Будьте свидетелями,— принялся извлекать содержимое карманов.

На чахлую траву легли браунинг второй номер, запасная обойма к нему, складной нож в замшевом чехле, бумажник, пара записных книжек, старый, еще царского образца паспорт, золотые часы, спички и прочая мелочь. Из левого нагрудного кармана Турлай достал окровавленный, пробитый пулей листок бумаги, развернул и вполголоса прочитал: «В Комитет труда и промышленности Центросибири... С глубоким беспокойством сообщая, что среди рабочих Чироканского прииска возобладало течение в пользу захвата находящейся здесь драги...»

— В Иркутск, что ли, хотел махнуть? — спросил державший лошадь старатель Чумакин.

— Зачем в Иркутск, когда он телеграмму мог отбить...

— Знать, жалиться полетел, сердешный,— прошамкала бабка.— Царство ему небесное, добрый был хозяин...

— Во-во,— недобро усмехнулись на это.— Добер, как бобер, а бобер был сволочь.

— С ума сошел — о покойничке-то так!..

— Покойничек!.. Аркаша этих покойничков целое кладбище наместерил и ухом не повел. Для меня он что живой, что мертвый — все одно сволочь!..

— Тихо, мужики! — гаркнул Турлай.— Сейчас будем бумагу делать, чтоб все было честь по комедии. Акт, опись барахлишка и все остальное прочее...

«Азиям верблюзей шерсти...» — внезапно вспомнилось Звереву, и тут его осенило: да-да, это же было в то первое утро на Чирокане, когда он сидел в кабинете Жухлицкого,— опись имущества умершего ссыльного поселенца Иванова, а как раз перед этим обаятельно-покаянная улыбка Жухлицкого: «Я мог бы сделать это гораздо тоньше, но сделал намеренно грубо — как бы сознаваясь в содеянном...» Вот откуда они взялись, эти самые слова «сознаваясь в содеянном»!.. В голове забрезжила какая-то смутная мысль, но в это время грянул вдруг звучный голос: «Посторонись!» — и сквозь толпу невольно раздавшихся старателей уверенно прошел родственник Жухлицкого, Николай Николаевич Зоргаген.

— Это... он? Аркадий?.. — потрясенно прошептал он и, хватаясь за голову, вскричал: — Нет, нет, не верю! Не может быть!

Люди угрюмо молчали.

– Боже мой, боже мой!— рыдал родственник.— Как же это?.. Что я скажу нашей дорогой тете Эсси? Это убьет ее!.. Бедная Сашенька!.. Бедные все мы!..

Он поднял заплаканные глаза на Турлая.

– Скажите, председатель, ведь его убили, да? Убили? Не скрывайте от меня ничего!

– А чего тут скрывать,— проворчал Турлай.— Все на виду. Вон она, дырка-то...

– Боже мой, я ничего не понимаю! Какая еще дырка?

– От пули дырка,— сумрачно объяснили ему.— Стреляли его...

– Где? — вздрогнул родственник.— А! Да-да, вижу... Какое зверство!.. Но кто это сделал? Их ведь найдут?

– Найдешь...— пробурчал кто-то.— Тайга, она и есть тайга.

– Вопросик имеется,— деликатно кашлянул Турлай.— Он не говорил вам, зачем едет в Баргузин?

– Да-да, говорил. Он, знаете ли, вчера весь день ходил подавленный, все жаловался на несправедливость. Твердил, что будет искать защиты в Иркутске, а то и в самой Москве...

– А чего ж он на ночь-то глядя собрался в дорогу?

– Вот уж этого я не знаю,— развел руками родственник.— Он ведь был человек внезапных решений, горячий...

– Да уж...— туманно отозвался на это Турлай.

С тарыхтьем подкатила телега, в которой прибыли двое вооруженных казаков.

– Тело я забираю,— тоном, не допускающим возражения, сказал Зоргаген.— Похороны завтра, а затем поминки и все прочее, как водится у нас на Руси. Милости просим всех.

Он подал знак казакам, чтобы те взяли тело.

– Погодить надо,— неуверенно воспротивился Турлай.— Сейчас акт составим, опись... Документ должен быть — его потом в Баргузин придется представить.

– Эх, пустое все это,— вздохнул Зоргаген.— Писаниной человека не воскресишь... Вы уж напишите, что положено, а мы с Сашенькой потом подпишемся. А вот личные вещи дорогого Аркадия я, с вашего позволения, заберу сейчас.

Председатель Таежного Совета вопросительно посмотрел на Зверева, подумал и махнул рукой:

– Нехай. И без того дело ясное...

Казаки с трудом высвободили из стремени ногу трупа, бережно завернули в холстину и понесли к телеге. Зоргаген двинулся вслед за ними, но вдруг, вспомнив что-то, вернулся.

– Кстати, относительно документов, удостоверяющих смерть Аркадия Борисовича,— сказал он Турлаю.— Наверно, послезавтра мы с Сашенькой поедem в Баргузин. Можем увезти эти бумаги...

Турлай согласился.

Телега с трупом Жухлицкого, тоскливо скрипя и хрустя колесами по щербню, поползла прочь. Рядом с ней пылили сапогами казаки, вышагивал прямой, будто аршин проглотил, Николай Николаевич Зоргаген, безутешный родственник покойного.

– Вот такие дела,— проговорил Турлай, задумчиво глядя им вслед.— Ускользнул Аркадий Борисыч от революционного суда, а божий суд ему не страшен — на небе Советской власти пока еще нету.

ГЛАВА 19

Должно быть, Васька родился в рубашке или же довелось ему в раннем детстве откусать что-нибудь такое... малосъедобное. После истории с драгой он вполне справедливо ожидал — и не только от председателя — самых больших неприятностей, но тут весьма кстати подгадала смерть Жухлицкого, и всем стало не до Васьки.

Пока в избе Турлая дымно и шумно заседал срочно собравшийся Таежный Совет, Купецкий Сын, прихватив как доказательство своей доблести винтовку Рабанжи, улизнул к Кушаковым.

Встреченный охами-ахами Василисы, Купецкий Сын сперва молча и важно проследовал в передний угол, поставил на видное место свое оружие и лишь после этого соизволил сесть за стол и снисходительно принять из рук хозяйки стаканчик разведенного спирта.

— Говорил я вам... ведь по-моему вышло,— как-то невпопад отвечал он на вопросы сгорающей от любопытства Василисы о драге и смерти Жухлицкого.— Сегодня ночью все это сотворилось — и Аркадия Борисыча, царство ему небесное, ухайдокали, и драга утопла, при мне дело случилось, однако началось—то оно еще прошлой ночью. И опять—таки кругом я же и был, при всем этом самом, значит. Страшные, страшные дела...

Васька выпил еще, закусил и, окончательно воодушеваясь, принялся обстоятельно рассказывать о своей героической схватке с ватагой разбойников, про обнаружение им тайных складов на Магдалининском и про смерть Штольника.

— ...Первейший мой друг был,— разглагольствовал Васька.— Он ведь раньше бомбу в царя бросал, да маленько недобросил, а после, когда его арестовать захотели, у нас здесь укрылся, в штольнях жил. Большой учености человек. Можно сказать, колдун. Где что под землей лежит — насквозь видел... Да взять хотя бы этих, которых на Полуночном поубивали...

— Неужто их твой Штольник кончал? — замирая в сладком испуге, пролепетала Василиса.

— Не, убивать—то, конечно, не убивал, а руку приложил, это уж точно,— загадочно изрек Купецкий Сын и развернул перед своими слушателями потрясающую картину того, как Штольник наслал затмение на коварного Чихамо, отчего тот поубивал сообщников, а после чудесным образом подменил золото свинцовой дробью. Васька кое—что выудил из обмолвок казаков Жухлицкого, кое—что подслушал вчера утром из разговора Зверева с Турлаем и вот теперь, на ходу состряпав из всего этого вполне связный рассказ, вдохновенно излагал его Кушаковым.

— Подумать только — три пуда золота! — восклицала Василиса.— Где ж оно теперь?

— Там, где нужно,— туманно отвечивал Купецкий Сын, помня строгий наказ Турлая держать язык за зубами, и принялся живописать свои приключения на драге, а затем с многосмысленными намеками и недомолвками заговорил о гибели Жухлицкого. Подирающий по коже рассказ он завершил словами: — Так что, дорогие хозяева, давайте теперь помянем моего убиенного друга Аркадия Борисовича. Пусть земля ему будет пухом, а пуще того — вроде бы как сплошь золотым песочком!..

«Убиенного друга» помянули крепко. Васька, расчувствовавшись, порывался взять винтовку и идти в тайгу искать убийц. Пришлось Василисе от греха подальше унести ее в сени.

На другое утро, когда Купецкий Сын еще спал, за ним прибежал дед Савка и объявил, что его кличет к себе Сашенька.

Васька был плох, и, чтобы сделать его способным к передвижению, Василиса освежила его разламывающуюся головушку несколькими ковшами холодной воды и, само собой, поднесла лечебный стаканчик.

У ворот Купецкого Сына встретила Пафнутьевна и тотчас провела в сторожку. Там ждала Сашенька. Была она непривычно затуманенная, бледная, с синью под глазами. Видно, не спала ночь.

Купецкого Сына усадили за стол, и Пафнутьевна, жалостливо причитая, взялась потчевать его разными вкусными вещами. В другое время Ваську от подобной благодати не оттащить бы за уши, но сегодня ему, мучимому похмельем, пищу даже на дух не надо было.

Сашенька сидела напротив, молчала и только улыбалась, печально и ласково. У Васьки отчего-то вдруг защемило сердце. Он отодвинул недопитую чашку и, уставясь в сторону, буркнул:

— Что надо-то?

— Васенька, — она как-то виновато глянула ему в глаза. — Кого это вы вместе с Турлаем и приезжим инженером схоронили позавчера, а?

Купецкий Сын от неожиданности смешался, заерзал на стуле, начал возить ногами по полу.

— То ись кого схоронили? — переспросил он наконец. — Да так... схоронили... человека, значит, одного... Штольником звали...

— Штольником?! — ахнула Сашенька и зажала рот платочком; в округлившись глазах ее заблестели слезинки.

Васька воззрился на нее в полнейшем недоумении, туго соображал, что бы это значило.

— Друг он был мне... — растерянно пробормотал он. — Продуктом помогал... Вместе мы помаленьку муку брали на Магдалининском из шурфов... Золото еще, говорят, после него осталось... Хороший был человек, царство ему небесное...

Сашенька порывисто встала и отошла к окну. Долго стояла, глядя во двор, где казаки, топчя сапогами и пачкая кровью белоснежные стружки, оставшиеся после изготовления гроба, разделявали годовалого бычка для предстоящих поминок.

— Где похоронили? — не оборачиваясь, спросила она вдруг.

Васька, запинаясь, принялся длинно и путано объяснять, но Сашенька, перебивая его быстрыми вопросами, тотчас вызнала нужное ей и собралась уходить из сторожки. У порога остановилась, негромко спросила:

— Кто стрелял-то его?

Тут на Ваську нашло, видать, похмельное помрачение — он моргнул раз, другой, наморщил лоб и в свою очередь спросил:

— Это Аркадь Борисыча-то?

Сашенька коротко рассмеялась и непонятно к чему сказала:

— Дура я, дура... Старика кто стрелял?

— А, Штольника то ись... — Купецкий Сын с готовностью открыл было рот, но внезапно, сообразив что-то, замялся и пробормотал: — Оно ведь как сказать... темно, значит, было... не разобрался...

— Ну, бог с тобой, — вздохнула Сашенька и удалилась.

Через четверть часа она сошла во двор, одетая подорожному — в платке, теплом жакете и шароварах пониз платья. Велела оседлать коня, — чего никогда до этого не делала, — и, не сказав никому ни слова, поспешно ускакала в сторону Магдалининского. Осуждать ее за то, что вот-де в гостиной стоит гроб с телом близкого человека, можно сказать, мужа, а она, бесстыжая, помчалась бог знает куда, — осуждать ее было некому: Пафнутьевна за стряпней свету белого не видела; родственник покойного, Николай Николаевич Зоргаген, еще ночью скрылся куда-то по своим таинственным делам; казаки возились с бычком; а дед Савка с Купецким Сыном, закрывшись в сторожке, потихоньку начинали поминать хозяина.

Преждевременное поминание вышло Ваське боком. Когда настала пора идти на кладбище, он вовсю уже выписывал ногами кренделя, глуповато хихикал, и происходящее казалось ему не то чьими-то именинами, не то престольным праздником. Дед Савка, видя такое, насилу уговорил его, уложил спать, и похороны прошли без Купецкого Сына.

А между тем в Чирокане заваривались большие дела, в результате которых бедному Ваське было уготовано совершенно страшное пробуждение.

Началось все с того, что ближе к концу дня, когда солнце уже погружалось в пучину грязно-лиловых туч, в поселке появился комиссар горной милиции Кудрин с двумя милиционерами. Минуя дом Жухлицкого, где уже заканчивались поминки, он напрямик направился к Турлаю.

Председатель Таежного Совета и Зверев как раз ломали голову над тем, стоит ли пытаться как-нибудь поднять драгу, или отложить эту затею до зимы и уж тогда пустить в дело проверенный дедовский способ — «вымораживать» из реки. Очир сидел в углу и, разложив на лавке, починял сбрую.

Кудрин вошел, победительно стуча каблуками. Огляделся с ухмылкой, сбил на затылок кожаную фуражку.

— Все, приехали! — гаркнул он вместо приветствия.

Милиционеры, вошедшие следом за ним, весело переглянулись, стали многозначительно покашливать.

— А, блюститель церковного порядка! — добродушно-насмешливо хохотнул Турлай. — Быстро обернулся. А у нас, понимаешь, беда — драга утопла.

— Что драга утопла — не беда, — осклабился Кудрин. — Советская власть утопла — это да!

Турлай сначала опешил от неожиданности, затем, осмыслив сказанное, побледнел и медленно встал. И если бы Зверев не успел в последний момент перехватить тяжелую руку председателя Таежного Совета, быть бы комиссару горной милиции без нескольких зубов. Кудрин отшатнулся. Милиционеры вытаращили глаза, но, опомнившись, стали прыгающими пальцами выцарапывать из кобур револьверы. Зверев мельком взглянул на Очира — тот уже стоял с маузером в руке.

— Смир-р-на! — рявкнул Зверев, и милиционеры невольно вздрогнули, замешкались. — Оружие не трогать! — Он перевел взгляд на Кудрина. — Извольте объяснить, что означают ваши слова!

— Объяснить? — взвизгнул Кудрин и, выхватив из полевой сумки несколько газет, швырнул их на стол. — Вот читайте! Все! Низложена! Пять дней назад!

Турлай схватил газеты. Зверев придвинулся к нему и тоже впился глазами в набранные крупным шрифтом строки.

— Что? — истерично вскрикивал комиссар горной милиции. — Убедились? Нет больше Советской власти! Была, да вся вышла!..

— Заткнись! — Турлай смял в кулаке газеты. — А Москва-то стоит, собачий сын, а? И стоять будет! И мы здесь стоять будем, понял?

— Вот это правильно, — спокойно сказал Зверев. — Я полагаю, что в Золотой тайге по-прежнему имеет быть Советская власть, не так ли, Захар Тарасович?

— Ясное дело! — подтвердил Турлай и грозно посмотрел на Кудрина. — До сей поры я цацкался с тобой, а теперь объявляю в Золотой тайге военное положение, и впредь разговор у нас пойдет другой, разумеешь? Безусловное подчинение всем решениям и указаниям Совета, и — точка!

— Н-ну, хор-рошо!.. — проскрежетал Кудрин, рывком надвинул на брови фуражку и выскочил вон.

Милиционеры, пихая друг друга, поспешили за ним.

Турлай подошел к окну и проводил недобрым взглядом порысивших прочь милиционеров. Понурился, прошелся по избе, остановился перед Зверевым и спросил глухим голосом:

— Что станем делать, Платоныч? Как жить дальше?

— Думать надо, Захар Тарасович...

— Надо-то надо... — Турлай вскинул голову и испытующе посмотрел Звереву прямо в глаза. — Пока еще время есть, но скоро его не будет, чует мое сердце... Расторопно надо действовать. Может, нехорошо так говорить про покойного, но слава богу, что Жухлицкого нет. Наделал бы он нам хлопот...

— Но ведь есть же эти...

— Рабанжи с Митькой?

— Да-да, они. А также казаки.

— Это верно, только, Платоныч, на что я надеюсь? Головки у них нет, вот что хорошо. Без генерала, без погонялы они не очень-то разгуляются.

— А родственник Жухлицкого?..

— Ходок по меховым делам? Что да, то да. Мне он тоже не шибко понравился. Однако ж он, кажись, завтра в Баргузин едет, а?

— Говорил, что уезжает. С Сашенькой.

— Ну и нехай едет.

— Минуточку, а комиссар?

— Кудрин? Трус. Орать — это он еще умеет, а что до дела, то... — и Турлай пренебрежительно махнул рукой.

— Ну, что ж, — Зверев засмеялся. — Кажется, теоретически мы противника разгромили.

— Еще бы и на деле разгромить! — вздохнул Турлай. — Нам чего трэба опасаться? Первое — это хозяева и их приспешники захотят расправиться с рабочими активистами на приисках. Значит, придется организовать вооруженные рабочие дружины на местах, верно? Дальше. Поскольку победа ихняя — дело сугубо временное, и они это понимают, то могут уничтожить или вывезти с приисков ценное оборудование. Выходит, нужна охрана приискового имущества. Задачу эту возложим на рабочие дружины. Это уже второе, так? Ну, а в-третьих — по-прежнему вести борьбу с хищничеством на золотоносных площадях, не давать грабить народное добро. Вот такая получается программа на первое время. Прав я, Платоныч?

— Да вы, Захар Тарасович, стратег! — весело воскликнул Алексей. — Прямо Кутузов!

— Ну, Кутузов не Кутузов, а на фронте маленько научились кое-чему. — Турлай подмигнул, крутнул усы. — Вперед коли, назад — прикладом бей!.. Пстой, а где ж это Васька со своей винтовкой? Нынче у нас все оружие должно быть строго на счету... Очир, Васька не показывался?

— Васька совсем не заходил, — степенно отозвался тот. — Вчера ушел, больше я не видел...

— А я ведь хотел его послать по делу... Слышь, Платоныч, — обернулся Турлай.

— Да.

— Надумал я поехать по ближним приискам, насчет рабочих дружин потолковать. Как полагаешь, Платоныч?

— Вы у нас главнокомандующий, вам и решать.

— Добро. Тогда я сегодня же и еду на прииски Шушейтанова. И на другие кое-кого отправлю. Хозяйничайте тут без меня... Теперь насчет этого золотишка, — Турлай понизил голос. — Про тайник за печкой знаем только трое — ты, я да Очир. Так что душа у меня не болит, однако хату без присмотра лучше не оставлять. Сам знаешь, Платоныч, береженого бог бережет.

И Турлай принялся сноровисто собираться в дорогу.

— Когда вас ждать обратно, Захар Тарасович?

— Завтра к вечеру, поди, уж вернемся, — отвечал Турлай и, глянув в окно, пробурчал: — Куда ж все-таки подевался байстрик Васька?..

А Васька в это время спал в сторожке деда Савки, и похмельный сон его был тяжел. Ему снилось что-то несусветное — жуткие безглазые хари лезли к нему со всех сторон, и он бежал по бесконечным черным штольням, а за ним гнались с сопеньем и зубовным скрежетом, потом все исчезло, перед ним явился закрытый гроб, в котором кто-то отчаянно ворочался, стараясь вылезти, крышка гроба сотрясалась, вот-вот отлетит, и тогда... Вдруг сбоку появилась щель, и показались длинные белые пальцы... Васька отшатнулся, разинул рот... но тут что-то пребольно стукнуло его по затылку, и он проснулся.

— Чего орешь? — прозвучал чей-то громкий и злой голос.

Васька повел глазами. Было темно и невыносимо душно. Над ним возвышались громадные черные фигуры. Холодея от предчувствия чего-то ужасного; Купецкий Сын начал медленно подниматься, но его грубо схватили за шиворот и, как котенка, швырнули к выходу.

Там его подхватили, и не успел бедный Васька опомниться, как оказался в знакомой кухне, где обычно хозяйничала добрейшая Пафнутьевна. Теперь ее здесь не было, а сидели за большим столом комиссар Кудрин, Рабанжи с забинтованной головой, Митька Баргузин и еще кто-то, кого Васька не сразу разглядел при тусклом свете единственной свечи.

— Ну, здоров, репа с ушами! — ухмыльнулся Баргузин, на миг отрываясь от миски с лапшой.

За столом заржали. Действительно, Васька, изжелта-бледный, опухший от сна и выпитого, с глазами-щелочками и большими торчащими ушами, вполне заслуживал такого прозвища. Не смеялся лишь Рабанжи: всякое упоминание об ушах не могло не обозлить человека, только что лишившегося уха. Он поднялся с места и медленно, какой-то пугающе расслабленной походкой двинулся к Купецкому Сыну. Тот слабо взвизгнул и попятился, однако увесистый толчок в спину остановил его.

— Сейчас ты будешь репа без ушей, — пропищал Рабанжи и вынул нож с длинным узким лезвием.

Купецкий Сын помертвел. Ему захотелось вдруг сжаться, превратиться во что-нибудь маленькое, вроде мыши, и ушмыгнуть сквозь щели пола в темноту подполья. Между тем Рабанжи подступил почти вплотную, быстро облизнул узким серым языком серые же губы и не спеша потянулся к Васькиному уху.

— Ай-яй-яй! — завизжал Купецкий Сын, присел и обхватил голову руками.

— К чему эти ненужные зверства? — послышался вдруг веселый голос, и, встав из-за стола, к Ваське подошел не замеченный им ранее человек — худощавый, остроглазый, в полувоенной одежде. — Встань, — доброжелательно сказал он. — С тобой шутят. Пока что шутят...

Ты ведь не хочешь остаться без ушей, не так ли, милейший? И голову сохранить тоже, наверно, хочется, а? Ну вот, вижу, что хочется... Тогда вот что. Слушай меня внимательно. Не так давно ты участвовал в похоронах одного безумного старика. Ты слушаешь меня?.. Молодец. Оказывается, ты смышлен и понятлив... После смерти старика осталось некоторое количество золота. Не скажешь ли, где оно сейчас?

Васька безуспешно попытался проглотить вставший в горле комок и отрицательно мотнул головой.

— Не знаешь? — остроглазый человек удивленно поднял брови. — Выходит, зря я тебя хвалил. Ты вовсе не смышлен и не понятлив. Тебе сейчас будет очень больно. Мне жаль тебя.

Сказав так, он отошел, присел к столу и кивнул. Тотчас Ваську схватили сзади чьи-то крепкие руки, и Рабанжи, поднимая нож, опять подступил к нему. Купецкий Сын зажмурился, отдавая себя на милость судьбы. В памяти на миг возникли презрительно-суровый Турлай, произносящий: «Пустой ты человек...», и приветливый Зверев с протянутой для пожатия рукой. «Эх, в крайности проживу без ушей!» — отчаянно подумал Васька.

Внезапно за спиной хлопнула дверь, и стало тихо. Что-то вокруг неуловимо изменилось. Купецкий Сын осторожно приоткрыл один глаз, другой, увидел перед собой хромовые сапоги и поднял голову, чтобы увидеть их обладателя. Поднял. Увидел. И мгновенно шлепнулся навзничь, будто получил обухом в лоб. Над ним стоял... Аркадий Борисович Жухлицкий. Собственной персоной. Васька не мог даже кричать — он беззвучно разевал рот на манер рыбы, вытащенной из воды.

— Ну? — раздался знакомый и в то же время с какой-то замогильной глухотой голос — Где же мое золото?

— Свят... свят... с нами хр-р... сила...

Жухлицкий наклонился к нему. В пронзительных глазах его Купецкий Сын узрел бесовские зеленые огоньки, и показалось ему, будто услышал он сладковатый трупный запах.

— Это... это... Турлай увез к себе... — прохрипел обезумевший Васька, и в тот же миг неудержимая икота напала на него.

ГЛАВА 20

В ту «предсмертную» свою ночь Аркадий Борисович вышел от Сашеньки с окончательно оформившимся решением. Быстро и бесшумно прошел в кабинет, с усмешкой глянул на Бурундука.

— Согрелся? И, однако, не ехать же тебе в мокрой одежде. Что же делать—то?..— Он задумчиво покачался с пятки на носок и с носка на пятку.— Ладно, сделаем вот что...

Жухлицкий открыл шкаф, где хранилась одежда, и начал поочередно выбрасывать на пол части своего дорожного облачения — брюки, теплую нижнюю рубашку, куртку и прочее, вплоть до носков и портянок.

— Переодевайся, да побыстрей! — приказал он и торопливо вышел из кабинета.

Минут через десять, когда он вернулся, успев переодеться для дороги, Бурундук, сопя, натягивал сапоги.

— Не налазят? — озабоченно спросил Жухлицкий.

— Маленько жмут,— поморщился Бурундук, встал и потопал ногами.

— Тише ты! — шикнул Аркадий Борисович.— Не в конюшне.

— Куда хоть едем—то, Аркадьрисыч?

— В Баргузин. Да положи—ка это себе в карман. Для сохранности. Пстой, дай лучше я сам.

И Аркадий Борисович вложил в надежно застегивающийся карман надетой на Бурундука куртки бумагу, адресованную Центросибири.

Спустя четверть часа они бесшумно вывели коней через заднюю калитку, вскочили в седла и поскакали прочь от спящего в непроницаемой ночи Чирокана.

Незадолго до рассвета, преодолев длинейший тягун, они поднялись на пустынное плоскогорье, каменистое, местами заболоченное, утыканное чахлыми кривыми деревцами. Невидимый туман, неся промозглую сырость, волнами катился через плато.

Аркадий Борисович, чуть поотстав от спутника, глянул на небо. Близость рассвета уже чувствовалась. Небо посветлело, потускнели звезды, помаргивающие сонно и равнодушно. Не один раз Жухлицкий проезжал через эту обширную, вознесенную к облакам равнину, ощущал, не мог не ощущать ее болезненную унылость, но вот эта ночная, предрассветная омертвелость всего окружающего была для него внове. Все здесь в этот час угнетало душу — и низко стелющийся сырой туман, и редкие полумертвые деревца, и неживое чавканье под копытами, и даже звезды — до того чуждые, до того далекие, что поневоле становилось ясно, почему обращают к ним свои морды воюющие волки и почему столь безнадежно тосклив их вой.

Жухлицкий настороженно огляделся, хотя зряд ли кого могло занести сюда в такой час. Шагов на десять впереди мерно, в такт ровному бегу коня, покачивалась широкая темная спина Бурундука. То и дело с лязгом ударялись о камень подковы. Словно досадуя на холодный сырой туман, пофыркивали кони.

Постепенно Аркадий Борисович поджимался к Бурундуку. Когда до него осталось шага три, Жухлицкий вытянул из—за пазухи нагревшийся браунинг, большим пальцем сдвинул кнопку предохранителя и, тщательно прицелившись, вогнал ему пулю под левую лопатку. Лошадь Бурундука подхватила, и сам он начал грузно заваливаться набок, но Жухлицкий был начеку.

Привызвав лошадей к росшему возле тропы дереву, Аркадий Борисович подтащил труп и, стараясь не запачкаться в крови, переложил в его карманы свои бумаги, кое—какую мелочь, браунинг. После нескольких неудачных попыток Жухлицкому удалось накрепко засунуть ногу Бурундука в стремя. Теперь оставалось только проверить и подтянуть подпруги, вскочить в седло.

...Он галопом гнал впереди себя волокущую труп лошадь, стараясь выбирать наиболее каменистые места, и не мог никак отделаться от ощущения нереальности происходящего. Как и почему случилось так, что он, миллионер, бывший студент Марбургского университета, скачет, словно тать, по этой серой выморочной равнине, едва проступающей в

свете занимающегося рассвета, а впереди него, испуганно храпя, несется лошадь, у ног которой волочится труп, дергается, корчится, словно от невыносимой боли, и бьется о землю разможенной головой, оставляя на острых камнях, осклизлых мхах, сухих стеблях горного кустарника, на выступах корней клочки волос, кожи, ошметки мозга и капли крови? У кого, в чьем воспаленном воображении родилась эта картина, достойная одного из кругов Дантова ада в изображении Густава Доре, и не черти ли кривляются за теми вон кустами, не перепончатые ли крылья нетопырей веют ему в лицо вместо встречного ветра, не серный ли дым преисподней стелется вокруг вместо тумана?..

Аркадий Борисович изо всех сил натянул поводья. Лошадь стала. Он вытер дрожащей рукой лоб, покрытый ледяным потом, помедлил и осмысленным взглядом глянул окрест. Причудливо и беспрестанно меня очертания, ядовитым испарением исчезал с равнины туман. Уродливыми фигурами там и сям застыли корявые изломанные деревья; кусты, словно сбившиеся в кучу бесы, чернели настороженно и враждебно. Далеко впереди, по широкой дуге забирая влево, к тропе на Чирокан, уходила на рысях лошадь, утаскивающая обезображенный труп...

Задуманное совершилось. Для всего Чирокана, для всей Золотой тайги Жухлицкий теперь мертв. Никто не поскачет спешно в Баргузин, чтобы обвинить его в преступлении против республики, и не будет в ближайшие дни наложен арест на его банковские счета. И Сашенька беспрепятственно уедет теперь из Чирокана, чтобы навсегда соединиться с ним за пределами Золотой тайги...

Да, все сделано, все совершилось. Но ночь не уходила. Она еще жила, хоть и обратилась в серый пепел рассвета... Боже, когда же ты кончишься, ночь преступления, ночь взавражденней для одного и ложной для другого смерти? Или день наступающий и все другие грядущие дни не для него теперь? Но нет — там, далеко за восточным краем неба, что-то наконец прорвалось, и вымахнуло оттуда сияющее крыло нового дня. Вымахнуть — то вымахнуло, однако было оно, крыло это, ослепительно алого цвета — цвета знамени трижды проклятой босяцкой республики...

ГЛАВА 21

Чуткий, как рысь, Очир почуял неладное сквозь сон. Открыл глаза, прислушался. Так и есть — под стеной легонько прошуршали шаги. В темном окне, выходящем на улицу, возникла смутная тень чьей-то головы, чуть помедлила и исчезла.

«Наверно, Васька», — подумал Очир, начинавший свыкаться с ночными шастаньями Купецкого Сына. Однако шаги, чуть спустя послышавшиеся уже со двора, принадлежали нескольким людям, которые ступали крайне осторожно, и это заставило Очира сразу обеспокоиться за лошадей. Он бесшумно соскользнул с лавки и сбоку, вплотную прижавшись к стене, выглянул в окно. Было слишком темно, чтобы увидеть происходящее во дворе, однако кое-что Очир заметил. У крыльца, сбившись в черную кучу, стояло несколько человек. Потом от них отделились две тени и медленно, явно стараясь не шуметь, стали подниматься по ступенькам.

Сжимая в руке маузер, Очир на цыпочках подбежал к Звереву и тронул его за плечо.

— На улице много людей стоит, — зашептал он. — Пришли, как воры. Наверно, плохие люди...

Между тем уже стучали — спокойно, не тихо и не громко.

— Что надо? — спросил Очир, приоткрыв дверь в сени. — Почему ночью ходишь?

— Отворяй, чего боишься, — на крыльце добродушно хохотнули. — Председатель где? Дело к нему.

— Хозяин уехал.

— Ну, все одно отворяй — переночевать надо.

— Х озяин нет, ничего не знаю.

— Не валяй дурака! Друг я Турлаю, понимаешь? Друг!..

— Не надо кричать,— Очир тянул волынку.— Ты будешь кричать, я буду кричать — ссора будет. Нехорошо!

— Да ты изгаляешься, что ли! — разозлились за дверью.— Отворяй, не то дверь вышибу!

— Я буду мало-мало стрелять,— самым мирным тоном предупредил Очир.— Ты плохой друг. Хороший друг не ходит, как вор. Уходи!

На крыльце помедлили, затем в дверь с силой шибанули чем-то тяжелым. Очир выстрелил — кто-то вскрикнул, выругался, и тотчас загрели ответные выстрелы.

Очир быстро захлопнул дверь, ведущую в сени, и запер ее на крюк. Оглянулся. У дальней стены шевельнулся невидимый Зверев.

— Осторожно, Очир, — сказал он.— Будут стрелять по окнам.

Как бы в подтверждение его слов, со двора и с улицы бегло ударили по окнам — судя по звуку, из револьверов и винтовок. Зазвенели разбитые стекла. Взвизгнули, рикошета, пули. Очир бросился на пол. Зверев, чуть замешкавшись, тоже лег под стеной, держа в поле зрения окно, выходящее во двор. В сенях что-то загрохотало, и одновременно за стеной, где жили многодетные Карпухины, поднялся разноголосый детский рев. Зверев вспомнил, что сам Карпухин уехал с Турлаем на прииски Шушейтанова, и, стало быть, с детьми сейчас одна мать. «Не выскочил бы кто из них с испугу прямо под шальную пулю»,— со страхом подумал Алексей.

— Гражданин Зверев, благоразумнее сдаться! — донеслось из-за разбитых окон.— В этом случае гарантирую жизнь.

— Что вам угодно? — помедлив, крикнул Алексей. — Нам угодно немедленно произвести в доме обыск!

— Отложите вашу затею до утра!

На некоторое время наступило затишье, если не считать того, что за стеной по-прежнему голосили дети.

Внезапно в сенях послышались шаги, дверь с силой рванули, а затем на нее обрушились хрусткие удары. Алексей поднял винтовку и два раза выстрелил в дверь. Удары тотчас прекратились, послышались невнятные голоса, и в сенях стало тихо. По окнам тоже больше не стреляли. Видимо, нападавшие совещались.

Постепенно положение стало представляться Звереву не таким ужасным, как в первые минуты. В окна, небольшие и расположенные довольно высоко от земли, вряд ли рискнут лезть. От попытки взломать дверь ночные посетители, должно быть, отказались, убоявшись выстрелов изнутри. Зверев почти успокоился. Тревожил только крик за стеной.

— Очир!— позвал Алексей вполголоса.— До утра продержимся?

— Мало-мало будем держаться,— откликнулся тот и вздохнул.— Худо маленько — курить нельзя.

— Да, закурить бы не мешало,— согласился Зверев.

— Гражданин инженер! — крикнул со двора прежний голос.— Сожалею, но до утра мы ждать не можем. Еще раз предлагаю сложить оружие на почетных условиях. Говорю как представитель власти!

— Какой еще власти? — поинтересовался Алексей.

— Временного правительства автономной Сибири!

И тут Зверев внезапно разозлился. Вся эта история начинала отдавать наглым паясничаньем: бандитское нападение среди ночи, и вдруг — «представитель власти»! Впервые Алексей пожалел, что так и не научился выражаться столь же крепко, как старые уральские рудокопы или сибирские приисковые варнаки. Сейчас это было бы весьма кстати.

— Ну, что ж вы молчите?

Алексей, приподнявшись, выстрелил из пистолета в направлении голоса.

— Это и есть ваш ответ? — насмешливо осведомился представитель «Временного правительства».— Тогда слушайте! Вы будете сожжены вместе с лачугой!

В сенях снова раздались торопливые шаги, загremело, покатилося ведро, и вскоре откуда-то просочился запах дыма. На потолке и на стенах замигали пока еще слабые сполохи.

Зверев вскочил, прижимаясь спиной к стене, подобрался к выходящему во двор окну и осторожно глянул наружу. Сенная дверь была распахнута, и из нее на крыльцо и во двор падал багровый трепещущий свет. Зверев вспомнил, что в сенях сложены дрова, различная рухлядь. Все это, очевидно, и горело сейчас. Алексей высунулся больше, чем следовало, мигающие блики, начинающие трогать оконные переплеты, скользнули по лицу, и сейчас же грянул выстрел — пуля свистнула возле самого уха. Алексей отшатнулся. За стеной снова взметнулася приутихший плач. «Черт, что же она медлит? — мелькнула мысль. — Надо выбираться, тогда перестанут стрелять, и соседка с детьми покинет горящую избу».

Огонь разгорался. Сполохи плясали уже по всей избе, и Алексей различал теперь Очира, стоявшего в такой же позе, что и он, только возле окна, выходящего на улицу. Алексей пригнулся, перебежал к нему и стал у стены, по другую сторону окна, осторожно выглянул на улицу. Там было темно — сюда свет пока не доставал.

— Очир, пока не поздно, надо уходить, — он кивком указал наружу.

— Давай, — согласился Очир.

Алексей глубоко вздохнул, примерился и ударил прикладом в переплет окна. Звякнули остатки стекол. В тот же миг по окну хлестнуло сразу несколько выстрелов.

— Напрасно стараетесь! — выкрикнул неугомонный представитель «Временного правительства». — Оба окна под прицелом!

Алексей надвинул поглубже фуражку, пружинисто присел и головой вперед кинулся в разбитое окно...

* * *

— ...Убили, что ли?.. Дурбалаи свиномордые... валенки сибирские... — Гнусавый, чутьчку врастяжку голос назойливо торкался в сознание, словно бьющаяся в стекло жирная зеленая муха. — Тут голыми руками брать, а они прикладом...

Алексей попробовал открыть глаза, чтобы увидеть говорящего, но тут же охнул от слепящей головной боли и поспешно зажмурился.

— А, ожил! — весело сказал голос — Добро пожаловать в мир суровой реальности!

Алексей приоткрыл один глаз, помедлив, открыл другой, и упомянутый «мир суровой реальности» сразу же заставил его забыть про большую голову — прямо перед ним, по ту сторону большого стола, сидел Аркадий Борисович Жухлицкий. Покойник кушал что-то вроде бифштекса. Встретившись взглядом с Алексеем, он приветливо улыбнулся и поднял рюмку.

— Ваше здоровье!

«Какой, однако же, нелепый сон», — подумал Зверев. Тут сзади выступил человек, в котором он признал, хоть и не сразу, родственника Жухлицкого. «Николай Николаевич Зоргаген, — вспомнил он, — Ходок по меховым делам». Меховщик заговорил, и оказалось, что это ему-то и принадлежал давешний нудный голос.

— Вы удивлены? А между тем...

— А между тем, — встрял «покойный», — слухи о моей смерти оказались немного преувеличенными. Так, кажется, говорят англичане или кто там еще...

Алексей с трудом приходил в себя. В окна сочился серенький рассвет. Стало быть, ночь уже позади. Кое-как из обрывочных воспоминаний — выстрелов, сполохов в темной комнате, своего броска в окно и последовавшего сразу вслед за этим смутного ощущения взорвавшейся в голове бомбы — Зверев восстанавливал случившееся.

— Где... Очир? — еле разлепив губы, прохрипел он.

— Спутник—то ваш? О, не беспокойтесь, он жив, но, честно говоря, заслуживал пули — двоих ранил, и вообще...

— Дом сгорел? Там были дети... как дети?

— Дом стоит на месте. Только сени сгорели. А дети целы,— ходок по меховым делам обогнул стол и уселся рядом с Жухлицким.— Ваш альтруизм делает вам честь, но не пора ли подумать и о себе.

— Кстати, вы и есть... представитель Временного правительства... автономной Сибири?

— К вашим услугам,— Николай Николаевич Зоргаген с готовностью наклонил голову.— И как таковой могу предложить вам сотрудничество.

Алексей не ответил. Голова разламывалась на куски. Пытаясь хоть немного унять боль, он сжал ладонями виски и замер. Подумалось, что хорошо бы сейчас положить на затылок холодную мокрую тряпку.

— Страдаете? Может, водочки? — сочувственно предложил Аркадий Борисович и, не дождавшись ответа, вздохнул: — Вольному воля... Вопросик у меня к вам, Алексей Платонович. Не скажете ли вы, куда дел Турлай те три пуда золота?

— Экий вы... постоянный в своих привязанностях,— Алексей через силу засмеялся.— Едва изволили встать из гроба, как опять за свое: золото, золото, золото...

— Понимаю ваш сарказм. Для вас, горного инженера, золото всего лишь некое сырье, химический элемент, а для меня, презренного буржуя, это, разумеется, идол, предмет алчбы. Пусть так. Согласен, иронизируйте на здоровье. Но примите во внимание два пунктика. Первое — это золотце похищено у меня. Трагедия на Полуночно—Спорном получилась именно из-за него. А второе — я намерен употребить его на патриотические нужды.

— Вот именно,— подхватил родственник.— Я готов это подтвердить.

— Пустой разговор, господа,— Алексей оперся затылком о прохладную стену и устало закрыл глаза.— Золота вы не получите. После Полуночного его цена возросла на одиннадцать человеческих жизней. Теперь оно уже не просто золото, а некий символ, памятник, если хотите...

— Желаете стать двенадцатым? — вкрадчиво промурлыкал меховщик.— Не советую. Вашего самопожертвования никто не оценит. Его попросту не поймут—с, к тому же умирать вы будете трудно, очень трудно. Это я вам обещаю.

— Ну, ей—богу, Алексей Платонович, неужели вы жизнь свою молодую цените дешевле этих, тьфу, трех пудов золота? Ну, будьте же благоразумны, черт побери! — почти умоляюще воскликнул Жухлицкий.

— При чем тут золото! — поморщился Зверев.— Честь дорога, честь, господин Жухлицкий.

— Вы дворянин? — неожиданно спросил Зоргаген. Зверев насторожился.

— Какое это имеет значение?

— О чести вдруг заговорили,— Зоргаген усмехнулся.— Впрочем, все это вздор!.. Вы ведь не отрицаете, что золото где—то у вас?.. Можете не отвечать, и так ясно.

А посему открываю карты. Упомянутое золото Аркадий Борисович намерен передать нам, Временному правительству автономной Сибири, как свой вклад в дело борьбы с большевизмом. И коль скоро вопрос поставлен так, я вынужден быть беспощадным в выборе средств. Заметьте это. Что я сейчас делаю? У нас есть еще двое, причастные к той же истории с золотом,— ваш спутник, а второй...

— Васька,— подсказал Жухлицкий.— Купецкий Сын.

— Благодарю вас,— улыбнулся Зоргаген и снова повернулся к Звереву.— Этих двоих я пристрелю собственноручно. На ваших глазах. А вас мы отпустим. Вот и все. Спрашивается: как вы будете жить дальше, отчетливо сознавая в душе, что могли бы спасти их, но не сделали этого?

— Черт побери! — пробормотал ошеломленный Зверев.— Вы дьявол во плоти!

— Война, господин Зверев, война! — Меховщик закурил и с видимым удовольствием пустил витиеватую струйку дыма.— Ну—с, как вам цена?

— Если я еще питал какие-то иллюзии в отношении подобных вам господ, то теперь, кажется, окончательно от них излечился.

— Значит, согласны? — быстро спросил Жухлицкий.

— А что ж мне остается делать? — буркнул Зверев.

— Не огорчайтесь — сей добрый поступок на том свете вам непременно зачтется. Итак, — Зоргаген оживленно потер руки, — где же он хранится, презренный металл?

— Позвольте, позвольте! — запротестовал Зверев. — Сначала вы должны отпустить этих людей.

— Э, нет! — Зоргаген, смеясь, погрозил пальцем. — Вы забываете, условия диктуем все-таки мы, а не наоборот. И вообще, как говорят наши друзья американцы, в бога мы верим, а все остальное — наличными.

— Алексей Платонович, — вмешался Жухлицкий, — нам вовсе не нужны ни вы, ни ваши люди. Как только мы получим золото, сразу же отпустим вас на все четыре стороны.

Зверев искоса глянул на него.

— Для недавнего покойника вы удивительно рассудительны. Особенно учитывая то, что не далее как позавчера были без головы.

Зоргаген расхохотался. Кисло улыбнулся и Жухлицкий.

— Кстати, Аркадий Борисович, кого это вы подсунули вместо себя? Вы же убийца, господин Жухлицкий.

— Ну, хватит болтать! — Меховщик стал серьезен. — Или вы раздумали?

За окнами уже рассвело. Где-то неподалеку свежим утренним голосом прокукарекал петух. Замычала корова. Лениво и добродушно брехнул пес. От этих будничных мирных звуков как бы некая пелена спала с глаз, и происходящее здесь, в полутемной прокуренной комнате, предстало во всей своей злой нелепости: вчерашний покойник, меховщик с повадками палача, и он, Алексей Зверев, обменивающий человеческие жизни на золото. Абсурд, абсурд!..

Выслушав объяснения Зверева относительно тайника в избе Турлая, Жухлицкий позвал казаков и велел отвести его в подвал.

— Не падайте духом, Алексей Платонович, — дружески напутствовал он. — Как только золото будет здесь, вас сразу же освободят. Захотите — даже вместе позавтракаем.

— Меня приглашали на ваши поминки, но я тогда отказался. В следующий раз пойду на них с большим удовольствием.

И Алексей, отворив ударом ноги дверь, вышел из комнаты.

Его впихнули в клетушку, где уже сидели Дандей и Васька.

— Алексей Платонович! — ахнул Купецкий Сын. — Госп... гражданин окружной инженер... Вас-то как сюда? Да как они насмелились-то, как рука поднялась!

— Дворцовый переворот, власть переменилась, Василий Галактионович, — бодро ответил Зверев, поздоровался с Дандеем и снова повернулся к Ваське: — А где Очир?

Васька недоуменно заморгал и оглянулся, словно хотел увидеть где-то здесь Очира.

— Так это... того... не знаю я.

— Разве его тут не было?

— Не... — Васька поскреб затылок, и вдруг его осенило: — Значит, это вы ночью стреляли?

— Стрелял, — Зверев махнул рукой. — И я стрелял, и другие стреляли...

— Дела-а... — Васька покрутил головой. — Выходит, поймали вас?

— Выходит, поймали.

— Очир с вами был?

— Со мной.

— Ага, ага, — Купецкий Сын посоображал немного, присвистнул. — Эге, так он ушел!

— Кто ушел?

— Так Очир же! Ночью, слышу, казаки во дворе ругаются. Ушел, говорят, косоглазый черт. Пострелял всех направо-налево и ушел...

— Вот как? — Зверев возбужденно прошелся по тесной клетушке.— Стало быть, они меня бессовестно надули...

— Кто, Алексей Платонович? — неуверенно спросил Васька.

Зверев с минуту смотрел на него, словно пытаюсь что-то вспомнить, потом рассмеялся.

— Скажите, Василий Галактионович, похож я на миллионера?

— Н-не знаю... может, и похож...

— Разумеется, похож! Ведь я только что выложил за спасение одной горемычной души около полутора миллионов рублей. Это по дореволюционному курсу. Ну, а по нынешним ценам, конечно, еще больше.

— Х-хосподи! — тихо охнул Васька.— Полтора миллиона!.. Это... это... если даже червонцами посчитать, и то, поди, десять больших мешков денег получится, а?.. И за спасение души... Какая ж она должна быть, душа-то эта, а?

— Обыкновенная человеческая душа, Василий Галактионович. Самая обыкновенная. Умеющая веселиться, страдать, лукавить, обманываться... Словом, обыкновенная и... неповторимая... Кстати, вы не помните, за какую цену был, так сказать, продан Иисус Христос?

— Э-э... за тридцать этих самых... серебряных.

— Ай-яй-яй, подумать только — всего за тридцать! — Зверев сумрачно усмехнулся.— Как страшно все подорожало...

Васька, не найдя что ответить, лишь хихикнул и стал зябко кутаться в многострадальную турлаевскую борчатку.

За стеной послышалось жутковатое завыванье, шорох, кто-то забормотал, словно молился горячо, иступленно, потом вдруг всхлипнул и умолк.

— Те самые... которые на Полуночном... — пояснил Васька, поймав недоуменный взгляд Зверева.

— Понятно... — Алексей посмотрел на Дандея.— Но ведь вы, кажется, к этому не причастны?

— Моя виноват нет,— глухо отозвался тот.— Моя олень ходи... Дома баба умирай...

— Да-да, я знаю... Мне Турлай говорил... — Зверев в волнении покусал губы.— Вас давно надо было отпустить домой. Мы с Турлаем говорили об этом, но... постоянно какие-то нелепые случаи... и в результате...

Он развел руками и сконфуженно умолк. Васька завозился в своем углу, шмыгнул носом и робко потянул Зверева за полу тужурки.

— Что, Василий Галактионович?

— Я тут... давно хотел спросить знающего человека, только нет такого...

— Кого — нет?

— Людей... человека знающего... и боязно опять же...

— Если только спросить, то чего ж бояться?

— Вот и я говорю... Бумаги тут у меня есть... от покойного дяди остались... По наследству они на меня вроде бы отписаны... Насчет этих самых приисков... Я ведь ради них сюда приехал... Да только закружило меня...

— Смелей, смелей, я слушаю.

— Закружило, говорю... Ось во мне, вишь, лопнула...

— Так, так...

— Дьячок был у нас в соседях, в Иркутске то ись... Он бумаги эти самые разобрал да и говорит мне — езжай, мол, Васька, в Золотую тайгу, авось там разберешься. Свет, говорит, не без добрых людей, помогут...

— Так, так... Что ж, дайте мне ваши бумаги. Я кое-что в этом понимаю — может, помогу вам.

Васька долго рылся за пазухой, сопел и бубнил под нос нехитрые ругательства. Наконец он извлек что-то похожее на грязную тряпку, но оказавшееся большим кожаным бумажником

купеческого образца. Высунув от волнения кончик языка, Васька достал пачку потрепанных бумаг и со страхом и благоговением подал их Звереву.

— Вот...

Бумаги были старые, сорокалетней давности, со штампами и печатями учреждений, ведавших сибирскими горнопромышленными делами полвека назад. Перелистав их для начала, Зверев уяснил, что речь в них идет о приисках Золотой тайги, но каких именно,— сначала не понял.

«...В лето 1856 года прииск не отведен по причине неявки доверенного к приему, и отзыва им не представлено, почему прииск должен поступить втуне лежащие...»

«...По журналу совета Главного Управления Восточной Сибири, состоявшегося 29 октября — 2 ноября 1871 года, зачислен в казну и циркуляром горного отделения от 29 сентября объявлен свободным для новых заявок на общем основании...»

— Понятно, понятно,— Зверев принялся вчитываться внимательней.

1874 год. Прииск по ключу Гулакочи отведен по заявке некоего Нарцисса Иринарховича Мясного... Ему же в лето 1875 года отведен прииск Маломальский по речке Чирокан...

Алексей, оторвавшись на миг от бумаг, прикинул, где могли стоять заявочные столбы и каков был размер всего отвода. Получалось, что прииск Маломальский — это примерно то самое место, где ныне стоит поселок Чирокан. Дело становилось любопытным, и Зверев снова углубился в документы.

1878 год. Нарцисс Иринархович Мясной передает Маломальский прииск в аренду купцу Борису Борисовичу Жухлицкому за попудную плату в 3500 рублей с каждого пуда добытого золота и одновременно продает прииск Мария–Магдалининский тому же Борису Борисовичу Жухлицкому за 25 000 рублей.

Зверев вскинул голову, спросил быстро и резко, как, бывало, у себя в Верхнеудинске, в канцелярии окружного инженера:

— Ваш дядя, Нарцисс Иринархович Мясной, когда он скончался?

— В этом... в восьмидесятом году. Как сейчас помню, моя матушка сказала на поминках...

— Подождите, об этом потом,— Зверев опять перелистал бумаги.— Больше у вас нет никаких документов?

— Не... Там еще завещание...

— Вижу. Так... так... Составлено оно на ваше имя, а опекуней до достижения вами совершеннолетия назначается ваша матушка... Все законно... Итак, вы с матушкой получали обусловленную в арендном договоре попудную плату с прииска Маломальский?

— Н–не... Помню, матушка говорила, что ей отписали, будто бы прииск этот, дядин то ись, закрылся... Золото будто бы на нем кончилось... Бумага даже какая–то была...

— Вас с матерью одурачили самым наглым, самым хамским образом! — зло сказал Зверев.— Прииск этот работается до сих пор. Мы с вами находимся сейчас как раз на нем. Нынешний Чирокан — это бывший Маломальский, запомните это! Блаженной памяти батюшка Аркадия Борисовича попросту изменил название прииска — разумеется, дал кое–кому взятки, и — концы в воду. Дело, в общем–то, шитое белыми нитками, но он, видимо, рассудил, что для бедной вдовы и этого за глаза достаточно. И он, знаете ли, оказался прав... Поздравляю вас! Во–первых, вы — именно вы! — являетесь законным владельцем Чирокана. А во–вторых, вы, очевидно, являетесь миллионером, если посчитать всю сумму попудной платы, набравшую за сорок почти лет, и... если сумеете взыскать ее с Аркадия Борисовича, — усмехнулся Зверев и, подумав, добавил: — Впрочем, революция ваши взаимные расчеты и претензии сделала недействительными.

Васька стоял как громом пораженный. Несмотря на весьма ощутимую прохладу, по его лицу катился пот. В округлившись глазах застыло то ли безумие, то ли ужас, то ли некое ниспосланное свыше блаженство.

— Не огорчайтесь и выбросьте все это из головы,— Алексей поспешил его успокоить.— Даже не свершись революция, все равно ни один суд Российской империи не решил бы дело

в вашу пользу. Миллионер Жухлицкий и вы — какая же тут могла быть тяжба? Смешно и абсурдно!

И снова, опять—таки само собой, всплыло это слово — «абсурд», и снова оно вызвало у Зверева ощущение, что все, переживаемое им,— неестественно правдоподобный кошмарный сон.

Алексей решительно тряхнул головой, прогоняя наваждение, и подал Ваське его бумаги.

— Возьмите, Василий Галактионович, и постарайтесь не думать больше об этом.

— А? — Купецкий Сын поднял обесмыслившиеся глаза, поморгал и вдруг лихорадочно засуетился, начал делать множество каких—то мелких ненужных движений, бормоча: — Бумаги... да... то ись пусть лежат, значит... Авось... Революция, говорите? Не будет, значит, теперь ничего, а? Эх, не могла она немного погодить, революция эта! А может, того... опять, значит, как при царе, а? Эх, я б тогда!..

Зверев глядел на него, жалкого и в то же время вмиг ставшего каким—то неприятным, алчно трясущимся.

— Не думайте об этом,— мягко повторил он.— Минувшее не повторяется. И прииски никогда уже не станут принадлежать кому—то одному. И миллионерам уже сыграна отходная...

— Ага... ага...— бормотал Васька, совал и все никак не мог засунуть бумаги в свой засаленный бумажник.— А вот еще... бумажка... Может, тут что—нибудь такое... Хи—хи...

Трясущимися руками он совал Звереву какой—то истрепанный донельзя, протертый на сгибах листок. Алексей нехотя взял его, развернул, пробежал глазами. Удивленно хмыкнул, прочитал еще раз и вдруг расхохотался.

— Как я мог забыть! — воскликнул он.— Это же Золотая тайга, где все возможно! Василий Галактионович, вы больше не хозяин Чирокана, и ваше производство в миллионеры отменяется. Вы развенчаны точно так же, как Жухлицкий. Оба вы в равной степени самозванцы и воры, только тому повезло больше — он свое успел урвать!..

Зверев снова стал серьезен, еще раз перечитал Васькину бумагу и вдруг обернулся к Дандею, который, лежа на куче грязного тряпья, спокойно посасывал пустую трубку.

— Дандей, вы из какого рода?

Охотник недоуменно моргнул, вынул изо рта трубку, подумал и покачал головой.

— Не понимаю...

— Ну... есть Чильчагирский род и... другие. Вы из какого?

— А! — Дандей заулыбался.— Я киндигир...

— Я так и думал! — весело заявил Зверев.— Вот бумага, сорок лет назад заверенная печатями канцелярии генерал—губернатора Восточной Сибири. Она адресована вашему дяде, Василий Галактионович, и, так сказать, на всякий случай извещает его о том, что прииски его, находящиеся в Золотой тайге по речкам Чирокан и Гулакочи, «имеют быть на землях, принадлежащих орочам Баунтовского острога Киндигирского рода». Вот так! Миллионер—то у нас, оказывается, вы, Дандей. Чирокан принадлежит вам. И тут, полагаю, революция и все ее законы окажутся на вашей стороне. Вы свой миллион, думаю, получите.— Моя не понимаю,— повторил Дандей.

— Не прикидывайся! — обиженно буркнул Васька.— Все ведь понимаешь, лешак таежный... Как же оно выходит—то?.. Не, тут, паря, что—то неладно... Ему, значит, миллион, а нам с Жухлицким кукиш с маслицем?.. Торговали, значит, кирпичом, да остались ни при чем...

Васькины миллионные претензии остались недосказанными. В подвале вдруг стало шумно, послышались голоса, смех, топот ног. Дверь тягуче закрипела, отворилась. Вошли Жухлицкий, представитель «Временного правительства» и Кудрин.

— Господин Зверев! — оживленно заговорил представитель.— Рад засвидетельствовать: вы свое обязательство исполнили в точности. Присутствуя при волнующем изъятии сего драгоценного металла...

— А я со своей стороны свидетельствую, что вы низкие лгуны! — перебил его Зверев.— Почему вы сказали, что Очир здесь?

— Ах, вот вы о чем! — засмеялся Зоргаген.— Путаница вышла, знаете ли. Да и счастье его, что сумел удрать. Ей-ей, казачки б его пристрелили.

— Полагаю, Василий Галактионович теперь свободен? — обратился Зверев к Аркадию Борисовичу.

— Какой еще Галактионович? — не понял Жухлицкий и вдруг расхохотался.— Ах, разумеется же, разумеется... «Галактионович!» Ха-ха!

Энергичным движением руки Зверев оборвал его веселье.

— Господа, у нас, кажется, была договоренность на освобождение двух человек?

— Если вы имеете в виду себя... — начал представитель «Временного правительства».

— Отнюдь! Я имею в виду вот этого человека — охотника Дандея, который содержится здесь без всяких оснований.

— Следствие по его делу еще не закончено,— вмешался комиссар милиции.— А посему я должен...

— Вздор, вздор! — бесцеремонно перебил его Жухлицкий.— Охотник может идти домой. Да и тех двоих тоже можно теперь отпустить. Эй, кто там! — крикнул он, оборачиваясь.— Выпустить сумасшедших! Пусть скорее убираются отсюда. И ты тоже! — Аркадий Борисович указал Ваське на выход.

Купецкого Сына не пришлось просить дважды. Он подхватил полы борчатки и юркнул в дверь.

— А вот что касается вас, уважаемый господин Зверев,— с иезуитской улыбочкой сказал Зоргаген,— то тут возникли некоторые дополнительные обстоятельства...

Кудрин встрепенулся, словно пес, учуявший дичь.

— Вы обвиняетесь в нижеследующем,— важно заговорил он гнусоватым голосом судейского крючка.— В злостном подстрекательстве рабочих к захвату и последующему утоплению драги, принадлежащей всеми уважаемому гражданину Жухлицкому; к захвату ряда приисков, принадлежащих Жухлицкому же, и разграблению имевшегося там имущества; а также в разбойном нападении на служащего вышеупомянутого Жухлицкого и нанесении оному увечья, каковое выразилось в отсечении левого уха...

Несмотря на серьезность своего положения, Алексей не мог удержаться от смеха.

— Послушайте, господин Жухлицкий, ведь вы же как-никак умный человек,— неужели вас устраивает подобный фарс? Аркадий Борисович лишь смиренно развел руками.

— Присовокупляю к вышеизложенному оскорбление должностного лица при исполнении таковым служебных обязанностей,— невозмутимо продолжал Кудрин.— Исходя из вышеизложенного, должен подвергнуть вас аресту с дальнейшим препровождением в город Баргузин для судебного разбирательства...

— Вот видите, господин Зверев,— Жухлицкий снова развел руками.— Предложенный мной давеча совместный завтрак не состоится, о чем весьма и весьма сожалею. Счастливо оставаться!..

— Да, Аркадий Борисович! — вспомнил вдруг Зверев.— Прииск Маломальский — такое название вам ни о чем не говорит?

— Маломальский? Экое бездарное название... — Жухлицкий наморщил лоб.— Маломальский... Кажется, когда-то слышал, но...

— А про Мясного что-нибудь слышали? Нарцисса Иринарховича Мясного?

— Вот это уже более знакомо,— Аркадий Борисович подозрительно поглядел на Зверева.— Откуда вам известна эта фамилия?

— Мне говорил Франц Давидович Ризер,— наугад сказал Зверев.

— Старый лис! — вскипел Жухлицкий.— Неужели все еще помнит? Ну, я ему когда-нибудь покажу Мясного!

И он, в сердцах споткнувшись о порог, быстро вышел из клетушки.

Кудрин подтолкнул к выходу замешкавшегося Дандея.

– Быстро, быстро! Не задерживайся!

Дандей взвалил на спину свою охотничью понягу и побрел к выходу. Проходя мимо Зверева, он остановился, дружелюбно тронул его за рукав.

– Твоя шибко хороший человек. Будешь тайга, ходи мой чум, гости ходи...

ГЛАВА 22

К худу или добру, однако получилось так, что в ту ночь членов Совета и активистов из числа старателей в поселке не оказалось. Ганскау, намеревавшийся сразу ликвидировать Таежный Совет, с группой вооруженных казаков обрыскал весь Чирокан, но никого из членов Совета не смог схватить. Все они накануне вечером разъехались по окрестным приискам и небольшим артелям, занимавшимся полудиким кустарным старательством.

Когда Очир, чуть замешкавшись, выпрыгнул вслед за Зверевым из окна, на земле барахтался темный клубок тел. Где тут кто, понять было совершенно невозможно. Рычанье да неразборчивая ругань — вот и все, что уловил Очир. Он замер в нерешительности, но тут слева грянул выстрел, пуля цвиркнула возле самой головы. Очир мгновенно ответил в направлении блеснувшей вспышки и, должно быть, попал — там болезненно вскрикнули. В этот момент справа метнулась тень, и сильный удар по руке выбил маузер. Тотчас сзади навалился кто-то массивный, сопящий, схватил железными пальцами за горло и начал душить. Уже теряя сознание, Очир успел выдернуть нож и наугад ударил назад, угодив во что-то мягкое. Душивший судорожно всхлипнул, ослабил хватку. Очир вырвался и, с трудом глотая воздух помятым горлом, бросился за угол дома, оттуда зигзагами побежал к обрыву, не глядя, вслепую, скатился в заросли прибрежного ивняка. Вслед ему, выплевывая короткие языки огня, бухали винтовки казаков, тьякал пистолет Ганскау.

Задышавшись, Очир пробежал по зарослям пару сотен саженей и почувствовал себя в относительной безопасности. Остановился, прислушался. Его не преследовали. Пламя, трепетавшее над береговым обрывом, становилось все меньше, тускнело и наконец исчезло совсем. Видимо, пожар потушили. Очир присел на подвернувшуюся дряхлую колодину и задумался. Идти в Чирокан не к кому. Васька, единственный его знакомый в поселке, кроме Турлая, не имел собственного угла, да и неизвестно, где он сейчас скрывался. Если Зверев жив — а Очир от всей души надеялся, что это так, — надо его выручать, и помочь в этом мог только Турлай, но председатель Таежного Совета обещал приехать лишь к вечеру... Прикинув так и этак, он решил укрыться на Магдалининском, чтобы дожидаться там тех, кого Турлай послал вчера по приискам.

До Мария-Магдалининского Очир добрался на восходе солнца. Надежно схоронившись в кустах, он приготовился к долгому ожиданию. Из своего укрытия он видел две тропы — одна, уже знакомая ему, уходила вверх по Гулакочи, а другая, более широкая и торная, шла из верховьев Чирокана, по левому его берегу. Обе они сходились где-то за развалинами приисковых строений, чтобы затем напрямик устремиться к захиревшей столице Золотой тайги.

Время тянулось медленно и нудно, но Очир умел ждать, и терпенье его было вознаграждено — еще до полудня на тропе, тянущейся вдоль Чирокана, появилось трое верховых. Впереди ехал Кожов, которого Очир узнал издалека.

Когда они подъехали достаточно близко, Очир негромко их окликнул и помахал рукой, подзывая к себе. Кожов мгновенно сдернул с плеча винтовку, оглянулся по сторонам и лишь после этого, да и то с большим недоверием, свернул с тропы. Его осторожность Очиру понравилась. Сам скупой на слова, он предпочитал иметь дело с людьми, подобными себе, а именно таким и показался ему вчера сумрачный Кожов.

Выслушав рассказ Очира, состоящий буквально из десяти слов, Кожов задал пару коротких вопросов, на которые получил столь же односложные ответы, и больше ни о чем не спрашивал. Велев спутникам и Очиру оставаться на месте, он немедля отправился в Чирокан разузнать, что там происходит.

Вернулся Кожов с Васькой и Дандеем. Купецкий Сын был при оружии — забрал винтовку, спрятанную Василисой позавчера вечером.

Кожов выглядел мрачнее обычного. В поселке он наведалься в несколько домов, поговорил кое с кем, издали понаблюдал за домом Жухлицкого, казавшимся сегодня особенно замкнутым и настороженным.

Внешне в Чирокане ничего не изменилось, хотя Кудрин еще с утра собрал, кого мог, возле бывшей приисковой конторы и объявил, что по всей Сибири Советской власти уже нет и не будет впредь, а посему не должно ее быть и в Золотой тайге. Люди молча выслушали и молча же разошлись по домам. На том как будто бы и закончился «правительственный переворот» в Чирокане. Но воцарившаяся в нем тишина была тишиной ожидания. Внизу, в беспорядочно разбросанных по-над берегом избенках, ждали возвращения разъехавшихся по приискам мужиков, вооруженных выданными Турлаем боевыми винтовками; кое-кто из оказавшихся дома старателей на всякий случай готовил свои старые охотничьи ружьишки. Наверху, на взлобке, где расположилась усадьба Жухлицкого, видимо, тоже выжидали. Там происходило что-то скрытое, малозаметное постороннему глазу.

Из многословного и довольно-таки бестолкового Васькиного рассказа о пережитом за минувшие сутки Кожов уяснил, что, во-первых, Жухлицкий, как ни странно, жив, что ему стало известно о хранящемся у Турлая золоте покойного Штольника, и, во-вторых, нападение на домишко председателя и захват Зверева, скорее всего, связаны именно с этим золотом.

Несмотря на наружную сдержанность, Кожов в душе был склонен к бесшабашному удалству, почему в свое время и потянуло его к анархистам. Сейчас он обдумывал план лихого налета на дом Жухлицкого с целью освобождения инженера. Кожов знал, что у Аркадия Борисовича под рукой, считая и Кудрина с его милиционерами, больше десяти хорошо вооруженных молодцов, тогда как у него на пятерых две винтовки и берданка. Однако такое соотношение сил не смущало Кожова. «Пальнем издали по окнам, пообещаем красного петуха подпустить — куда Аркаше деваться? — рассуждал он про себя. — А нет — к вечеру Турлай подъедет, тогда что-нибудь придумаем». Поделится своими мыслями с товарищами. Васька, хотя затея ему не понравилась, сомнения высказывать не стал — без всяких на то причин он почему-то всегда побаивался сумрачного Кожова. Старатели, спутники Кожова, немного подумали и согласились с ним, заметив, правда, что «дело тут такое — всяко может получиться». Очир же поддержал его с готовностью — в случившемся со Зверевым он чувствовал свою вину и, чтобы искупить ее, был готов на все. Дандей, которого Кожов из-за болезненного его вида и нехватки оружия не собирался брать с собой, вдруг тоже вызвался идти. «Мало-мало помогать твоя», — сказал он.

— Ну, шагом марш, инвалидная команда! — хмуро пошутил Кожов, и они, шесть человек при трех лошадях, бодро зашагали к Чирокану...

Время было такое, когда добрые люди заканчивали обедать. Но в доме Жухлицкого в этот день никто про обед не вспомнил — шла предотъездная суета. Сам Аркадий Борисович, запершись в кабинете, сжигал бумаги в печке-голландке.

Решение навсегда покинуть Россию, принятое им в тот вечер, когда Бурундук затопил драгу, было бесповоротным. Его не изменило и даже не поколебало привезенное Кудриным известие об оставлении большевиками Верхнеудинска. Скорее наоборот. Теперь вывоз за границу золота и ценных бумаг значительно облегчится, и, не питая никаких иллюзий относительно возвращения былого, Жухлицкий торопился воспользоваться благоприятным моментом.

Аркадий Борисович был неплохо осведомлен о прошлом своих приисков, однако в смене причастных к ним лиц — беглых каторжников, графа Бенкендорфа, смиренного чиновника Лапина, гуляки Мясного, собственного папаши-ростовщика и, наконец, самого себя — какой-либо закономерности не заметил. Но то, что на глазах у него перевернута или переворачивается очередная страница жизни Золотой тайги, он интуитивно чувствовал. И даже не будучи философом, он твердо знал, что дважды в одну и ту же реку — тем паче

золотоносную — никому еще не удавалось войти, и баснословные времена, когда погонная сажень буквально пропитанной драгоценным металлом земли стоила пятнадцать копеек, уже не повторятся. Да и длившееся почти восемьдесят лет потрошение Золотой тайги не могло пройти бесследно.

Аркадий Борисович бросил в жадно распахнутую огненную пасть ненужные и, пожалуй, даже опасные теперь золотозаписные книги. Прошнурованные, в добротных переплетах, они тяжело упали в пламя — печь выпыхнула искры, дым и пепел.

Жухлицкий поморщился, поднявшись, распахнул форточку и невольно задержался у окна. Как бы свежим взглядом окинул открывающийся отсюда вид. Безлюдный, можно сказать, вымирающий поселок. Пустынная река. Унылая, до зевоты бесконечная тайга... Все здесь безобразно перекопано—перепахано лопатами и кайлами, с алчбой перемыто в старательских лотках, на бутарах и вашгердах, выжато, высосано и стало теперь скучный, жалким и ненужным, как очищенный кошелек... И разве что только вот это небо, высокое, северное, в знобящей голубизне которого есть что-то от льда, заставляет ощущать себя в глубине души тем, кто ты и есть в действительности, — коварным и подленько расчетливым существом, беззастенчиво изгадившим и обобравшим чей-то доверчиво распахнутый дом, а не смелым первопроходцем, умным дельцом, зачинателем освоения диких мест. «Плевать,— пробормотал Аркадий Борисович.— Плевать и наплевать. Будем мудры, как перелетные птицы... Кончается злато—обильное лето, и пора улетать в теплые края. Унесем в клюве свои миллионы и забудем об этой варварской стране...» Тут взгляд Жухлицкого упал на то место, где над водой возвышался кончик трубы затонувшей драги, и с удивлением обнаружил нечто, не замеченное прежде. От трубы поверх воды тянулся длинный красный лоскут. Полоскаемый течением, он трепетал, точно на ветру язык пламени. «Тот самый флаг, который вывесил над драгой Турлай,— вспомнил Аркадий Борисович.— И в воде не тонет, дьявольская тряпка!..»

Резко отвернувшись от окна, он подошел к горячей печке. Надо было торопиться, и Жухлицкий далее стал действовать механически — один оценивающий взгляд, и в гудящее пламя летели листки, кипы и пачки бумаг. С этого своего безжалостно—машинного темпа он сбился лишь тогда, когда из очередного вороха обреченных документов выпал прямоугольный кусочек твердого бристольского картона с наклеенной на нем сиреневой фотокарточкой Бориса Борисовича. Золотая тисненая надпись внизу, обрамленная замысловатой виньеткой, гласила: «Фотография Л. А. Еселевича, Чита, Аргунская улица, № 17, против Нового Собора, телеф. № 407. Негативы сохраняются». Жухлицкий—старший был в наглухо застегнутом сюртуке, сидел в кресле прямой, строгий, одна его рука покоилась на небольшом круглом столике с субтильными ножками. На столике, возле руки Бориса Борисовича, лежал раскрытый томик — едва ли не стихов. На заднем плане высилось что-то вроде коринфской колонны. Словом, старшему Жухлицкому, никогда в жизни не читавшему иных книг, кроме прихода—расходных, был, поелику возможно, придан возвышенный, сурово—задумчивый вид мыслителя немецкой школы.

Аркадий Борисович заколебался. Изображение отца, основателя миллионного предприятия, следовало сохранить при себе хотя бы из простой признательности или приличия... Он еще и еще раз вглядывался в незапоминающиеся черты бывшего серого ростовщика, и в душе его зашевелилось сомнение. Что, собственно, у них общего, кроме фамилии? Ни телосложением, ни цветом волос и глаз и ничем иным они, крысообразный, щуплый Борис Борисович и жгучий красавец, богатырь Аркадий, и близко не были похожи. Это видели все. И все об этом говорили. Жухлицкий усмехнулся. О, эта пресловутая тайна рождения, мусолоно—перемусоленная в десятках сентиментальных романов... Нет, Аркадий Борисович не имел оснований считать себя, скажем, незаконным сыном графа Шувалова или путешествующего инкогнито наследника какого—нибудь престола. Все было проще, низменной и, можно сказать, смешней, если верить тому, что когда—то рассказал ему один спившийся чиновник, знавший Бориса Борисовича в бытность его в Чите, то есть до рождения Аркадия. Этот чиновник, тогда еще молодой и процветающий, якобы

присутствовал как-то раз на веселой холостой пирушке, где некий красавец купец стал хвалиться расположением прелестной жены всеми ненавидимого бездетного ростовщика Жухлицкого. Кто-то из присутствующих усомнился. Слово за слово, разгорелся спор. Подогретый вином, купец предложил пари. Оно тут же было принято. Зная, что ростовщика нынче нет в городе, постановили тотчас пойти к его дому и, пока компания будет ждать на улице, красавец взойдет к пребывающей в одиночестве женщине и добудет какое-нибудь бесспорное доказательство ее благосклонности. Так и сделали. Молодые повесы приготовились было к длительному ожиданию, но случилось неожиданное. Хвастливый купчик вышел весьма скоро и с видом совершенно ошарашенным. В руке он сжимал несколько радужных бумажек довольно крупного достоинства. Придя в себя, он сконфуженно поведал, что встретил его сам ростовщик, неожиданно оказавшийся дома, и на нахальное заявление подвыпившего молодого человека, что он пришел-де повидать его жену, тихо и твердо, без малейшего раздражения заявил, что в его услугах здесь больше не нуждаются, а за труды и беспокойство извольте, мол, принять некоторую сумму денег. И с тем, вложив в руку остолбеневшего любовника хрустящие кредитки, выставил его за дверь. Денег, как выяснилось, было ровным счетом триста рублей, и их той же ночью пропили за здоровье будущего младенца. Что же касается пари, то оно, естественно, посчиталось выигранным незадачливым любовником...

Аркадий Борисович еще раз взглянул на постное лицо Бориса Борисовича и понял, что фотокарточку придется взять — если не ему самому, то его миллионам родословная все же необходима.

После вынужденной заминки он с еще большей поспешностью принялся швырять в огонь уже сослужившие свою службу бумаги. За этим занятием и застала его вошедшая Сашенька.

— Что, душа моя, уже собралась? — Аркадий Борисович бросил в печь старую записную книжку и поднял голову.

Сашенька, какая-то сама не своя, принужденно улыбнулась, достала из рукава платочек. Послюнила его и стерла на лбу у Аркадия Борисовича пятно сажи, говоря явно не то, что хотела:

— Перемазались, как чушка... Как же соберешься-то? Тут не знаешь, что и брать. Все бегом да бегом, будто на пожаре...

— Ничего и не бери, — Аркадий Борисович решил, что обеспокоенность Сашеньки связана с предстоящим отъездом, и поэтому говорил тоном веселым и бодрым. — Это у кого ничего нет, те возят с собой целые телеги добра. А у нас с тобой, слава богу, денег хватает, можем без ничего ехать — и не пропадем... Ну, кажется, все!

Аркадий Борисович хлопнул ногой чугунную дверцу и устало потянулся.

— Сашенька, посмотри-ка во двор — готовы ли лошади...

Едва он произнес это, как за стеной зазвенело разбитое стекло и одновременно с улицы донесся звук выстрела. Аркадий Борисович вскочил, бросил взгляд на удивленно замершую Сашеньку и выбежал из кабинета. Двумя прыжками он достиг своей спальни, рванул дверь и сразу увидел безобразную дыру в оконном стекле, у стены напротив — «Универсаль-гонг» с изувеченным механизмом, а на полу под часами — расплющенный самодельный жакан. «Убили!» — сам того не заметив, Аркадий Борисович подумал о часах, как об одушевленном существе.

— Ну, вот и дождались — смерды взяли за дреколье, — прозвучал за спиной насмешливый голос Ганскау.

Капитан бесстрашно подошел к окну и присвистнул.

— Оказывается, то был сигнальный выстрел. Так сказать — иду на вы! А теперь вот парламентар жалуется к нам. Очевидно, потребует капитуляции...

Жухлицкий мигом оказался рядом с ним. Не спеша, неестественно прямой, с каменным лицом, к дому приближался Кожов, смутьян из турлаевской банды. Остановился, крепко расставив ноги, задрал голову и крикнул:

– Вы окружены! Отпустите инженера, не то всех перестреляем и дом спалим!

– Хамло! — прорычал Ганскау, и не успел Аркадий Борисович моргнуть глазом, как капитан выхватил пистолет и, почти не целясь, выстрелил через разбитое окно.

Кожов пошатнулся. В тот же миг внизу, под бугром, за полуразрушенными амбарами и сараюшками, громыхнула винтовка. Брызнули осколки стекла. Ганскау отпрянул от окна и схватился за щеку. Жухлицкий провел ладонью по глазам, ощупал лицо, потом глянул на капитана.

– Вы ранены?

– Царапина, вздор! — скрипнул зубами тот и, подняв пистолет, шагнул к окну.

Кожов, прихрамывая, убежал вниз по переулку. Ганскау сгоряча выпустил по нему пару пуль, но безуспешно. С той стороны не отвечали.

– Сейчас возьму казаков и дух вышибу из красной сволочи!

Ганскау ринулся к двери, но Аркадий Борисович придержал его.

– Не торопитесь, капитан. Эта затея отнимет у нас много времени. А кроме того, она чревата разными нежелательными случайностями.

– Что такое? Что вы имеете в виду? — закипятился Ганскау.

– Не забывайте и о золоте, которое целиком находится на нашем с вами попечении, — словно не слыша его, холодно продолжал Жухлицкий. — Из-за минутной горячности и нескольких оборванцев вы готовы рискнуть тремя пудами валютного металла? Капитан, вы меня удивляете!

Упоминание о золоте несколько охладило пыл железного функционера «Временного правительства автономной Сибири».

– Кажется, вы правы, — пробурчал он. — Кстати, я пришел спросить, что вы думаете делать с инженером?

– Это не моя забота. Кудрин собирается доставить его в Баргузин для последующего предания суду. Не возражаю — дело полезное. Показательный процесс должен образумить тех представителей интеллигенции, которые сотрудничают с большевиками.

– Стоит ли овчинка выделки? — Ганскау зло усмехнулся. — Может, здесь его и приговорить? Так сказать, решением военно-полевого суда, а?

– Не путайте меня в подобные дела, капитан, — сухо сказал Жухлицкий и, не дожидаясь ответа, покинул комнату.

– Напрасно волнуетесь — ваше содействие было бы минимальным, — сказал ему вслед Ганскау и усмехнулся вторично, понимающе и чуть-чуть презрительно: миллионщик не против ликвидации инженера, но даже перед самим собой желает представить дело так, будто он тут совершенно ни при чем. Трусоватая игра штафинок в двусмысленности и экивоки! Ничего, можно обойтись и без него.

Вернувшись в кабинет, Аркадий Борисович первым делом выглянул во двор. Лошади были уже оседланы, и казаки заканчивали вьючить.

– Прекрасно, — пробормотал Жухлицкий, оглядывая кабинет.

Взгляд его наткнулся на висевший в распахнутом шкафу халат. Аркадий Борисович сразу вспомнил про ключ от подвала, на который, очевидно, и намекал Ганскау, говоря о минимальном содействии. Подумав, Жухлицкий решил, что лучше всего отдать его Кудрину и тем самым благоразумно отстраниться от участия в решении судьбы Зверева. Стараясь не приближаться к окну, выходящему на улицу, он подошел к шкафу, однако среди лежавшей в кармане связки ключей нужного — от громадного висячего замка, запирающего погреб, — не оказалось. Аркадий Борисович неприятно удивился. Когда он выбежал давеча из кабинета, здесь оставалась Сашенька. Стало быть, взять могла она, но зачем ей это понадобилось?..

Ключ действительно взяла Сашенька. Как раз перед этим Пафнутьевна зазвала ее на кухню покормить перед дорогой и вдруг расплакалась, говоря, что никому теперь они с дедом Савкой не нужны; что Жухлицкий завез их, двух стариков, в тайгу и вот бросает здесь на нищету и голодную смерть; что Сашеньку, которая им, старикам, вроде родной дочери, они больше не увидят, и пусть, мол, Сашенька не подумает, что последние кошки, и те на

дыбешки, но только им, то есть ей и деду Савке, страсть как не нравятся нынешние дела Аркадия Борисыча: недавно Купецкого Сына собаками травил, потом с этим безголовым покойником неладное что-то вышло, а теперь сорвался вдруг ехать неведомо куда и бедную Сашеньку за собой тянет...

Сашенька как могла утешала старушку, начала всхлипывать вместе с ней, но тут распахнулась вдруг л верь, и в кухню вошла бог знает откуда взявшаяся Мухловникова.

– Дарья Перфильевна! — ахнула Сашенька.

– Здравствуй, милая, здравствуй,— отвечала Мухловникова и с хмурой усмешкой кивнула за окно.— Вижу, некстати я. Никак собрались куда? Коней вон выючат...

– Не говори, матушка,— вздохнула Пафнутьевна.— Сам-то адали сбесился. Мы уж тут с Сашенькой плакали-плакали, да только слезами делу поможешь ли?.. Ох, что ж я стою-то! Ведь с дороги, поди, чайку бы, откушать чем бог послал...

Не обращая внимания на причитающую старушку, Дарья Перфильевна шагнула к Сашеньке и больно стиснула ее руку.

– Голубушка, я ведь зачем приехала-то...— она осеклась, словно ей не хватило дыхания.— Инженер... где инженер?

– Инженер? — Сашенька удивленно вскинула ресницы.

Недоумение ее было искренним, поскольку она оказалась, наверно, единственным в Чирокане человеком, кто не знал о последних событиях. После беспокойной ночи, когда Аркадий Борисович, смутно посвятив Сашеньку в свой план, ускакал с Бурундуком из дому, на нее навалилось известие о смерти отца. Немного погодя Ганскау с казаками привез страшный труп, одетый под Жухлицкого, и Сашеньке сделалось совсем неуютно. Снова проведя бессонную ночь, она на другой день тайком съездила и вдоволь наплакалась на отцовской могиле, а после волей-неволей должна была еще участвовать в мнимых похоронах Аркадия Борисовича. Не мудрено, что минувшей ночью она спала как убитая и не слышала ни отчаянной стрельбы в поселке, ни шума во дворе, когда вернулись казаки, осаждавшие во главе с Ганскау дом Турлая.

– Вчера он был здесь,— припоминая, заговорила Сашенька.— Утром заходил, а после я его и не видела.

– Где он остановился? Квартирует где?— допытывалась Мухловникова.

Сашенька пожала плечами.

– Наверно, у Турлая, где ж ему еще... Пафнутьевна, ты не знаешь?

Та как бы опешила на миг, потом оглянулась на дверь и, подойдя ближе, боязливо зашептала:

– Ой, и не спрашивайте — неладно ведь дело-то с ним, ох и неладно...

– Ты что, Пафнутьевна,— Сашенька медленно встала с места, а Мухловникова, наоборот, обессиленно опустилась на скамью.

– Ой, уж и не знаю, говорить ли...— Старушка жалостливо подперла ладонью щеку и принялась рассказывать о ночной стрельбе и о том, как на рассвете привезли избитого в кровь инженера, как Аркадий Борисович, до полусмерти напугавший перед этим ее и деда Савку своим внезапным воскрешением из мертвых, долго о чем-то пытал инженера на кухне, а потом велел увести его в подвал.

– Вот он, твой красавчик,— ненавистно проскрежетала Дарья Перфильевна, когда старушка окончила говорить.— Хуже всякого варнака.

Сашенька убито молчала. Только теперь она, весь день пребывавшая в предотъездной суете, узнала, что тот симпатичный и очень серьезный инженер, который принес ей весть о смерти отца, попал в беду. Решение помочь пришло само собой. Ей казалось, что этим она как бы отблагодарит и отца,— не за оставленное золото, нет, а за то, что почти четверть века он помнил, думал о ней.

Выслушав Сашеньку, Мухловникова не стала колебаться. Она понимала, что если уж дошло до стрельбы, дело худо.

– Давай, девка, да побыстрей! — хмуро кивнула она.

Сашенька вышла. Проводив ее взглядом, Дарья Перфильевна задумалась. Вещее бабье сердце не обмануло ее. «Вовремя я подросла,— сказала она себе.— Ох и вовремя. Только бы не сглазить».

Расставшись со Зверевым пять дней назад, она тотчас затосковала, отчего немало злилась и удивлялась себе. Господи, уж ей ли, все повидавшей бабе, тертой промышленнице, наловчившейся держать в страхе божьем даже отпетое приисковое варначье, не совладать с собой, не сломить бестрепетной рукой эти запоздалые побегы, набухшие вдруг в осеннюю—то пору весенним соком? Ан нет же, не сумела! Не слишком, видно, и старалась...

Вместе с тоской пришла тревога. Свое недавнее намерение спровадить на тот свет непокладистого инженера она, невесть по какой прихоти воображения, взялась приписывать всем другим хозяевам приисков и окончательно лишилась покоя. Тревога разрасталась, и вместе с ней росло чувство, которое делало еще несколько дней назад незнакомого человека родным до сердечного трепета.

Наконец, измочаленная тоской, страхом и неизвестностью, она велела оседлать лучшего коня и, покрыв за день путь, на который обычно затрачивалось два, оказалась до наступления вечера в Чирокане. Через потайную калитку, известную ей еще со времен Бориса Борисыча, Дарья Перфильевна беспрепятственно въехала во двор Жухлицкого. Казаки, хлопотавшие возле коней, видели ее, но беспокойства не проявили — решили, что она к хозяину...

Сашенька задерживалась, и Мухловникова уже начинала волноваться, когда с улицы глухо донесся звук выстрела.

— Что это? — вздрогнув, Дарья Перфильевна обратила к Пафнутьевне враз побелевшее лицо.

Та лишь быстро и беззвучно задвигала губами и перекрестилась.

Прошла еще минута, и — опять выстрел, совсем негромкий пистолетный хлопок, откуда—то из верхних комнат, затем — снова с улицы и снова сверху. Перестрелка.

Дарья Перфильевна потерянно встала, не зная, как быть, но тут влетела Сашенька, испуганная и оживленная одновременно.

— Оборони господи, что страху—то натерпелась,— блестя глазами, зашептала она.— Вот он, ключ. Ну, пойдем, что ль, инженера вызволять...

— Не суетись,— остановила ее Дарья Перфильевна.— Давай сюда ключ, одна пойду.

В это же время Ганскау, выйдя присмотреть за вьюками, в которых среди прочих вещей было искусно спрятано золото, подозвал к себе Рабанжи.

— Инженера надо отправить к праотцам,— негромко сказал он.— Без лишнего шума.

— Можна—а,— просипел Рабанжи.— Только служим мы, господин хороший, не у вас, а у Аркадь Борисыча.

«Пораспустились, хамы!» — вспыхнул капитан, но сдержался.

— Распоряжение исходит от господина Жухлицкого.

Так что работайте спокойно. Ключа не даю. Замок сорвете. Поторопитесь.

Рабанжи хмыкнул и отправился звать Митьку.

В суматохе, вызванной стрельбой, Мухловникова, не привлекая ничего внимания, сошла с крыльца и обогнула дом. Перед ней предстали почерневшие от времени, но все еще добротные хозяйственные постройки — баня, дровяные сараи, коптильня, погреб и прочее. Густо посаженные кусты черемухи оживляли это не слишком приветливое место. Пристройка к дому, срубленная, как и сам дом, из могучих лиственничных бревен, выходила сюда задней глухой стеной, под которой Дарья Перфильевна увидела спуск в подвал.

Медленно, с заколотившимся враз сердцем двинулась она вперед, однако не успела сделать и трех шагов — сзади донесся чей—то развязно—беспечный голос, как будто слышанный когда—то. Дарья Перфильевна проворно отпрянула в гущу кустов и перестала дышать.

Под стеной пристройки показались, вывернув из—за угла, Митька и Рабанжи. Вид у них был весьма деловитый. В руке у шедшего впереди Баргузина поблескивал отточенным

лезвием широкий плотницкий топор, а Рабанжи нес на плече лом. «Мастерить, что ль, собрались злодеи?» — мелькнуло в голове Мухловниковой, буквально ошетилившейся при виде Митьки. Между тем эти двое остановились возле спуска. Рабанжи глянул вниз и весело пропищал:

– Богатенький замочек! Такой не сразу своротишь.

– Свернешь, чего там,— Митька сплюнул сквозь зубы.— Мне что не глянется: ну, из ружья там или ножом — это одно, а вот топором...

– Э, лишь бы тихо, а инженеру какая разница, чем его — топором, пулей или веревкой...

Свет померк перед глазами Дарьи Перфильевны.

Рабанжи тем временем сошел вниз, продел конец лома в дужку замка, навалился, побагровел. Скрипнул металл по металлу, захрустело дерево, крякнуло, и замок упал к ногам.

– Жеребец! — одобрил Баргузин, заботливо отер рукавом лезвие топора и начал спускаться по ступенькам.

Как только их головы нырнули одна за другой в черный проем двери, Дарья Перфильевна, ни секунды не теряя, завернула подол пышного сарафана и из кобур, казавшихся игрушечными на ее мощных бедрах, достала два пистолета (для верности она брала в дорогу именно два — давала-таки знать себя природная бабья робость) и на цыпочках побежала к подвалу.

Она успела вовремя. В глубине подвала Митька, держа топор под мышкой, уже возился с тугим запором клетушки. Рабанжи стоял рядом, ссутулив длинную спину, обтянутую сатином в белый горошек, и нетерпеливо пошевеливал хищно выпирающими лопатками.

Заслышав шаги, Митька повернул голову и неожиданно-негаданно увидел в светлом прямоугольнике двери женскую фигуру.

– Кто это?.. — и онемел, узнав Мухловничиху и разом заметив в руках у нее то, что уже довелось ему однажды узреть среди бешеной скачки под перевалом Медвежий Нос.

– А-аа!.. — завопил Баргузин, прыгнул навстречу и в падении, изловчась, неуловимо быстро метнул топор.

Упредив его движение, Дарья Перфильевна с неожиданной при ее сложении легкостью откатнулась в сторону и тут же выпалила с обеих рук, метя в белое и словно безглазое Митькино лицо. Смотреть, что из этого вышло, Дарье Перфильевне было некогда — к ней метнулся Рабанжи, уже было схватил, но она почти в упор выстрелила раз, другой, третий, а он все не падал, все стоял, покачиваясь, закатив глаза под лоб, и все тянул к ней страшные, по-паучьи шевелящиеся пальцы искусного душителя. Мухловникова завизжала и, не помня себя, всадила в него обе обоймы до конца, лишь тогда он надломился и упал навзничь поперек Митькиного тела.

Дарья Перфильевна содрогнулась и, позабыв вдруг, зачем она оказалась здесь, шатающейся походкой пошла прочь. Раздавшийся вслед тягучий скрип заставил ее вздрогнуть еще раз и обернуться. В дверях клетушки стоял Зверев, — видно, Митька успел-таки отодвинуть засов. И тут Дарья Перфильевна опомнилась. Стремглав кинулась она к нему, схватила за руку и молча потащила к выходу. У порога остановилась, подняла истрадавшиеся глаза.

– Видишь... видишь... — горячечно зашептала она.— Убить тебя хотели... Вон они лежат... Бежим скорей... Лом возьми, оторвем доски в заборе... Теперь уж не отпущу от себя... Господи!.. — Она торопливо перекрестила его и подтолкнула к ступенькам.— Живей!

Зверев чуть постоял в нерешительности, потом медленно покачал головой:

– Спасибо, милая женщина, но только убежать мне не к лицу.

Он не торопясь поднялся по осклизлым ступеням и минуту спустя прихрамывающий, с запекшейся на лице кровью, перепачканный в грязи, но преисполненный гневного достоинства предстал перед Жухлицким. Все — и казаки, и Кудрин со своими милиционерами, и Ганскау — сидели уже в седлах, готовые тронуться в путь. Только Аркадий Борисович стоял подле коня, ожидая замешкавшуюся Сашеньку. При виде инженера

и неведомо откуда взявшейся Мухловниковой он прямо—таки остолбенел. Злобное изумление вспыхнуло и в глазах Ганскау. Ватная глухота подземелья гасила звуки, поэтому капитан не слышал выстрелов и пребывал в полнейшей уверенности, что с инженером покончено.

— Вы подлец!— громко и раздельно заговорил Зверев, угрожающе надвигаясь на Аркадия Борисовича.— Мне казалось, что вы сильный хищник, не лишенный, впрочем, разбойной волчьей этики. Но, оказывается, в вас нет ничего, кроме трусливой подлости мелкого шулера!

— Позвольте, позвольте...— опешил Жухлицкий.— Как вы смеете...

— Я полагал, что вы с комиссаром милиции собираетесь соблюсти некую законность, однако вы предпочли подослать в подвал двух бандитов, чтобы втихомолку зарубить меня топором.

— Я ничего об этом не знаю! — выкрикнул Аркадий Борисович, хорошо разыгрывая бешенство.— Где Рабанжи? Где Митька?

— Это я их послал! — Ганскау спрыгнул с коня и решительно направился к Звереву.

В этот момент кто—то легонько тронул Жухлицкого за рукав. Он обернулся — рядом стояла Мухловникова.

— Нет больше их, Рабанжи и Митьки...— и она с заметным усилием подняла руки, бессильно висевшие вдоль тела. Аркадий Борисович невольно отшатнулся, увидев в них пистолеты.

Зверев смерил взглядом вызывающе замершего перед ним Ганскау и холодно отчеканил:

— Ну, а к вашей совести и чести апеллировать нет надобности, поскольку ни того, ни другого у вас, кажется, нет.

— Кр—расная сволочь! — рявкнул капитан, хватаясь за кобуру.

Зверев, словно этого только и ждавший, молниеносно ударил его снизу вверх в подбородок. В короткий удар он вложил всю скопившуюся злость за бандитское ночное нападение, утренний допрос и последующее унижительное пребывание в холодном сыром подвале. Ганскау отлетел и мешком шлепнулся под копыта коня, который испуганно всхрапнул и взвился на дыбы.

— Я понимаю ваше желание,— Зверев, презрительно откинув голову, посмотрел на Жухлицкого.— Но убить меня сейчас вы не посмеете — здесь слишком много людей. А за сим — прощайте, господа!

И он, по—прежнему прихрамывая, уверенной походкой направился к воротам.

Ганскау пришел в себя, когда Зверев уже скрылся за калиткой. Капитан приподнялся, тряхнул головой и, мгновенно вспомнив все, вскочил в бешенстве. Выхватил у ближайшего казака винтовку и ринулся за Зверевым. Жухлицкий попытался остановить его.

— Господин Ганскау! Николай Николаевич, будьте благоразумны! — несмотря на всю свою немалую силу, Аркадий Борисович еле удерживал разъяренного капитана.

— Честь р—русского офицера!— рычал Ганскау, барахтаясь в медвежьих объятиях Жухлицкого. — Кр—ровью, только кр—ровью!.. Пустите же, дьявол вас подери! Прочь!

Вырываясь, он локтем ударил Жухлицкого под ложечку, отчего тот задохнулся и разжал руки. Капитан устремился к калитке.

Дарья Перфильевна, вскрикнув, бросилась было следом, но Жухлицкий, порядком уже обозленный, бесцеремонно сгреб ее.

— Орочонский бог, хоть вы—то не сходите с ума! — прошипел он и, грубо отобрав оружие, толкнул Мухловникову к милиционерам.— Держите, не то еще пулю схлопочет!

— Господи, убьет!— Дарья Перфильевна отталкивала подскочивших мужиков.— Я ж люблю его!.. Пустите меня!..

— И любите себе на здоровьечко,— уговаривал Кудрин, со всей почтительностью помогая удерживать отчаянно вырывавшуюся промышленницу.— Не извольте тревожиться: капитан — человек военный, убить его не просто...

— Тьфу на твоего капитана! — рыдала она.— Пустите! Сашенька, помоги же!..

Инженер в это время спускался по переулку. Внизу, в заброшенном доме, окруженном остатками хозяйственных построек, таился в засаде Кожов со своим маленьким отрядом. Ничего об этом не знавший Зверев был очень удивлен, когда из-за развалюх внезапно выбежал Очир и с радостным криком поспешил навстречу.

Увидев в живых человека, за которого отвечал перед председателем Верхнеудинского Совета, Очир забыл об осторожности, да и вид спокойно приближающегося инженера тоже как будто говорил о том, что опасности нет. Он был по-настоящему счастлив в этот миг, поэтому не заметил, как из ворот дома Жухлицкого выскочил человек и вскинул винтовку.

Капитан, превосходный стрелок, в сердцах немного поспешил, зависил прицел — пуля, вжикнув над плечом Зверева, угодила Очире в голову. Алексей, еще не осознавая случившегося, сделал шаг и одновременно с этим инстинктивно обернулся на выстрел, что дало возможность Гансау, который мгновенно все понял, передернуть затвор и выстрелить вторично. Алексей попятился, поднял плечи, словно хотел сделать глубокий вдох, и упал рядом с Очиром.

Гансау метнулся назад. Еще мгновение — и он уже в проеме калитки. Но тут прозвучал еще один выстрел: стрелял Дандей, мстя за инженера, этого хорошего русского человека, которого он еще сегодня утром звал к себе в гости. У охотника не было времени ни прицелиться толком, ни взбросить винтовку к плечу, — он едва успел выхватить ее из рук остолбеневшего Васьки, и все же выстрел его оказался, как всегда, точен. Гансау, уже вбежавший во двор, вдруг как-то странно перекосясь, замер, потом сделал несколько неверных шагов и рухнул к ногам Жухлицкого. Аркадий Борисович испуганно отшатнулся, затем, взяв себя в руки, склонился над капитаном и с одного взгляда понял, что тот мертв.

— Кончено! — Жухлицкий вскочил в седло, и при этом сознание его, цепкое сознание миллионера и золотопромышленника, не преминуло отметить, что три пуда золота теперь уже наверняка останутся при нем.

Всесильный когда-то хозяин Золотой тайги покидал свои былые владения — вернее, бежал из них — через черный ход, через ту самую заднюю калитку, которая столь долго служила для всевозможных тайных дел и выходила напрямик к оврагу, заваленному всевозможной дрянью и гнилью.

Два дряхлых деда, коренные старатели, нажившие на приисках жестокий ревматизм, сидели на завалинке у крайнего дома и видели, как вдали под лесом проскакало человек десять всадников.

— Никак, в Баргузин копыта наострили, — заметил один из стариков. — Ишь скачут адали зайцы.

— Яйца, говоришь? — отозвался другой, тугой на оба уха. — И-и, откуль тебе яйца! Нынче я их даже на пасху не пробовал...

Прежде чем одолеть береговую кручу, тропа складывалась в три головокружительные петли, словно упорно не желая отпускать уезжающего или же навязывая ему напоследок возможность до тошноты наглядеться на остающуюся внизу и с каждым разворотом тропы уходящую все ниже столицу Золотой тайги. Словом, что-то ошутимо мстительное, злорадное было в этой тропе, узким карнизом лепившейся к обрыву над Чироканом. Поэтому, выбравшись в конце концов наверх, на плоскую равнину, редкий путник не поспешал облегченно и без оглядки прочь, погоняя запыхавшегося коня.

Однако Сашенька задержалась там, на самой кромке обрыва, оглядывая глубокую долину Чирокана, уже задымленную сизой синью отдаления и надвигающегося вечера. Она еще не сознала, что, начиная отсюда, с этого места, каждый мимолетный ее взгляд на окружающее — будь то чахлая листовница у тропы, окатанные камни на берегу Байкала или владивостокские причалы — становится взглядом прощальным. И уж, конечно, даже чуточку не предполагала Сашенька того, что впереди у нее долгая жизнь, которую проведет она в далекой заокеанской стране и закончит которую одинокой старухой миллионершей с прекрасными вставными зубами и изъясняющейся на скверном английском языке с неистребимым витимским акцентом. Но все это еще очень и очень неблизко, а пока что

Сашенька окинула взглядом беспорядочную россыпь домишек, прощально вздохнула, словно вместе с этим легким вздохом отринув от себя все минувшее, и повернула коня навстречу закатному солнцу - туда, где, приотстав от охранных казаков, ждал ее Аркадий Борисович...

В этот же час с противоположной стороны к поселку подъезжал Турлай с несколькими старателями. Председатель Таежного Совета был озабоченно-хмур, но спокоен, поскольку еще не знал, что в Чирокане его ждет известие о гибели Зверева и Очира; что завтра в полдень, под холодным, почти совсем уже осенним дождем ему предстоит хоронить их, и заплаканный Васька Купецкий Сын спросит его: «Можно ли их вместе-то? Как-никак они же, поди, разной веры...» — на что он ответит: «Вместе, Вася, только вместе. Одной они веры — советской...»

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](http://Royallib.ru)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)